

К-1272171

М. ЖАРАВИН

СЕРДЕЧНАЯ  
РАНА

Вологда

Михаил  
ЖАРАВИН

# СЕРДЕЧНАЯ РАНА

рассказы

повести

стихи

письма

Вологда

1998

34 ББК РС

84. 2 = ДУС) 6 + Кр + КМИ

Ж 34

Литературно-художественное издание

**Жаравин Михаил Геннадьевич**

**СЕРДЕЧНАЯ РАНА:** рассказы, повести, стихи, письма.

Составитель Галина Шекина

Вологда. Свеча. 1998г. Тираж 1000 экз.

ISBN 5-87913-017-7

© М. Г. Жаравин, 1998

## К ЧИТАТЕЛЮ

Михаил Жаравин начал писать потому, что получил от жизни сердечную рану, глубокую и болезненную. Боль не давала ему покоя и утихала только тогда, когда он писал. Он и сам стал для меня сердечной раной. И я вспоминаю о нем, пытаюсь заглушить эту боль. Мы с ним дружили, начинали писать одновременно, учась понемногу литературному ремеслу. То, о чем догадывался один из нас, делили пополам: он мне опыт передавал, я ему.

Я видела, как из простого работяги мучительно получается поэт, как из поэта прорывается прозаик, как «насиленно» рождается в человеке художник, зоркий мыслитель. И все это шло не по порядку, а как-то вдруг, обвально и сразу. Творчество - венец душевной работы. Наверно, у Михаила Жаравина и сама душа рождалась в творчестве - стремительно, неправильно, сильно. Ушел из жизни на взлете... Зачем же он тогда рождался? Чтобы погибнуть? В какой-то степени все мы рождаемся и гибнем физически и душевно, и одно с другим может не совпадать. Но этот короткий отрезок, который был между рождением и вспышкой, между ничем и всем - этот отрезок Жаравин прожил максимально.

Идея книги М. Жаравина возникла так.

Годовщину смерти Михаила его друзья отметили в «Ленкоме» вечером памяти. Звучали его стихи, песни на стихи, воспоминания, все жалели, что он не успел увидеть себя изданным. Решили собирать материалы. Пока шел поиск текстов, обнаружилось, что нет рассказа «Сердечная рана», который публиковался в «Вологодском подшивнике». Текст мне пересняли в центральной городской библиотеке, именно в тот момент и пришло название книги. Многие знают, что сам автор видел свою книгу под заголовком «Холостой выстрел». Однако книга, им самим названная и составленная, имела бы иное содержание и иную направленность. Ведь автор имеет право быть требовательным, даже насмешливым по отношению к себе, но составитель себе такого позволить не может.

Больше года я собирала и перепечатывала его разрозненные рассказы, повести, стихи и некоторые личные письма для книги «Сердечная рана». В книгу включены также статьи и воспоминания об авторе, посвященные ему стихи. Очень помогали в осуществлении проекта и брат Михаила Николай Жаравин, и сестра его Антонина Петрякова. И работавшие в одном цехе Василий Шаманин, Леонид Копосов, и покойный ныне поэт и издатель Виктор Коротаев, и Елена Волкова, и Сергей Щекин, и Михаил Браславский, много трудились над рукописью Ирина Головина, Наталья Сучкова, Нина Веселова.

Дай Бог, чтобы книга Жаравина увидела свет. Чтобы будущий читатель тоже получил сердечную рану, узнав и полюбив русского писателя Михаила Жаравина.

*Галина Щекина*



Михаил Геннадьевич Жаравин родился 12 ноября 1959 года в с. Еловино Кич-Городецкого района Вологодской области. Здесь он и рос, и учился в восьмилетке, затем продолжил учение в Югской средней школе того же района. 1979-1981 годы служил в танковых частях Советской Армии. С 1981 жил в Вологде, работал на подшипниковом заводе, учился в машиностроительном техникуме. В 1983 году женился, растил двух сыновей. Позже работал в пожарной части п. Лоста близ Вологды.

Первые попытки писать были еще в 9 классе. В Вологде Михаил начал много писать, сначала стихотворения, потом рассказы. Около 1989 года пришел в литературное объединение "Ступени", затем стал участником областных литературных семинаров 1990, 1993 годов, часто публиковался в городской и многотиражной прессе.

В 1991-1995 годах М. Жаравин - студент заочного отделения Литературного института им. Горького. После участия в московском писательском совещании был принят в ряды союза писателей России (1994). Лауреат литературной премии имени Лескова. Публиковался в газетах "Свеча", "Очарованный странник", "Литературная Россия", в журналах "Север", "Наш современник".

Михаил Жаравин скончался 18 декабря 1995 года на тридцать седьмом году жизни после жестокой болезни. "Сердечная рана" - первая книга талантливого писателя, изданная после его смерти.

**ЧАСТЬ I**  
**ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ**

## СКАЗ О БЕЛОМ КАМУШКЕ

Деревня всполошилась - у Меланьи Гаркуши дочка пропала. С неделю искали в лесу, в речке. Отец девочки, Корней, ладно сбитый тридцатилетний мужик, все гиблые окрестные места, чащи с завалами облазил - не нашел. Знающие люди посоветовали Меланье дойти до Прокофея-лесника, поговаривали, с самим лешаком дружбу водит, пособит, если захочет... За глаза лесника называли ведьмаком и колдуном, потому что жил в лесу и одевался странно для деревенского жителя. Вреда от него никому не было - напротив, пользовал людей от различных хворей и напастей: то травинку какую даст, то слово какое скажет... Людей, встречавших Прокофея в лесу один на один, охватывал невесть от чего леденящий страх...

Ради родного дитяти родитель к черту на рога полезет, если понадобится. Поклала Меланья в корзинку яиц, маслица, творогу - как с пустыми руками? Направилась ко знатку. Неприветливо встретил:

- Гаркушей-то тебя не зря обзывают - любишь глотку драть...

- Помоги, Бога ради, Прокопей Савич...

- С утра черт из ведра, к ночи Бог у одра... - повернулся и ушел в избушку.

Ни с чем пошла домой, о словах думала, тайный смысл искала... С утра-то оно верно - выкастила Катюшу, доченьку пропавшую. Не чаяла та, выбила притвором у матери ведро с молоком из рук, когда Меланья из-под коровы в избу шла... Целое ведро - жалко сделалось...

- И лешой-то тебя не заберет... Провались ты сквоззя...  
Вечером дочки хватились...

- Вот он к чему утро с ведром помянул, а одра при чем?

Кольке Канюкову двадцатый год. Бог наделил умом и трудолюбием, только подружки у Кольки нету - застенчивый потому что... Бывало, окажется какая девушка рядом - язык у Кольки деревенеет.

Своя деревня маленькая - десяток дворов, - в соседнюю хаживал Колька на пляски, но все одно, заговорить ни с кем не решался...

Осенью, развязавшись с сенокосом и страдой, парни обычно бражничали и гуляли целую неделю, но был такой день, когда никто не пил - все гадали... В старой черной заброшенной бане загодя бросали на каменицу галечника - разноцветных мелких речных камушков. Поодиночке ночью ходили и тащили: каков камушек - такова суженая будет. От кого это пошло, никто не знал, верили не особо, но гадали - интересно ведь... Иные хва-стали:

- Ну, у меня баб будет: тот год - серый камень, этот - желтый..

Колька не гадал еще ни разу, всегда что-нибудь да мешало - сей год собрался, хотя ребятам-дружкам сказал:

- Не пойду время меледить, брехня все....

Сосед и лучший друг Васятка Петухов частенько подтрунивает над Колькой:

- Чего же ты, Колька, смотришь на девок, как баран на новые ворота? Эх, мне бы твои данные - они бы стаями за мной ходили...

Ростом Колька под потолок, грудь широкая, руки, ноги крепкие, голова крупная, русая, волос волнистый - ну, прямо Илья Муромец, без бороды только.

Заполночь, когда все отгадали и разбрелись - кто домой, кто еще куда - пошел тихонько к бане... Мысли в голове светлые, даже радостные, а на сердце беспокойно было.

Баня встретила нежилым, затхлым духом. Добрался ощупью до каменки, встал на колени, как научили, - спиной к очагу, прогнувшись назад, шарил по камням за головой руками - камушек искал... Какой попадет? Взял, уж выпрямляться ладился, как почуял на запястьях мертвую хватку. Противно заскрипела, захлопнулась дверь... Силы Колькиной на четверых хватит, рванул, казалось, печку с невидимым противником на

улицу вытащит, да не тут-то было...

Вспотел от страха и бесплодных попыток. «Отпусти», - попросил.

- Замуж возьмешь - отпущу...

- Возьму, - брякнул, не думая, очень освободиться хотелось...

Почувствовав свободу, опрометью кинулся на улицу, камушек не выпустил, однако ж... Дома разглядел - белый камушек, гладенький, искорками серебристыми покрыт.

Сестер-братьев у Кольки не было.

- Не дал Господь... Пятерых после тебя рожала - все мертвенькие... - ответила набожная мать, когда спросил об этом. И позавидовал Колька дружку своему, соседу Ваське, у которого две старших сестры и три младших брата было:

- Был бы у меня хоть один брат, сходили бы до бани, одному боязно, дружкам говорить - засмеют...

День спокойно прошел, к ночи беспокойство охватило, а в полночь началось: жутко, с прискачком залаяла собака... Дважды выходил во двор заспанный Колькин отец - никого... На третий раз заматерился и пустил кобеля в избу:

- Ошалел... Поспать не даешь...

Застучало окно напротив Колькиной лежанки, и голос, тот самый, что в бане, зазвенел в ушах: «Обещал - делай...» Какой тут сон... Разбудил Колька отца с матерью, рассказал все как есть.

Запричитала мать, запосылала отца посреди ночи в соседнее село к попу:

- Поезжай, Феденька, Христом Богом молю - разузнай, выведай у батюшки чередом... Пусть натакает, как быть...

Не столь суеверный отец ругнулся, но оседлал меринка и уехал в Кленовицу. Вернулся скоро, светать не начало, подал сыну крестик и сказал:

- Батюшко говорит, ежели она крест накинёт, да в церкви венчаться согласится, значит, можно в жены брать...

Делать нечего, отправился Колька к бане. Хорошо, что темно - народ спит, хоть бы не увидал кто.

Открыл дверь:

- Есть кто крещеной?

- Здесь я, - глухо, как из подземелья, донеслось из темноты.

Согласилась крестик надеть и в церковь ехать.

- Обскажите батюшку, ночью бы обвенчал... Нонешной...

И баню истопить надо...

Стемнело. Подъехали на лошади, запряженной в телегу-двуколку, отец с женихом, вышла невеста... Лошадь всхрапнула,

- Колька остолбенел, отец попятился:

- Свят... свят... Вовчина!

Двуногое, страшное, мохнатое чудовище село на телегу.

Всю дорогу казалось Кольке: клацают огромные волчьи зубы, капает с них слюна, горят, жадным огнем глаза...

Служка дверь отпирал молодым, шарахнулся от неожиданности в сторону, подсвечник сшиб.

Дикая картинна и на батюшку подействовала: он заикался и гнусавил. Лишь святые лики смотрели спокойно и вроде безучастно на сгорбившегося отца, нарядного жениха, на большую шерстнатую чуду, человечью голову которой наполовину прикрывала раскрытая волчья пасть. Никто не замечал, что по черным щекам чудища текли слезы, оставляя белые полосы.

- Венчаются раб божий Миколай и раба божья...

- Катерина, - подсказало чудовище.

«Все равно утоплюсь либо повешаюсь... Как эдак жить?»

- думал Колька.

На обратном пути сошло чудище у бани и сказала:

- Попросите матушку... Мне бы полотенце и белье какое-нибудь...

Мать ушла к бане. Сидели, лампу керосиновую жгли, ждали...

Невесту мать за руку привела. Коля обомлел... Никогда в жизни красоты такой не видывал - стройная, высокая... При тусклом свете прядки волос, слегка кудрявящихся, казались серебряными... Смотрела нерешительно, виновато... Отец, сам не свой с радостей, запрыгал по избе:

- Завтра же побегу народ звать! Свадьбу! Свадьбу рядить будем...

Сидела невеста рядом с довольным женихом, плакала и улыбалась.

С утра отец съездил до Кленовицы, привез бочку вина.

Колька с Васькой столы наносили, расставили, мать с невесткой и сестры Васькины накрывали, торопились.

При дневном свете, в новых лапоточках с онучами белыми, нежно-голубом сарафане, в ярко-красной кашемировой кофте, белом с вышивкой коленкоровом платочке невеста была до того красива - глаз не отведешь. Личико белое, чистое, губы алые, подбородок аккуратный, шея длинная, волосы кудреватые, пушистые, соломенно-золотистого цвета.

- Вот тихоня... - удивлялся Васька, - где ты соочил такую?.. Лебедь белая - не баба...

- В бане выгадал, - и Колька показывал Ваське камушек беленький с пятнышками серебряными.

Позовом не обошли и Меланью Гаркушу с Корнеем, хотя тронутыми считали лет десять, с тех самых пор, как дочка потерялась. Узнала Меланья дочку, завывала, в ноги бросилась. Подняла Катюша мать свою, принесла, показала шкуру страшную:

- В этом наряде нашел меня Коля в бане... Ничего я не помню... Казалось, будто в яму провалилась, то ли в дупле темном сижу... Ни рукой, ни ногой, ни голос подать... Перед глазами лесня черная... Молоко со ступенек капает. И люди взад-вперед ходят, топчутся... Ноги только видно было... Много ног... Как во сне ровнышко...

Слушали люди невесту с разинутыми ртами, дивились... Кто-то обронил:

- Колдовские чары... Прокоп, поди...

Колина мать вмешалась:

- Не при чем лесник... Слово материнское жизнь строит... Хула да проклятья горе несут, добрые напутствия - в любом деле помощь... Лаской, благословеньем Божьим и родительским жив народ...

Канюковы душа в душу всю жизнь прожили, бабушка сказывала. Она им внучкой приходилась.

## И ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ

Трескучие морозы разрисовали дом изнутри - замок хрустальный! Не любоваться пришла сюда ночью Дуня. Пристроила на обледенелом огромном столе зеркальце так, чтобы горящую позади спины ее свечку видеть было, сквозь колечко серебряное - мамин подарок - смотрела...

- Только об эту ночь суженого увидеть можно, - говорила днем Дуне старая Виринея. - Я в твои годы свою видела; коли все сделаешь, как я велю, знать точно судьбу свою будешь...

Туманится свеча в зеркальце, летают по заброшенной избе невидимые злые духи. Мерзнет у Дунюшки затылок без платка - гадать нужно простоволосой. Косы у Дуни густые смоляные, а затылок все равно мерзнет - может, и не от холода вовсе - от мыслей сладких затаенных: дай, Господи, Сергуню увидеть... Вот она уже и представляет его: полушубок овчинный, через плечо тальянка, шапка мохнатая волчья... Улыбается ненаглядный - зубы белые ровные, смеются морщинки вокруг серых глаз.

Сидит Дуня в неудобной позе, все смотрит на рябющую поверхность зеркала. Вот поплыли тени одна за другой, пламечко заколебалось, побежало вправо и вверх... Увидела Дуня, охнула и лишилась чувств.

\* \* \*

Зимой работы в деревне не столь, сколь летом - отдыхает за год натрудившийся народ. Девки с утра обряд правят, к вечеру собираются на посиделки - была бы хата - сидят, прядут. Здесь можно узнать все деревенские новости: кто с кем за овином постоял, у кого корова отелилась, какая молодница следующий раз пускает в избу на посиделки. Иногда поют грустные песни. Парней совсем мало: Сережка-гармонист да Василий-бразжник, но

иногда, в праздники, бывает, что наезжают починьские ребята, и посиделки превращаются в шумную веселую вечеринку. Драки тоже бывают по пьяному делу - берегись, кто трусоват! - в неразберихе зачастую попадает и вашим, и нашим.

Сколько раз говорила Дуне подружка София:

- Выбрось из головы Повитухина - не мужик он. Только что тальянка да внешний вид и ничего больше... Не одну уж обрюхатил - пользуется, гад, что мужики на войне посгинули, а то бы не петушился тут, не ходил гоголем... На гаданье-то не его видела?

- Не знаю и ково - шапка вострая со звездой, куртка из шинели, петли алые и усы... Никакого эдакова в округе не сыскать...

Болтовню девичью прервал топот на крыльце.

- Привет трудягам! - вперед балагура Васи в избу во- рвался его голос и клубящийся белесый холод. - Чего-то вы лучину жжете... Эй! Софья! Тащи керосиновую лампу, не ску- пись. Гости сегодня дальние, с самого Каксура...

Лампу добыли, и среди чинно рассаживающихся по лавкам парней Дуня увидала - он! И екнуло сердечко.

- Кто незнакомы - прошу.

И Василий добросовестно начал выкликать, его - послед- ним:

- А это Мозговой Николай, у самого Буденного слу- жил...

Сбегали за Сережкой, устроили пляску - русского кадreja и чижа. Никогда не плясала так Дуня - сам Повитухин, до этого не обрацавший на нее внимания, заметил:

- Ну, ты плясать, Авдоха! Меня замучила...

Сама Дуня знает свои недостатки - не красовита, ростом мала, зато телом крепкая и на ногу бойка.

Ну да тело щупать не предложишь, если и сунулся бы кто - не позволила бы. Чувствовала взгляд Николая - и боялась, и радовалась. А про Сережку думала: «Вот военный подойдет - заметишь меня тогда, оценишь...»

Наплясалась, схватила оболочку, на улицу кинулась. Дог- нал Николай возле самой калитки родного дома.

- Постой, Дунюшка...

- Как можно? Завтра по всей деревне говорить станут...

- А я сватов зашлю...
- Сразу и сватов! Не смей меня...
- Я не шучу...

- Ну, засылай, коли не шутишь, - и ушла, и забыла.

Неделя прошла - нагрянули сваты. Крут парень! Доне-слось до Сергея, прибежал:

- Дуня, не ходи, я тебя только разглядел...

- Где твои глазоньки раньше были? Просватал тятенька, обрадел, засиделась, - прослезилась Дуня.

Знал бы отец, куда дочь отдает, - не спешил бы, да видать, такова доля бабья...

Невзлюбила Дуню свекровка, как ни бьется сноха, а все не уноровит. Деревня поболее родной будет, а народ неприветлив. Смутные времена, видать, отражаются на людях, гнут и ломают судьбы целых семей, деревень, уездов.

Восьмая сноха - хуже падчерицы. Николай с утра до ночи в работе, невдомек ему, что обижают жену молодую, а жаловаться Дуня боится - неизвестно, как муж повернет, может, по матери.

Голодом готова уморить свекровушка. Старшие снохи как не видят, только Шура - сестра мужа молоденькая - наберет тайком хлеба в пазуху и сует: «Ешь, Дуняша...»

Давится Дуня таким хлебом и слезами. Совсем ноги не заносила, вспоминать стыдно - скоту ведро наладят, пока никто не видит, вылавливала кусочки, жеребейки и ела. Жаркое, каленое лето все выходила с мужем на покос, а тут подоспело новины жать. Николай, видя живот, оставлял дома. Никак не осталась - тяжело, конечно, с животом, наклонясь, зато какой кусок есть - муж пополам делил, хоть робил больше и уставал пуще. Свекрови рядом нет, и будто преображалась Дуня...

Первенца Дуня родила в новинах на полосе недоношенного, семимесячного - завернули в нижнюю мужнюю рубаху, положили на кучу соломы. Домой отправлял Николай - не согласилась Дуня, осталась с мужем. Сосед обещал домой зайти - сказать, привезти, чего передадут. Назавтра у Дуни пропало молоко - мальчик надрывался от крика. Сосед приехал к вечеру: помянул нехорошим словом родителей.

- Николай, на, возьми, моя мать послала тряпки вот, да молочка немного - твоя матушка не дала ничего да еще меня и выбрала - нарочный, дескать, нашелся...

Переменился с лица Николай:

- Ладно, дома разберемся...

Сынишка умер ночью. Выказала Дуня схропу все, а муж сказал:

- Что же ты молчала?..

Дома Николай отправил Дуню в баню, а сам разошелся, столешницу кулаком расколол. Братья семером держали - удержать не могли. Кричал: «Спалю халупу к едрене бабушке...» Мать на колени пала: «Коленька, сынок, образумься».

Пришла Дуня из бани, он скидал тряпки в мешок: «Пойдем, Дунька, на Починки..! Хватит хребет гнуть на этих... Мироеды!»

В полуволоке свекор настиг, уговорил-таки. Потом жили сносно. Свекровь на руках у Дуни помирала - все прощенья у них с Колей просила.

Успела Дуня родить двух сыновей, двух дочерей, а там народ в колхозы сгонять стали.

Николай самолично к этому руку приложил. Только сгинул потом. Нашли в Юг-реке. То ли сам утоп, то ли утопили - неизвестно. Обиженных много было...

Все это увидела Евдокия, как заново пережила. Лежала в кровати страшная, иссохшая, почти не говорила, близких не узнавала. Сидел около кровати Лешка - внук, младший сын младшей дочери бабушки Дуни - Галины. Из самой Вологды приехал, как мать сообщила, что бабушке плохо... Лекарств разных понавез, да нет от старости лекарства - много лет бабке Дуне, на десятый десяток перевалило.

К ночи бабушке полегчало - в сознание пришла, Лешку, правда, Колей называла: сильно уж на деда Николая похож, мужа ее покойного - такой же рослый, костистый, на лицо литой капаный, глаза карие, а волос светлый, грубый, непослушный... Усы к тому же отрастил - черноогненные, как у деда.

- Скажи, Коленька, что этакое люди счастьем называют? - слабым, но чистым голосом спросила Алешку.

- Счастье - это, когда человеку хорошо, бабушка, - не задумываясь ответил Алешка.

- Неправда твоя, Коленька, - счастье - когда жить хочется... Плохо мне вот, а жить хочется... По себе помню, сколь раз жить не хотелось... Хуже нет...

- Поживи еще, бабушка, деток моих дождись, - умоляющим сильным голосом заговорил скороговоркой Лешка. - Понянчись, как со мной...

- Поживу, поживу, робятко...

Ночью мать Лешки плакала: «Это она перед кончиной в себя приходила...» Но бабушка поднялась - фельдшер руками разводила: «Вот это организм...»

С Лешкиным первенцем Николкой понянчилась, как и обещала. Умерла февральской ночью тихо, неслышно, никого не побеспокоив. Алешка долго помнил бабушкины слова:

- Счастье - когда жить хочется.

## ВОЛЧЬЯ МОРДА

«Эх, Надя! Опять у нас неладно. Сердишься... Ну виноват я, виноват! Андрюшку в садик сама увела, меня не разбудила. Да как же, Наденька, не поймешь - в бригаде меня мужиком считать не будут, зажил я выпивку. Закон такой: пошел в отпуска - покупай литру! Дурацкая у меня натура, конечно, удивлять люблю. Удивил мужиков, вместо двух бутылок - пять припер... Вот и налыкался. Как мне перед тобой оправдаться-то, Наденька?»

Я долго бродил по избе, не зная, чем заняться. Подмел полы, вытряс половики, прибрал и расставил культурно Андрюшкины игрушки. Полез в комод. Зачем мне паспорт? Повертел его, бросил обратно. На глаза попался небольшой кусочек самшита. И от мысли зачесались руки! Я сделаю Надюхе колечко! Сегодня! Сейчас! Во что бы то ни стало. Я уже вижу - какое оно...

А клевый все же у меня набор резцов. В школе руководитель кружка часто повторял: «Изумительно! Превосходный экземпляр! Фантастика, хоть и не по теме...» Зададут, бывало, из осинової плахи простенькое что-нибудь высечь, а я другое несу - оскаленного чудо-змея или юморное человеческое лицо. Этому и удивлялся Анатолий Иванович, наш руководитель: «Мастерства бы тебе! Руку набить, а глаз у тебя - меткий глаз! И фантазии не занимать. Божий дар! Талант!»

Никуда мой талант не пригодился. Остался вот от него набор резцов. Помню, со слезами у мамы вымалывал...

Самшит иногда называют железным деревом. Твердый очень. И мало-мальски соображающий резчик никогда не станет ковырять его: провозишься, руки смозолишь, резцы угробишь.

И отправился я в гараж.

Подобрав сверло, пробил отверстие, наружную поверхность,

торцы обработал наждаком. Вот теперь самое тонкое дело - остороженько розочкам задать рельеф, дабы не просто колечко вышло, а перстенок. Сердце изобразить хочу, а внутри его - змейку над чашей! Надя сразу поймет: мое сердце принадлежит ей! Моя Надюша - медичка, фельдшер. По ее милости мы в деревне живем. В нашем поселке места не нашлось. А вообще здесь, в Славице, мне нравится. Избу нам сразу дали, большая, теплая она, и от большака на усторонье. Ни шума, ни пыли...

Замечтался я - ничего не вижу. Вот это вырезал - не сердце, а волчью морду! Ну в тютельку! Давненько я не держал резца, вот и получай, Надюшка! Ну как живая волчара вышла... Выкинуть? Жалко...

Положив дома колечко на стол на самый вид, я поставил кипятить чайник.

- Здорово-те...

- Здравей видал! Эй! Куда ты? Проходи, Авдеич! - я жму соседу руку. - Давай чайку попьем.

Авдеичу не сидится. Он вертит перстенок и нахваливает:

- Делов, делов... Неужто и вправду сам?

«А кто же, мол, еще?» - с напускным безразличием повожу я плечом.

У Егора Авдеича мы берем молоко для Андрюшки. Из себя дядька худенький, невысокий, но жилистый мужик, лет пятидесяти. Коричневое постоянно напуганное чем-то лицо. Дядька часто моргает и - Надя говорила - жалуется на голову. Просто так, без дела, он к нам не бывал.

- Олеша, - начинает дядька, - а косить ты могёшь?

- Я все могу, - смеюсь я, - не темни, выкладывай...

- Ты чечас в отпуску... Может, выручишь? За неделю уладим, ежели погода... Идти, верно, неблизко...

- В принципе я не против, надо только у Надьки спросить...

- Вчерась я говорил с ею, передаю слово в слово: хоть на месяц поведи... - Авдеич заморгал еще чаще, начал поминать племяша.

- Ну раз так - я готов! - успокаиваю я его. - Ты возьми мне косу девяти рук - это у меня будет гектарница!

- Лихо ты, Олеша, замахнулся, - довольно смеется дядька,

- у меня все косы по шесть с половиной... Сапоги накинй: сыро идти. Рубаху портяную дам... Ужо чечас и отправимся?

Жене я оставил записку: «Надя, с твоего позволения Авдеич забрал меня в батраки. Если погибну - считай коммунистом и прости все грехи...»

Второй час шагаем лесной дорогой. Над вспотевшим Авдеичем кружатся слепни. Взмокшая белая рубаха прилипла к плечам. Несет дедка грабли, вилы, топор, ведро.

«Неужели не прокусывают?» - думаю, видя на застиранных, не однажды латанных хлопчатобумажных штанах Авдеича рой оводов. Сам я надел спецуху - в ней, конечно, жарко, но от гнуса хорошая защита.

«В годах, а попробуй угонись!» - распирает меня уважение, к старику. Никак не пойму, почему в деревне над дедком Егором смеются. Недавно тракторист Колька Спирин сказал: «Слышал о Фоме неверующем? Так Авдеич - антипод...» Лично я ничего дурного в старике не нахожу. Нормальный дедко! Перекидываю косы с плеча на плечо, но легче не становится: на спине у меня здоровенный мешок с провизией.

- Покурим, дядь Егор...

Дымим, сидя на бровке старой затвердевшей колени. У моих ног растянулся Бобик, пес Авдеича. Он облизывает впалые поджарые бока и щелкает зубами, стараясь лишить жизни особенно надоедливую слепню.

- Устал, бедный... Дядь Егор, далеко еще?

- Не особо-о! - прибывая назойливую тварь, сообщает Авдеич.

- А ближе сенокоса разве нет?

- Да как... Токо там - надежней. Приходилось мне, Олеша, и рядом с домом кашивать - по один год десять зародчиков наставил, а зимой зараз на лошади увез. Одно овершье... А тамо - трава! Пырей, лабазок, мышьяк, клевер! Косу не протащить! Вот перейдем Чумаки, Дедовицу, поднимемся на гриву - и на покате...

Чумак - страшное, гиблое место, под стать названию. Под ногами жулькает, чавкает. Продираемся сквозь заросли лабаза в палец толщиной. Изредка среди этого бело-зеленого моря попадаются посохшие деревья и высокие пеньки. Вяжет притор-

но-прельый болотный запах. Нежданно палит солнце.

- Сусанин, ты куда меня завел?

- Ась? - вопросительно оборачивается Авдеич. - Теперя совсем рядом...

... Наконец-то дошли! Валюсь в траву возле шалаша, дядька садится, Бобик с разбега кидается в речушку и жадно пьет.

- Вишь, с утречка, по холодку выйти - не намаялись бы...

- С утра я перстень вытачивал.

- Нужное дело, - улыбается Авдеич, - бабы внимание уважают.

Глядя на дядьку, я пытаюсь вообразить: серьезно он или поддразнивает, общучивая меня.

- Выгоим в шалаше, тяпнем травушки на постилю, - начинает перечислять он, загибая пальцы, - к ночи перина готовая. За какое дело берешься: обед варить или дрова ладить?

- Сам вари!

Взяв топор, я отправляюсь за шалаш. Дров к ночи немало нужно: без огня в шалаше комарье зажрет.

- Олешка! Иди павжнать! Супец готов...

Супец так себе, а чай вкусный. Авдеич накидал в ведро смородинового листа. Смородины по берегу - рви, не хочу. А речка мутная. Но место веселое. Шалаш на взгорке, дверью на восток. За речкой по откосу - старая вырубка, а ниже, по березине, - широченное сенокосное угодье. На запад, впритык к шалашу, - лес, дремотная чаща.

- Когда-то все косилось, народ жил, а теперь... - вздыхает Авдеич, заметив, что я с интересом оглядываю округу.

- Дядь Егор, а почему речка Желтой называется? Не Голубой, не Красной, не Мутной, к примеру?

- Вечером глянь, поймешь, - испуганно, опасливо оглядываясь, шепчет Авдеич. Тоже начинаю оглядываться, не понимая, с чего он так заволновался.

- Хозяйка или Хозяин. Неуж не слыхивал?

- Из Бажова?

- Нет, деревня Источниками прозывалась... Потом обскажу, дома, этта чесать языком неохота, подем-ко потерербим маленько, покудова гнус не разыгрался.

Идем, я объясняю дядьке, что Бажов - писатель. Написал

он о Хозяйке Медной горы, которая в ящерицу запросто превращалась.

- Свят, свят... Не говори к ночи дурнова! - крестится Авдеич. Не знаю, почему, но мне приятно видеть его страх. Хмм! Рядом с Авдеичем я - храбрец, каких поискать! Чего бояться? Люди в космос летают, Бога, и того отменили, а дядька сказки лепит, да и трясется при этом. Понятно, о чем Спирын не договорил. Все ж надо будет у Авдеича спросить, зачем косить сюда пришел, раз боится... А может, он «мульку пестрит», притворяется?

Косит Авдеич резво, покос ведет неширокий, но ровный, выбривает чисто. Остановясь направить косу, поглядывает на меня и лыбится довольно:

- Приходилось, гляжу, косу держать, даром хоть с городу.

- Какой город, дядь Егор? Родился я в поселке не крупнее вашего Славина. Корова у родителей была, пока отца в лесу... Он вальщиком работал...

- Хорошой ты парень, Олеха, кабы пил помене. Как токо старухи пьяного тебя не обзовут: крохобор, оболтус, голик. В запятки наплюют. Взял бы в ум: руки у тя - золото! А то ить Надежке одне слезы...

- Брось, Авдеич, не люблю нотаций! - злюсь я.

- Поглядел я вчера, - налопатив косу, продолжает дядька. - «Всех перевешаю! Паскуда!» - так-то Надежке орал, избу грозил подпалить... Я до того испужался - опрометью от вас.

- Ври! - не верю я, хотя и подозреваю: так и было. Вот отчего Надюха сегодня втихаря учесала! Екалэмэнэ! Какой же это заскок у меня - седьмой, девятый? Сколько раз заикался и клялся не напиваться до беспамятства... Размахавшись, я не заметил осиною сероватого пузыря. Бросив косу, бегу, плююсь, матерюсь. Будто поленом в глаз заехали!

Авдеич стоит и смеется. Злюсь за нотацию, а еще больше - за тот идиотский смех.

- Чего ржешь, мерин старый?! - сплунув, сажусь, достаю сигареты.

- Не обидься, шибко уж ты сурьезно викал... - опускается рядом дядька.

- Я что - собака? - обида и злость так и кипят во мне.

Из куста вылезает Бобик и, лениво помахивая хвостом, приближается к нам. И тут я совершаю неожиданно для себя натуральный подляк.

- Бобик, на! - и бросаю спичечный коробок в сторону раскошенного пузыря. Пес кидается вслед за ним... Потом долго и обиженно визжит, уносясь к речке.

- Не одному мне страдать! - злорадно смотрю я на дядьку.

Лицо старика перекосилось, заросший седой щетиной подбородок отвис, губы заподрагивали, глаза заслезились. Авдеич молча встал и ушел к шалашу.

С испорченным настроением я косил еще с полчаса. В голове гудело, и, бросив косу, я направился к ночлежке.

- Хлебай супу, - Авдеич, похоже, поотошел, не сердится.

- Не, чаю давай, эксплуататор! И стопарь не помешал бы...

Авдеич морщится, но достает из рюкзака бутылку.

- Ладно, пошутил я, кончим работу, тогда и распечатаем - храни!

Мне не верится, что от этих слов можно стать или хоть просто выглядеть таким счастливым: дядька суетится, шутит, говоря много и непонятно.

- Так чего ты мне насчет хозяина-то плел? - устраивая лежанку, спрашиваю я.

Авдеич, загнав в шалаш Бобика, замотав на веревку дверь, кладет топор мне в ноги и ложится рядом, вытягиваясь.

- Ну, коли хотел - слушай! То, не то, а сколь знаю. Дедко мой сказывал: он врал - дак и я совру. Тут недалече серогон стоял - четыре барака. Дедко бригадирил. Прохора Силаева знаешь? Он пацаненком был, навроде посыльного при бригаде. Ведомости снести, бельишко грязное в деревню, а оттуда - наряды, съеднова... Робыли не как ноне: не полежишь, не зажиреешь. Отправили раза Проху в деревню. Идет он, значитца, и вдруг - стон учул. И видит: медведица - не медведица, волчиха - не волчиха! Желтая вся, здоровенная, шерсть как кудели. На медведицу больше похожа, только морда волчиная... Лапа у нее в сосне сломленной зажата. Перепугался парнишка, а зверюга глядит слезно и стонет жалобно, по-человечьи. С перепугу-то и расклинил Проха трещину топором...

- И чего?

- Ушла медведица. Титьки, понимаешь, у нее не зверьки были, без шерсти, бело-розовые, гладкие, торчком! Не у каждой девки экие. Ну, вернулся Прохор из деревни, мужикам рассказал: так, мол, и так. Кто поверил, кто нет, а посмеялись: пристроиться бы надо было... Вот тут-то и заразорился Яшка Шимонков: сидим без мяса, а ты, шкет, отпустил!

Дней через пяток опять направляют Проху, он уж и собрался, а Шимонков к деду моему пристал: дозвожь сходить да дозвожь. Не образумить: не каждый день медведка в сосну попадает.

Идет Яшка, глянь: где говорил Проха - колотая сосна, и медведка стонет. Топор у Шимонкова как секира, а сам он мужик дородный. Тюкнул он медведице по голове, кровь брызнула в глаза, да так - с ног опрокинуло! Опамятовался - никого, а на лице не кровь - деготь. Откуда деготь? А потом и засаврасило! Забоился Яшка. В нужник, до ветру, один не ходил, будил кого-нибудь. Вызволил дедка его с серогона, в деревню отправил - то же! Полезет в говбец - навстречу кровяная волчья морда да черти всякие. Он - орать! Позадолгу знаток один провещился, будто бы Яшка духа лесного обидел... Так-то, Олеша.

- И все? А дальше?..

- Повесился Шимонков ровно через год у той самой сосны, видно, жить ему невмоготу стало. Дорожку эту с той поры Шимонковой зовут. Не приведи, Господь, по ней пойти...

- Мы же шли...

- Я о том - не дай Бог духа обидеть! Хозяина Источников или Хозяйку Желтой - они ведь в любом обличье могут. Речка Желтой оттого называется: медведка-то желтая была! А народ позабыл, и быльем поросло.

Подбросив в очаг дровишек, я спросил:

- А Прохор? С ним ничего не случилось?

- Прохор всю войну прошел - ни царапины. Два ордена и медаль заслужил. И потом дома в любом деле удача. По ягоды, по грибы - всегда несет, хоть и год неуродный. А помню, драка приключилась: деревня на деревню - стойками, оглоблями хлестались, а Прохор... Выплясывал на кругу с гармоньей, босиком вычечетывал - никто, ни свой, ни чужак не задела, а по полу

- лужа крови: троих подкололи. Мне годов девять было, я из крапивы подглядывал, перепугался весь, морготка на глаза тогда и напала. Ну, давай спать, рано подыму. А Бобика ты зря эдак, а вдруг бы «Желтая» к тебе так - ее тоже напотчуешь?

- Перестань, дед! Завелся! - одернул я его, чувствуя, как по спине побежал озноб.

Ночью я увидел сон. Ластился ко мне Бобик, только окрас у него был не белый, пятнистый по бокам, а коричнево-желтый. И кормил я его с руки, и гладил...

Утром дядька выловил из ведра с чаем разваренный смородиновый листок и привязал его к моему заплывшему после укуса осы глазу. И почти сразу не заныло, перестало дергать. Настроение у меня улучшилось.

\* \* \*

- Ну, - тяжело отпыхиваясь, утирая пот, заговорил дядька, когда я осадил его с последнего зарода, - шабаш! Спасибо, Олеша! Ой как ладно все у нас!

Вечерело. Нижним краем багровое солнце опустилось за верхушки деревьев и потому казалось пилой. Небо было чистым.

- Поедим, поспим и с первым лучиком почапаяем к дому? Или прямо чечас двинемся? - полувопросительно обратился Авдеич.

- Поспим, - утвердительно кивнул я. - Ты сваргань почавкать, а я до вырубки дойду. Насмотрел там малины, наберу Андрюшке пару баночек, пока светло. Охота побаловать сынишку.

Сунув в боковые карманы спещухи по литровой банке, я перебежал Желтую и направился к вырубке. Крупные бледно-розовые молочные ягоды - мне таких и видеть не приходилось - огнетали ветки. Набрал я быстро. Запаковав банки пластмассовыми крышками, направился к шалашу, но захотелось курить. Выбравшись из кустов на окраину, я опустился на валежину, достал сигареты.

Над Желтой клубился туман, и казалось - шалаш покоится прямо на этом подвижном облаке. Вынырнула голова Авдеича, он скрылся за дверью, вышел и снова провалился и исчез в

дымчатом месиве. Я курил, наблюдал и вдруг почувствовал: внутри родилось ожидание чего-то страшного. Туман был не обычной массой: клубясь, он принимал различные формы! Вот отчетливо вырисовалось чудище с огромной головой на маленьких шести кривых ножках! Оно ползло на меня! Каких усилий стоило мне сдерживать крик! Ах, как глупо! Дрожу, как Авдеич! Да если проведают - засмеют!

Туман все клубился, пышнол, меня цвет с бледно-зеленого до желтого с розовыми проплешинами... Вдруг мне показалось, что на меня смотрят! И от ощущения чьих-то подсматривающих глаз замерзла, задеревенела спина. Напрягаясь, чтоб не побежать, я повернулся... Безобидная белка сидела на пенечке совсем рядом. Злоба захлестнула меня. И схватив метровый сучок, я закатил им в зверька. Белка увернулась, юркнула и затерялась, а я расхохотался и подумал: пожить с Авдеичем рядом полгода, и начнешь бояться собственной тени...

От водки дядька отказался, и я, незаметно для себя, уговорил всю бутылку. Хмель разливался по телу медленно, он вытеснил из головы все глупости.

- Дядь Егор, славно как тут. Жил бы и жил в свое удовольствие! Место приятное - красота! По бабе бы нам с тобой сюда для полного счастья! Я бы дак и домой не пошел!

- Сплюнь! - дед рассердился не на шутку. - Язык у тя, Олеша, как помело! Выпил - ложись спать... - заматывая на веревку дверь, бубнил он.

Захотелось пить, и я проснулся. Черпнул из ведра чаю, подбросил в очаг дровишек, посмотрел на спящего Авдеича, Бобика, свернувшегося калачиком в ногах, глянул в отверстие дымохода на ночное небо, вспомнил взгляд белки, и мне стало не по себе...

Улегся я поудобнее, чертыхнулся, закутался и заметил... за дверью сияло! Свет, казалось, струился в щели. Я сел. Веревка, которой дядька старательно припуптал дверь, поползла и начала развязываться сама собой. Блазнит? Меня запотряхивало.

- Авдеич! Дед! Проснись...

Бобик жалобно заскулил, шерсть у него на загривке вздыбилась. Авдеич спросонок схватился за топор:

- Ась... Олеш...

- Глянь на дверь, не мерещится ли мне с вина?

Я гляжу то на Авдеича, то на дверь. Ужас, какого мне еще никогда не приходилось испытывать, рвется наружу криком.

Дверь распахнулась, на пороге возникли две женщины. Желто-зеленые, словно натертые фосфором лица, черные волосы, черные, до пят, платья. Платья трепетали, и отблики огонька с каменницы переливались в них, как в зеркалах.

- Свят, свят... - закрестился Авдеич. - Кто хрещоной?

- Звали - и пришли! - голос прозвучал глухо, будто говорили в рупор где-то неблизко, а сюда - нанесло...

- Сгинь, сгинь, нечистая сила! Кладу Хрест святой! Оборони, Господи!

Пришелеццы пропали, а на улице поднялся невообразимый шум! Затрещала чаща, загредел рев - волосы Авдеича встали дыбом, и жался к нему, визжал, скулил Бобик.

- Выйди сюда, Алешенька! Спаси меня! Это я - Надя!

Я кинулся к выходу, но дед ухватил меня за ногу.

- Окстись! Нетока Надежки! Нечисть тамо-ка... - и Авдеич забормотал молитву, крестя в шалаше углы.

- Алешенька! Алеша...

Выглянув, я испустил истошный вопль. В проеме стоял огромный рыжий волк, из оскаленной пасти которого торчала рука. Рука моей Нади: я узнал ее мгновенно по перстню.

- Опомнись! Читай воскресную молитву! За мной читай!

- оттягивал меня от двери Авдеич.

- Змеи! Гляди, дед, змеи! - я указал дядьке угол, в котором клубком извивались гады.

- Дров! Очаг подвесели! И читай! Повторяй: «Отче наш...»

По берестяной крыше затопотало: «Мимья-а-у!» - будто тысяча котов одновременно.

- Дров! Еще огня!

Трещала чаща, выли невидимые звери, шумел ветер. Шалаш, казалось, рассыплется или взлетит на воздух.

До солнца мы не смыкали глаз. Я повторял за дедом слова очередной молитвы...

Едва зарозовело небо, Авдеич, грозя кулаком, сипло запричитал:

- День, занимайся, Божий свет, разливайся... Сгинь, бесовское

отродье! Сгинь, провались! Не пужай рабов Божьих...

И установилась тишина! Мне показалось, что я оглох. В отверстие дымохода шлепнулась большая куча снега на каменницу. Огонь погас, и едкая вонь заполнила наше убежище.

Почти всю обратную дорогу мы бежали, не чувствуя усталости, тяжести инструмента. И вот - Славино! И наш крайний дом. И заметив, как от него отделилась Надина фигурка и рванулась к нам, я испугался и ...

Когда я пришел в чувство, Авдеич моргал виновато, а Надя, склонясь надо мной, плакала.

- Что с Андрюшкой?! - закричал я.

- Все хорошо, Алеша.

- Как ты меня напугала, - я обнимаю жену, прижимаюсь небритой щекой. Все хорошо! Все живы! Здоровы!

Сидит враскорячку Авдеич. Бобик, довольно повизгивая, лижет в щеки дядьку, Надю и меня. Мы все со стороны, наверно, похожи на придурков: дом рядом, а мы прямо на дороге...

Целую Надину пропахшую глицерином и нашатырем ладонь и не вижу колечка.

- Потеряла, Алешенька! Вечером белье полоскала и обронила...

Я утешаю ее и обещаю жить по-людски. Я много и часто обещал, но на этот раз говорю правду...

## ЧЕТЫРЕ ЧЕРНЫХ ПЕТУХА

Евсей Мизгирев отправлял сына в Шонгуй постигать бочажное и глинобитное ремесла. Учиться - не лениться строго-настрого наказывал:

- Ушаты, шайки, кадушки завсегда спрос имели, сынок, а печи и подавно. Первым человеком в крае будешь, коли овладеешь мастерством...

Однако впрок отцовский наказ не пошел. В Шонгуе Ипат скоро освоился, завел городских дружков, девку Сонечку, дочку кладбищенского сторожа. Незлобивый от роду, Ипат не раз был смертно бит по пьяному делу, и сам наловчился вышибать зубы. Здоровьем-то Бог не обидел.

Отцовских денежек не хватало ни на выпивку, ни на карты, и вскоре Ипат с Сонечкой изобрели способ пожить-ся... До отца донеслось, чем вместо обучения промышляет сын, и он затребовал Ипата домой.

- Оставайся, Ипат, залюбила я...- куксилась Сонька.

- Тятка у меня строгой, - оправдывался дружок. - Опять же хозяйство тамо-ка...

Устроился Ипат на ожидавшей его подводе, в последний раз оглянулся и захолонул. Там, где только что утиралась «любава», копошились в пыли четыре здоровенных черных петуха. Трясущиеся гребни и бородки необычных птиц казались брызгающими струями крови... Тряхнул парень головой: нет, стоит Сонька, непривычно грустная, платочком машет.

«Откуль тут живности взяться, - успокаивал себя Ипат.- Примерещилось.»

У дядьки Ефрема никакой живой твари, кроме кота, отродясь не водилось. И приятно Ипату, что Сонька, которая по первости не слишком его ценила, теперь невеселая...

Выступал по улице родной Кленовицы Ипат Мизгирев надменно: смотрите, сельчане, кто идет! Сапоги кожаные в гармошку, штаны настоящие суконные с напуском, рубаха атласная синяя и картуз новый с лакированным козырьком, Мизгиревы не лапотники!

Отца, правда, нарядный вид сына не смутил. Сохватал Евсей беспутного за ухо, прямо во дворе, при честном народе, и давай драть, да пониже кушака супонью приглаживал, под руку попалась. Разгорячась, стащил шикарный картуз - Ипатову гордость и распазгнул на три части шорным ножом. Изуродовал и нахлобучил сыну на лоб:

- Вот тебе, бестолочь, за отцовский позор...

В деревнях подобные происшествия неделями обсуждают.

Выладился Ипат на третий вечер на посиделки: сапоги дегтем смазал, вехоткой блеску напустил, пожалел о картузе... О Насте вспомнул, и не поверилось Ипату, что когда-то от нее - не от отца с матерью - уезжать не хотелось.

Посиделки встретили Мизгирева хохотом.

- Во! Точно! Ипат, а картуз-от где? - спросил Васька Петухов, одногодок из соседней деревушки. Ипат, не отвечая, не здороваясь, прошел и опустился на лавку, рядом с Настей. Смотрел на нее, пугливую, потупившуюся, а видел Соньку.

«Эх, Настя! Куда тебе до той стервочки... Та - огонь! Сгоришь - за счастье примешь, а с тобой... Невесело с тобой. Холодно, и говорить не о чем, разве пышкать да в пол глядеть?» - подумал Ипат и переместился к парням в угол, где всю делили четверть первача. Пока не захмелел, не обращал Ипат внимания на шутки, а окосел - заело. Пригодилась сноровка. Своих кленовичан не тронул, сдержался, но гужовских троих выгнал из избы. Девочек всех перепугал.

Васька Петухов, убегая, хлюпая разбитым носом, выкрикнул:

- Ууу! Мизгирь вонючий! Кабы пригодился этта Колька Канюк, ты просидел бы весь вечер у Настюхина подолу, с места не встал...

Васькины слова достигли, больно задела хмельную Ипа-

тову голову. Канюков по празднику, еще до Шонгуя, закатил задире кулаком в лоб. Ипата еле откачали, чуть не преставился и виноватым сам остался - первым наплыл.

«Вот бы сейчас Канюка встретить, сосчитался бы... Да навряд ли он на сиделки припрется, женился недавно, ряженку какую-то окрутил, дома уж поведали...»

Отец развеживаться, отлынивать Ипату не позволял. По утрам отправлял проверять капканы, осеред дней пере-крывали на гумне навесы, позже занялись латать хлев.

И сравнивал Ипат тяготную деревенскую жизнь с развеселой городской, и тянуло бросить все, и сбежать в Шонгуй.

Одно в деревне развлечение - посиделки. Ипат зачас-тил на них. Удавалось - тискал в сенцах Настю, и она начала бояться: старалась не оставаться наедине.

Петухов передал Кольке Канюкову или кто другой, что Ипат Мизгирев грозитя, только сошлись они.

- Ха! Женатик пришел! - с оттенком барственности в голосе взвыл Ипат.

Голова его отчаянно заработала: надо осрамить Канюка перед молодяжками...

- Здоров, бочар,- не обращая внимания на тон, от-кликнулся Колька и отвернулся, продолжая судачить о чем-то с Петрухой Крушняковым, сыном лесничего. Этим «бочар» он стукнул больнее, чем тогда кулаком. Ипат взбеленился. На глаза ему попалась крепкая, кованая кочерга. Схватил он ее за концы и, наливаясь злобой, согнул дугой, бросил на пол.

- Кто выпрямит? Есь ли ошшо мужики в избе?

Ребята нерешительно топтались. Вот она, клюка. Разо-гни попробуй, ежели толщина в палец.

- Ну, - довольно засмеялся Мизгирев,- нету мужи-ков! А ты, женатик-Канюк, слабо?

Колька, не говоря ни слова, поднял кочергу, повертел в руках и напрягся.

Лицо налилось кровью, потная рубаха лопнула на плечах: клюка поддалась, Колька согнул ее еще сильнее,

почти завязал узлом, но вдруг выпрямил и бросил на припечек.

Ярость охватила Ипата. Он выбежал на улицу. В пылу осенило - только кладбищем Кольку можно взять. Все здесь кладбищенских ворот больше огня бояться. Даже днем на погост, в неурочный час, без дела никто не заглядывает, а ночью-то и по делу не послать.

А Ипат с Сонькой в Шонгуе могилы разрывали: схоронят кого в богатой одежке, Сонька тут как тут - пошли, Ипат. Деревенским про то невдомек.

А как Ипат дрожал поначалу, но мог ли он выказать девке страх? После трех раз привык. Обычное дело. Мертвым все равно, в чем лежать: мертвые не мерзнут, не потеют.

Забежал Ипат на кладбище, ослеповал могилу понеухоженной, беспризорную - наверняка в деревне родни нету, и выворотил крест. Взвалил на плечо и понес.

- Во! - стукнул крестом посередине избы.- Принимайте!

Сначала все оцепенели... После девушки завизжали и, побросав прясла, кинулись вон. Парни за ними. Потянулся к выходу и Канюков.

- Эй! Канюк, куда? - пытался остановить его Ипат.- Ты у нас вон какой проворный, может, отнесешь штуку, к месту приставишь?

- Отстань, недоумок! - испуганно вырвался Канюков из цепких Ипатовых клешней.

В избе осталась одна Настя. Она крестилась и голосила:

- Ипатушка! Грех-от какой! Отнеси, Ипатушка... Христа ради...

Сплюнул Ипат и потащил ношу обратно. Долго разыскивал холмик, который осквернил, но так и не нашел. Надоело. Бросил крест, не глядя куда, и домой пустился.

Проходя мимо церкви, Ипат встал, как вкопанный: лестница! Три раза проходил мимо, не видел! Кто ее приволок? Кто приставил к стене под колокольню? Канюк разве? Не должно...

Из-за облака выглянула яркая полная луна. А на лесне-

то сидит кто-то. Кто таков?

Ипат приблизился вплотную:

- Эй! Ты! Чаво расселся? Кыш!

Непонятный серенький маленький человек вроде продолжал сидеть, ежась и помалкивая, не замечая Ипата.

Ух ты! А на голове-то у него шапка-не шапка, кепка - не кепка, а что-то наподобие маленького колпачка. В лунном свете шляпка поблескивала голубоватыми искорками.

- Диковина! - и, протянув руку, Ипат снял шляпку.- Буквы-то, буквы какие... Это мне взамен изорванного батея картуза Бог послал. Парни завтра от зависти подохнут!

Колпак пришелся впору, и домой Ипат летел, не чувствуя под собой ног.

Укладываясь спать, думал: уйдет незнакомец простоволосый или начнет разыскивать шляпку, когда проснется? Не отдам! Неча спать на улице...

Едва Ипат коснулся головой подушки, в избе сделалось светло как днем, даже светлее, будто луна закатилась в окошко...

Загулял сквозняк, да такой сильный, что дверь на мост отворило. По мосту заскакали, покатались кадушки с соленой, как ожили, а из них завьпрыгивали, запичкали, зашлепали навроде лягушек грибы. В печной трубе завыл, не тише сотни голодных волков, ветер. Взыбились волосы Ипатовы. Штаны натягивал: то обе ноги невпопад, то в одну брючину... Дверина в говбец затрещала, застонала, и вдруг из-за нее с хлопаньем, издавая громкие каркающие звуки, вылетели четыре черных петуха.

Выскочил из горницы отец:

- Свят... Свят... Господи, помилуй грешных...

А ветрило обезумел: подломились ножки стола, и столешница заползала по полу кругами. Запрыгали в суденке горшки, бочонок с водой опрокинулся, но вода не выливалась. Ипат хотел поставить его, хватъ, а в бочонке-то - лед! Заперебирался волнами потолок, из пазов посыпались опилки. На подволоке стадо быков будто, того и гляди - матица обрушится. Ложки забегали, забарабанили по стенам. А свет стоял такой, какого ни Евсей, ни Ипат отродясь не зревали. И над

всем этим летали черные петухи. Они, точно слепые, бились в печную трубу, стены, друг в друга, перья сыпались в разные стороны,

- Господи! Спаси Христос! - следом за Евсеем из горницы выбежали жена и дочка, и, как были, в одних исподках, кинулись на улицу.

- Спасайте, люди добрые, горим!

- Какое горим! - обгоняя, завопили Евсей с Ипатом, ни жару, ни смороду! ..

Жукнул Евсей дочку:

- Бежи скорее до батюшки Сидора! Так и говори, дочка, нечисть, мол, декуется в хоромах.

Отец Сидор, на глазах Мизгиревых и все увеличивающейся людской толпы - кто с батоном, кто с фонарем - трижды заходил в сполошную избу. Переступит порог, осенит святым крестом стены, молитву воскресную затянет - все стихло. Только выйдет на волю, снова треск-стук-гам, да молнии в избе - с улицы слышать и видать. Толпа со страху трясется, Мизгиревы ревом исходят.

- На Господа надежа, - пробормотал батюшка.- Молите Бога, милостив Господь...- и, не оглядываясь, засеменял прочь.

Мизгиревы заблажили еще сильнее. А кто-то, пытаясь образумить соседей, кричал:

- Евсей Лукич! Отправляй нарошного на Гужово, к Прокопу, он в эдаких делах знающий...

Другой шептал:

- Ипатку-ту твою вечер видали - крест с кладбища волок, вот...

Что было бы дальше? Но тут к народу подошли из темноты Кирилл Крушняков - лесничий и Прокопей Савич, которого только что поминали. Прокопей, оказалось, гостил у Крушнякова.

Жена и дочь Евсея повалились знахарю в ноги, подывая, невразумительно объясняя суть. Седовласый немощный на вид старец обошел их, двинулся к избе, но, не доходя до крыльца, замер. Замер и столпившийся честной люд, а в доме боботало, щелкало, звенело, мычало, хлопало, потрески-

шло...

Прокопей повернулся и, скрипуче растягивая слова, негромко, словно заклинание, проговорил:

- Голова дадена думать-мнить, да помнить, а не токо шапку носить...

Никто ничего не понял; а Ипат сообразил: шапку вернуть надо! Хорошо, с собой она, - за пазухой. И он украдкой отделился и побежал к церкви. Там ли усталый путник? Знахарь повторил слова еще раз, и народ, изумившись наступившему в хорамах покою, загоношился:

- Поглянь-те, а? Вот чудо-то: Сидор три раза пытал, молитвы пел, а без пользы. Прокопей Саввич два слова молвил, и все чередом. Иди, Евсей, огляживай хоромы, покуда Прокопей этга...

Евсей, прихватив соседа с фонарем, сунулся в темноту избы и не поверил глазам: чин-чинарем, все по местам - ни петухов, ни перьев. Евсей долго благодарил Прокопея, но тот, уходя, оглянулся и сказал:

- Ни при чем тут я... А память блюсти надо, и сыну накажи...

И только тут спохватились - нету Ипатки...

У церкви Ипат сбавил прыть. Темно. Он пристально взгляделся: где тут стояла лесня... Серенький путник сидел также - не шевелясь, молча. Надел быстренько Ипат на него шляпку и к дому повернул, но прямо перед ним, на около церковной выстланной камешником площадке, затанцевал, раскачиваясь, сверкая тем же, что и колпак путника, искристым блеском, крест... Ипат попятился и наткнулся на что-то. Обернулся - мама! Мертвяк! Даже в темноте Ипат опознал его сразу - тот, которого с Сонькой первого раздели! Вот он - голый!

- Врешь! - Ипат рванулся, дико крича, в сторону, но и там - кругом - мертвяки. Все четверо здесь!

Кинулся Ипат к лестнице, будто бы там - защита! Но лестница исчезла, а колпак путника сам собой наделся Ипату на лоб и закрыл глаза. Сдернул его Ипат, швырнул, а он к рукам льнет, не летит...

- А-ааа!!! - зажмурился парень и головой вперед пом-

чался на мертвяков.

Подвернулся под ногу скользкий голыш... Падая, Ипат успел выставить кулаки с налипшим колпаком. Он не слышал, как, глухо тренькнув, загудел, оборвавшись с высоты, тяжелый чугунный колокол...

В горячке Ипат не почувствовал боли в раздробленных кистях. Он увидел живых, родных спешащих к нему людей и устремился к ним.

## МОРОЗКО

Мы не шибко верующие: крест кладем, а из роту - матюки. Раньше-то не эдак жили - вера была. О Новый год по три раз избяные двери отпирали - Морозка кликали: «Пройди, Морозушко, потчуйся, чем Бог послал...»

Дабы весь год в достатке да с хлебушком на столе быть.

Авдеич, говоришь, натакал? Слушать-то можно, токо Морозка повидать надо, а то не описать... Я-то, верно, сама видала. Он был, Морозко, некому боле. Да не сразу меня догадка взяла. Ну, уж как есь - выскажу...

О ту пору я молода была, со вторым тяжелая. Акимушке, старшенькому, трех ишшо не стукнуло. Понаехали гостейки: мама, божатка - четыре ночки радела я. Акимушка прилипчивый - то по всему дню один, а тут бабушка его не с рук. Ранше строго: севодни роди, назавтра на роботу поди. Вот мама и бает: опусти да опусти Акимку погостить. А далеко, слышь, триццет верст и все лесом...

Я к батьку - мужу, значитца, а он: опускай, хоть сыг будет. Суседей не обременять, за пригляд не платить. Опять польза. И там - не с чуже-начужо - родная бабушка.

Увезла мама Акимку. Я с темна до темна в работе: все за сенам на конях. А спокою нетока: как сыночек мой? Нетнет, да зареву.

Батько в матюки: пускать, мол, неча, коли ни жить, ни быть!

А тут почтарь поклон привез: занемог Акимушка. Я к председателю: «Дай лошади, за ночь обернусь.» - «Нет, Офонасья, не дам, эстошь зверья, летом бы - так не сколь не жалко...» - «Посочувствуйте, - прошу, - там дитятко мое, немоглое...» - «Не, Офонасья, и не проси! Тебя, так и быть,

на день ослобоню, а лошади не дам, не ровен час, не обидься...»

День отробила кой-как, не заходя домой, кинулась. Бежу голодная, холодная и усталая. Сколь отошла - лес кругом да мугла. Ой как мело!

Страх разобрал: не дотти все одно, а идти-то надо. Как до Каксура дошла, не помню, все торопесь, все в набег, хоть и убродисто. Дале как податься - с ума не шло, вот и заглянула к Уляшке, думала, Иван дома, друг бы довез. Иван батьку-ту - братан родный. Да не довелось его.

Ульяна ночевать оставляла: темень, мол, ни пути-дороги - поземка. Иван, глянь, завтра должон, - так и отвезет. «Поздно мне к завтраму - через день на работу поспеть надо.» Засоби-ралась я, а Ульяна: «На, Офонасья, выпей стакан вина, ходчая и легче пойдешь, не близко ведь».

Была - не была. Выпила я. Уля меня перекрестила, и пошла я. Ходко с вина-то поначалу, а потом хоть ложись.

И страх ошшо пуще. Сколь верст оставалось? Чую - все, не добраться до Акимушки. Взмолилась я: «Господи, Господи... Не оставь, Господи!»

И чукося, витер утих, небушко вызвездило... И скрип сзади...

Оглянулась я - в пот бросило! Лошадь - вся в инью, а седок в розвальнях в шубе мехом наружу. Тутошняя я - схожева до сех пор в округе не сыскать. Шуба ворсистая, серебряная, так и свитит, сам рукой махнул: садись-ко...

Я бы рада икнуть да в лес, протрезвела, испереполохалась, а мне ровно кто рот зажал, и ноги подсеклися, ватные стали. И будто толкает тихохонько: не бойся.

Шагнула я, опустилась. И тепло мне, не вижу я ничего - только месяц да звезды. Куда барин правит, не ослепуешь. Опамятовалась, гляжу - Починки! Ладно везет.

И усталость у меня пропала, и спросить охота: кто ты, батюшко? А не смею... А он и дом знает, остановил: выходи, девонька! Понятливо, молчит. Начала я его в избу звать, угостить бы чем, а он лошадь поторопил. То ли витер нанес, то ли лес прошумел, то ли сани соскрипели: недосуг, милая...

Мама меня увидала, глазам не поверила: «Как это ты?»

Пять нечер сустижь пороша...»

А я к Акимушке скорей! Спит мое робятко! Рученьки, ноженьки - наглядеться не могу, а слезы бежат и бежат, как горохи. Про все забыла.

Наутро мама ходила до Петруши Микитина, он к нам в село за дегтем собирался, сговорила его, кабы нас не забыл.

Выехали, а никакова следу. «Должон, девка, след, - смсялся Петруша, - ты же не летом прилетела...»

Да нигде - ни тропинки, ни санного полоза. Вот как мне подвезло - овыдень туда и обратно! Акимушка-то? Да здоровенький, токо тосковал шибко... Вот и говорите теперь - Бога ист!..

А батько по избе скачет, все матюки собрал. Уж и председателя - сбегал - выматюшил. Акимку увидел, замолчал. И я молчу. Потом, нескоро, Авдей забрел и высказал: «Морозко вез тебя, Офонасья...»

А я опять промолчала, все одно разглядеть не успела. Мужик как мужик. Шуба, правда, чинно-важная - у нас таких не носят...

## ФИОЛЕТОВОЕ СОЛНЦЕ

К вечеру деревушка оживала. После дневного зноя свежесть и легкий ветерок особенно приятны.

- Мам, я в кино, - хлопнула калиткой Лиза.

- Поди с Богом, доченька, - ответила Агриппина с огорода, поливая огурцы.

Сосед Прохор, старичок лет семидесяти, проводил Лизу взглядом, поцокал языком, свернул козью ножку, раскурил, смачно затянулся, покашлял, затем обратился:

- Гапка, слышь меня, сознайся - от кого у тебя девка? Ничего ж твоего нету...

- Старый мерин, - заругалась соседка. - Одной ногой в могиле, зубов нет, а только на молодых бы и смотрел да облизывался.

Лиза Бахмутова - девка на выданье, из-под ручки поглядеть - и ростом, и лицом. Фигурка - будто мастер-умелец вырезал или вылепил из послушного материала. Волосы черные, как смолина обгорелая, кожа матовая, нежно-розовая, брови ровные дугообразные, ни подбривать, ни выщипывать не надо. Глаза у Лизы огромные голубые, даже зеленинкой отдают. Походку от матери переняла гордую, неторопливую.

- Не идет, а пишет, - хекнул вослед Прохор. - Ох, будет разбитых носов у парней...

Но Лиза строга с мужским полом, хоть парни и липнут, будто мухи на мед. Не любила еще никого, да и вообще считает - нет ее, любви-то... Враки одни. С детства запомнила слова - «наблюдованная», «подстилкина дочка»... Так, бывало, дразнили. Свою старенькую мать Лиза любит, но в душе обижается на нее - отца не было. Себе планирует - если уж иметь детей, то в замужестве, чтобы никто поганым словом не называл. Может, так все и было бы, да только судьбу ни по

прямой не обойдешь, ни по кривой не объедешь...

На гостей в деревне всегда больше внимания обращают.

Приметила и Лиза Баскова Сережку, знает, тридцать ему уже было, а на вид - и двадцати нету. Волос курчавый, испельный, брови черные, глаза карие, ни одной морщинки, сам высокий, стройный... Невзначай, будто шутя, поинтересовалась:

- Чего ж ты-то, Сережка, такой молодой? Вон, твои одноклассники, что в деревне живут, перестарки, сравнивать если...

Отвечал он почему-то невесело:

- Пашут они здесь, Лиза, за себя и за тех, кто по городам в примаках. За меня, выходит, тоже...

- А ты что же в городе - спишь да отдыхаешь, не работаешь разве?

- Работаю... оператором: пришел - включил, пошел - выключил... Три сотни платят, не уломался...

Бес попутал. Заторопилась Лиза с дальнего сенокоса домой, не захотела вместе с матерью соседа ждать - обещал увезти на лошади. Пошла пешком лесовозной старой дорогой - все ближе, думала.

Догнал Басков на мотоцикле, подвез. Так и началось знакомство.

- Садись, если не боишься, - предложил.

- Не волк, не съешь, - и села, а не надо было.

Ох, и гнал Сережка тогда - держаться не за что, за него самого только. Стеснялась вначале, но кусты хлестали больно - того гляди без глаз будешь. Вот и обхватила водителя руками, прижалась грудью к разгоряченному гонкой телу, уткнулась лицом в спину. Сережка горланил: «Эх, мороз, мороз, не морозь меня...».

Не ехали - летели, ничего не слышала больше, не чувствовала. Возле дома остановил - поблагодарить забыла.

Вечером на танцах снова встретились, пригласил потанцевать. Услышала, как завклубом - полная женщина - говорила мужу своему:

- Вот парочка - будто друг для дружки лажены, - и

кивала головой на них с Серезжкой.

Ушла после первого танца домой потому, что вдруг поняла: если позовет Серезжка куда-нибудь, не отказать будет.

Не было никого у Лизы до Серезжки, а теперь уж и не надо никого, но как подумает, что в городе у него жена и двое пацанят, так сердце кровью обливается, выть хочется в полный голос.

Бог троицу любит - третья встреча все и решила. В райцентр ездила Лиза. Освободилась рано, автобуса ждать да ждать, вот и голосовала на развилке, думала попуткой пораньше уехать.

Подъехал Серезжка на мотоцикле, оказалось - за билетом в аэропорт приезжал.

- Так скоро уезжаешь? - спросила.

- Если через месяц скоро - значит скоро. Билеты за месяц продают, и то в очередь, - ответил Серезжка. - Поедешь со мной?

- Конечно, - просто ответила Лиза. - Даже в город, если позовешь...

- Пока только в деревню... - и стал снимать куртку.

- Зачем? - спросила.

- Пыльно. Оденешь - чище будешь.

Одевала Серезжкин пыльник - пуговицу застегнуть не могла: руки дрожали, хорошо, сам помог. Чувало все-таки сердце.

Как ехали - не вспомнить, остались в памяти стуки Серезжкиного сердца в ладони, не только руки - ноги противной дрожью охватило. Перед деревней километра за три большое гороховое поле на взлобке, внизу река. Туда и свернул Басков с проселка. Отъехал, заглушил технику:

- Посидим, остынем...

«Остынем ли...» - подумала, а за руку взял - пошла. Фиолетовое солнце падало из-за Серезжкиной разлохмаченной головы с неба прямо в траву и в глаза Лизе, но ничего она уже не замечала, кроме Серезжкиных глаз, которые были больше солнца, больше неба...

«Знала бы, где ложиться буду - загодя бы крапивы припасла, опомниться чтобы вовремя», - потом уже грустно

пошутит Лиза, а пока она сидела после всего, уткнув голову в колени, а Сережка рядышком полулежал и жадно курил.

- Что же, Лизанька, так-то... Сказала бы, что ни с кем и никогда... Не тронул бы...

Молча встала и пошла, не оглядываясь. Догнал.

- Зачем пешком? Довежу..

- Спасибо, накаталась уже. Будет...

Матери дома повинилась сразу. Старая Гапка заохала, запричитала:

- Неладно, девонька... У мужика баба, дети - на порог не пушу кобеля, чтоб ему...

- Не говори ничего, мама, ни ему, ни о нем никому другому. Худо мне, - весь вечер проревела Лиза.

Утром на работу пошла - поотлегло. В клуб ходить перестала, с работы - сразу домой.

- Как подменили, - расстраивалась мать. - Вот оно - лихонько...

Сережка же искал встреч, даже на заправку приезжал - заправщицей Лиза работала: заполняла накладные, какой механизатор сколько топлива взял. Не вышла, механика послала - рядом оказался.

- Скажи ему - ни видеть, ни слышать не хочу.

Лето укатилось. Сережка уехал.

«По-другому и быть не могло», - думала Лиза. И только ночами ей снилось фиолетовое солнце, которое сквозь растрепанную Сережкину шевелюру слепило ей глаза, отнимало волю, разум, заставляло жить чувством, пусть мимолетным, но не просчитанным вперед, как того хотелось.

Снова Сережка посетил деревню в ноябрьские праздники. По селу слухи вперед человека ходят - мать письмо послала тайное, чтоб жена не увидела: «Заправщица Лизка с брюхом ходит. В деревне все говорят - твой грех. Не знаю, как людям в глаза смотреть... Что же ты наделал, сынок?»

Распили дома с отцом бутылку горькой. Сережка взялся за шубу.

- К ней? - спросил отец.

- К ней, батя.

Покачал отец головой, но не сказал более ни слова.

Дверь открыла мать Лизы.

- Проходи, сокол, дай хоть погляжу на тебя, на лиходея-лихача...

- Мама, оставь нас... - попросила Лиза.

- За тобой приехал, Лизонька. В городе лучше будет - комнату подыскал у одной старушки...

- начал Сережка

- В качестве кого я буду в твоём городе?

- Люблю я тебя, Лиза. Ну хочешь, здесь останусь...

- погоди, а если встретишь ещё кого-нибудь, так же легко бросишь и меня, как свою жену?

- Лиза, зачем ты так? Лиза...

Не стерпела старая, вышла к молодым:

- Дайте сказать старухе, мне на шестой десяток - такого сраму я не стерплю, ишь, чего удумали. Не дело сказываешь, мил человек, родных детей оставлять не след. Ты своим парням скоро нужнее матки будешь.

- А ему, - указал Сережка на Лизин живот, - по-вашему, не нужен буду?

- Жалко Лизу. Поспешили вы с этим делом, вот и насмешили людей... А жена твоя как?

- Не живем с ней. На развод подала, как узнала. Да и не скрывал я. Заявление написал бухгалтеру, чтобы на детей высчитывали треть, чемодан собрал - и в общежитие. Решайся, Лиза, поехали...

- Нет, Сереженька, не поеду. Ни здесь, ни там - ничего у нас с тобой не будет больше... Сон только остался - солнце в траве. А ребенка родить сперва надо, да и нескоро еще.

Уехал Сережка ни с чем.

Родила Лиза девочку: с лица вся - мама, волосы Сережкины - кудрявые, пепельные, как легкое облачко.

Полгодика было девочке, когда мать ее полоскала белье на реке, да и сорвалась в полынью... Холодно было. Еле выбралась, насили до дому добрела. Неделю всего и пожила после. Был на похоронах и Сережка. Бился головой в мерзлую землю, в кровь весь лоб разбил:

- Не поехала со мной... Не послушалась...

Агриппина сильно переживала, винила себя, что отговаривала от города - глядишь, и живая была бы дочка. Внучку

Люсеньку не отдала, хоть и уговаривал ее Сережка.

- Вместо дочки подниму, - говорила.

Сережкины родители помогали Гапке, чем могли.

\* \* \*

С работы Сергей Павлович любит ходить не спеша, постоянно одной - хотя и не самой короткой - дорогой, здоровается кивком головы со встречными знакомыми, рассматривает каждый раз те же дома, скамеечки под кленами, на которых можно посидеть отдохнуть, и всегда на привычном месте замечает, обнаруживает что-нибудь да новое, на что раньше и внимания не обращал.

Возле дома прогуливалась жена с коляской. Третьего она родила - тоже мальчика. «Старший уроки учит, раз не видно на улице», - подумал Сергей. А средний и Люся мчались на-перегонки к нему навстречу и кричали:

- Папка! Наш папка идет!

## ПРИСНИЛИСЬ ЛЕСНЫЕ СТРАСТИ...

Ельник неожиданно оборвался низкорослым, чахлым, но густым до непроходимости кустарником. Валентин, излазивший всю лесную близлежащую округу, никак не мог сообразить, где он находится. Над кустарником загадочно покачивался туман, но что самое удивительное, Валентин совершенно не чувствовал никаких запахов, чего с ним раньше в лесу никогда не бывало, и непроизвольно начал ощущать страх. Изгородь возникла перед ним неожиданно.

- По виду недели две назад поставлена, не боле. Что-то же она огораживает, - подумал и пошел вдоль по ней. Страх улетучился, удивление не проходило.

Стало еще темнее, дорогу он не увидел, а почувствовал ногами. И прямо на дороге, по ту сторону изгороди, в которой был проем, заметил женщину:

- Послушайте! - обратился, но она исчезла, словно испарилась. Валентин направился к тому месту, где заметил незнакомку: «Надо же выяснить, где я...»

Миная проем, Валентин запнулся и упал:

- Чертов кряж...

Чертыхнулся и неизвестно зачем стал отпихивать в сторону лежащее поперек дороги бревно.

Когда он начал уже спихивать бревно, упершись ногами в землю, а плечом в торец, почувствовал, что на него кто-то смотрит. Не отрываясь от своего занятия, он повернул голову назад и увидел старуху. Дряблое, иссеченное морщинами лицо, широкий тупой нос, неестественно большой рот. Руки - страшные, большие, грязные, с налипшими землей и червями -

она тянула к его шее. Но страшнее всего был ее взгляд. От него у Валентина заледенело тело и дыбом встали волосы.

- А-а-а-а-!!! - испустил он дикий, истошный вопль.

«Валя, Валя, проснись!...» Валентин открыл глаза и увидел милое и родное, испуганное лицо жены. «Кричишь, дочку с ума сведешь...» Валентин встал, вышел на кухню, закурил.

- Смерть вроде видел, - сказал вышедшей следом за ним жене. - Пять лет в городе живем, леса не видаю, а приснились лесные страсти...

Возможно, он скоро забыл бы свой сон и никогда его не вспомнил, если бы позднее с ним не начали твориться странности, которые он суеверно свел в систему и связал с этим так напугавшим его сном.

Первое, что он припоминал теперь, - инцидент в очереди за водкой. Шустрый подпитой мужичонка пытался без очереди пролезть к прилавку. Валентин его осадил:

- Постоишь, как все...

Да где там, проныра все равно пробрался, да вдобавок еще и нагрубил. Потом же, выбираясь из очереди, оступился на ровном месте и разбил с таким шумом приобретенное сокровище. Сидел и размазывал слезы по щекам, глядя на осколки. «Так и надо,» - злорадно подумал Валентин.

Следующий казус произошел на работе. Мастер незаслуженно оскорбил Валентина и на следующий день не вышел на работу - оказалось, сломал ногу.

Казалось бы, мелочи, случайные совпадения, но дальше - больше: повздорили с соседом - у того в квартире случился пожар, нагрубил продавец - ее посадили, проворовалась.

Жену свою Валентин очень любил, и когда понял, что всякого, кто груб с ним, ждет расплата, испугался за нее - Зойка была женщина горячая, на слова обидные скорая.

Стал он с ней ласков не в меру, только бы не разгневать. Зойку удивили перемены в поведении мужа, но она радовалась молча - боялась сглазить.

Пить, курить - вообще бросил, домой ходить стал вовремя, помогал во всех домашних делах, особенно любил заниматься с дочкой Диночкой. Прямо все поведать жене

Валентин тоже не решался - подумает еще, что свихнулся...

Может, так и прожили бы потихоньку, да кто ж не знает женщину: дай волю - на голову залезет и еще указывать будет - и сидится-то ей плохо, и везешь медленно, напридумывает, лишь бы мужик не ерепенился.

Пришла как-то Зойка с работы психованная, ну, и покатила бочку на мужа. Валентин ее чисто по-человечески понимал - надо бабе выораться, но и боялся за нее, потому просто ушел молча на улицу. «Пусть остынет», - подумал.

Ночью пришлось вызвать «скорую», прихватил Зойку аппендицит. Пролежала больше месяца - шов гноился, не заживал, трижды резали. Больше рисковать женой Валентин не хотел; считал, что права на это не имеет.

Подавал тайком заявление на расчет, отработал две недели, выписался из квартиры - и уехал, оставив на столе деньги, которые снял со своей книжки - все четыре тысячи - и письмо: «Зюенька, мне нужно срочно уехать. Дурного ничего не думай. В розыск не подавай - всем нам может быть хуже. Поцелуй Дину.» Подумал немного и дописал: «Когда вернусь - точно не знаю.»

Сел в первый попавшийся поезд и покатила куда глаза глядят. Подумывал - петлю на шею, приготовил уже, да в последний момент будто кто за шиворот схватил: не смей!

- Ладно уж, заеду куда-нибудь в глухомань, где одни вороны, чтобы никому от меня вреда не было.

Добрался. Ехать дальше некуда - кругом тайга. Председатель обрадовался, нам люди нужны. Смотрел трудовую, уговаривал:

- Токаря нету, а у тебя - пятый разряд!

Уперся Валентин. Тогда и предложил ему председатель идти к Матвею-отшельнику в помощники: стар он стал, давно помощника просит. Матвея называли по-разному: дед, философ, пастух - кто как. Жил он в заброшенной деревушке один, пас телят-откормочников.

- Летом тута благодать, паря, - говорил он Валентину.  
- Зимой хуже... Ну, да зимой ты можешь и в селе жить, здесья все одно делать нечего - теляток не будет. А весной новых пригонят...

До боли родного кого-то напоминал Валентину дед Матвей. Потом уж сообразил: это же я сам! От себя к себе приехал. А дед как мысли читал:

- От себя не убежишь, милоч, от людей хоронятся разве злыдни да убивцы, а у тебя, замечаю, душа чиста, хоть и прячешься от народу.

Поведал Валентин старику всю свою жизнь, как бремя скинул.

- Что зла другим не хочешь, шибко доброе дело. Что добро с кулаком не принимаешь - еще лучше. Поезжай домой, ждут тебя, а беды людские - не от тебя, от самих себя...

- Не могу, дед... Как вспомню лицо жены на белой подушке, круги черные под глазами, взгляд жалобный... Не могу...

- Ну, поживи ишо, времечко все уладит, - качая головой, соглашался Матвей.

Лето незаметно отжили - в труде скучать некогда было.

К осени работы прибавилось: телята, которые с весны ходили кучно, освоились, стали разбредаться широко. Беготни Валентину хватало. С грустью он думал, как тяжело бы пришлось деду, не будь его, Валентина.

Только сдали гурт, Валентин занялся копать у старика картошку. Матвей и сам хотел, да Валентин не позволил - сентябрь выдался прохладным и дождливым, боялся - протынет дед.

Шибко глянулся Матвею постоялец, чувствовал старик - расставаться с Валентином будет жалко.

Развязка наступила сама собой. Снега подвыпало - в сидячую собаку. По воскресенью пришел с села трактор с санями - то ли домишку, то ли баньку перевозить в село наладились.

Тракторист опохмеленный был крепко, ну и зацепил у деда огород. Выскочил Валентин, заглушил трактор. Водитель за монтажку. Осердился Валентин, отобрал у сопляка ломик, да еще и под зад напинал для ускорения. После спохватился - переживал, не спал всю ночь: вдруг да с парнем случится что...

Но парнишка заявился назавтра как ни в чем не быва-

ло. Подбежал к нему Валентин, давай ощупывать - цел? Не упал нигде? Не ушибся? Не болит где-нибудь, все в порядке?

Отпрыгнул от Валентина тракторист, как от прокаженного:

- Точно про тебя слух прошел - придурок... Эй, дед, заberi дурака, работать не дает.

Но Валентин уже сам забежал в избу, схватил Матвея на руки - и прыгал, кружился:

- Ничего, с ним ничего! - тыкался носом в бороду и шею деда.

Выскочил потом на крыльцо и крикнул:

- Ура! Я свободен! Можно жить!

Качал головой озадаченный тракторист: точно свихнулся, вконец обезумел...

На следующий день Валентин прощался с дедом:

- Матвей Иванович, если позволишь - всей семьей в гости приедем!

- Ждать буду, милоч, как родного сына...

Расчет Валентину оформили быстро, к вечеру он уже катил в обратный путь.

## БЕДА

Семен Мекешин шел домой не торопясь. Куда спешить-то, не молодой, свое отбегал, - до пенсии два года. В селе Семена уважают за трудолюбие, за разумность: не искал легких рублей, с семи годов в работе и все на одном месте, в родном колхозе. Трех сыновей поднял, оженил. Невесело, правда, по городам сынки...

Начальство Семена бережет - второе лето работа несложная: телегу травы утром, вечером - вторую, а середину дня дома... Отдыхай знай, Семен Потапович! Семен привычно отворил калитку.

- Эге! Здорово, брат! Вот так сюрприз. - Он увидел внука Максимку, подхватил его на руки, подкинул в воздух. - Гости наехали, а я ни сном, ни духом... Бороды хочешь?

Семен легонько потер пухленькую щечку пятилетнего внука колючим подбородком, Максимка завизжал от удовольствия.

- Добре... Добре... Младшой пожаловал. Когда же большаки соберутся?

Оставив внука, Семен шагнул в избу и сразу почуял - не то. Сын Валерка сидел, облокотившись о стол, низко склонив голову. На кухне всхлипывала мать.

- Сенья... Сеньюшка... - запричитала она, увидев мужа.

«Покойник, что ль?...» - подумал Семен. Взгляд сына, больной и затравленный, полоснул, напугал.

- Разводятся они с Веркой... - продолжала жена.

- Уф-ф! - выдохнул Семен. - Так и с ума свести можно...

- Бать, я оставляю Максимку на месяц, утрясется - заберу. Ему это видеть ни к чему... Квартиру разменяем, и заберу...

- Себе? И она отдаст?

- Какая разница - себе, не себе. Там видно будет. Пусть месяц сын поживет у вас ... А?

- Да мне что, бабке водиться...

Назавтра рано утром Валерка уехал, а внук остался в деревне. Что ни говори, а понять сына Семен не сумел. Чего не хватало, зачем разводиться? Черт и тот не поймет нынешней молодежи. Целую ночь проговорили.

- В чем дело? Ты кобелишься, или она сваялась? - спрашивает Семен.

- Батя, зачем так примитивно... - отвечал сын.

С кем другим случись, Семен наверняка посочувствовал бы, а когда свое, кровное? Болит ведь. Жалко Валерку. Какой балагур был: приезжал раньше попросту, а тут - слова заумные, голова набок, глаза коровьи, слезливые... Эк припекло. Верку за глаза - возненавидел. Змея подколотная! Хвост распушила! С голым задом да с «заскребышем» взял Валерка, а она... Парня усыновил, мы по-людски... Завыпендривалась! Горько Семену. Да черт с ней, с Веркой - детдомовской этой... Беда другое: на внука Семену смотреть тяжело. Вот катавасия - дите - самый пострадавший в этой истории, может, зараз всего лишился, а к нему же, Максимке, не лежит душа у Семена. Будто ребенок - виновник Валеркиного несчастья, Семен и понимает вроде - нельзя так, держит себя в кулаке, а душа-то не лежит, хоть ты тресни! «Месяц как-нибудь продержимся, я у механика работы припросить могу, если нет, буду домой только к ночи ходить...» - так размышлял Семен весь день после отъезда сына.

Три дня прошло тихо, мирно. Максим не досаждал, и дед нет-нет, а обращался к мальчику:

- Ну как, Максим Валерьевич, хорошо в деревне? У вас в городе не найдешь такого воздуха...

- Хорошо, - серьезно соглашался Максимка, - не найдешь...

Семен предполагал, что месяц пройдет так же спокойно. Выражать недовольство - хуже нет, срамota - мало ли узнают соседи: сын бесится, а дедко на внука взъелся! Бабка пронюхает - со свету сживет. Вот и старался Семен ничем не

выказать своих чувств.

Однако Максимке надоело по целому дню около бабушки сидеть - с дедом-то интереснее. На четвертое утро внук увязался за Семеном, Семен в поле направился. Максим следом. Семен встанет: «Иди домой!» Максим стоит. Семен двинулся, Максимка за ним и, молча, исподлобья, поглядывает. «Ах ты такой-сякой!» - Семен за хворостину. Максим наутек, только пятки сверкают. Вицу Семен бросит, оглянется - Максим опять рядом. Ну что ты будешь делать - от народу неудобно гонять мальчонку: скажут - изгаляется Мекешин над неродным-то...

- Ладно, Максим Валерьевич, сдался дед, - иди сюда, давай руку. Вот накатаю тебя на тракторе, всю жизнь помнить будешь. Чур, нос никуда не совать. Уяснил?

- Ага, - мотал головой довольный Максимка.

- Гляди: вот моя техника - это трактор, это «кир», это телега. Сейчас зададим пару кругов полем, «накиряем» телегу и шабаш. Смекаешь?

- Угу, - отзывается Максимка, а сам во все глаза рассматривал дедову технику: в городе машин разных много, но так близко видеть настоящий гусеничный трактор ему не приходилось.

Не повезет с утра - весь день насмарку. Полкрута прошел Семен, услышал - запощелкивало. Остановил, сбросил обороты.

- Ты посиди, Максим, я гляну... Кажись, ножи полетели... Точно... - Видишь, - он показал внуку запасной резачок, - замени, поедем дальше.

Взял ключ, включил рычаг гидронасоса на подъем. «Кир» поднялся плавно, нехотя. Семен вполз под него, расположился, насколько получилось удобно, начал ослаблять гайку.

- Вот... Так... Еще минуту и поехали...

«Кир» всей тяжестью навалился Семену на шею, на неловко подвернутую под себя руку. Лицо Семена вдавилось в землю. Он рванулся, высвободил рот и заорал... Ори, не ори - кто услышит? А сквозь рокот двигателя Семен слышал рев Максимки.

- Деда-а! Деда-а!

- Вылезу - убью! - завертелся Мекешин под машиной, а потом смекнул - не так-то просто выбраться отсюда, но лежи, кто тебя вызволит? Удавить не удавит, а выкарабкаться...

Сколько времени потратил Семен? Он рвал почву ногтями свободной руки, извивался змеей, сучил ногами, выпускал из себя воздух, напрягал все свои старческие силы. Ему удалось освободить подмятую руку. И все громче и громче доносился вой Максимки. Казалось - надрывается сильнее мотора.

Две руки свободных - не шутка... Едва Семен вырвался из под «кира», кинулся к кабине, но силы изменили ему. Он схватился за гусеницу, ноги задрожали, его стошнило. А Максимка зашелся, захрипел.

- Щенок! - минуту назад хотелось выплюнуть гнев Семену. - Говорил - не тронь рычагов!

Но вдруг он будто наткнулся взглядом на исплаканное детское личико, круглые огромные перепуганные глаза... Какая буря пронеслась в сердце деда, что он понял, чего захотел?

- Максимушка... Внучек... Ну что ты... Живой я... Видишь, живой дедко!

Он протянул Максимку к себе и прижал, поглаживая трясущимися грязными руками по спине, успокаивая...

...Когда телега наполнилась, Максимка сладко спал, навалившись на подлокотник. «Умаялся, наревелся, крошка...» - ласково думал Семен. Домой он нес внука на руках и удивлялся - до чего тяжелый. Не захотел будить, пожалел.

С этого дня все переменялось: куда Семен - туда и Максимка. Семен не помнил, что раньше жил без внука и обходился, позабыл, что не мог терпеть мальчика. Жене Семен заявил: «Приедет оболтус Валерка, не отдадим парня...» Максим о родителях не вспоминал, ему было интересно с дедом. Дед водил его на речку, катал на тракторе, развлекал, угощал земляникой, учил вырывать сорняки на огороде, поливать лук, огурцы. Максимка не сердился, что на ночь дед рассказывает всегда одну и ту же сказку. Спал Максим только в той кровати, где дед... Ночами Семен гладил спящего

внука по головке, а сам думал, вспоминал.

Сорок седьмой год... Вернулся с войны Потап Мекешин - Сенькин отец. Сколько радости, гордости было у десятилетнего Сеньки... Вон у тятки сколько медалей! А отец умер, года не прожив, скончался от ран... Потому Семен и рассказывает внуку всегда одну сказку - только ее рассказал, успел рассказать отец.

К исходу месяца Семена одолели сомнения. Вот-вот придет Валерка. Беда, прямо беда. Как я теперь? Не отдать...? А как? Парнишка, поди, наскучался?

Радость ли, беда ли, - легок на помине - появился Валерка. И не один, - с Веркой.

- За топором приехали? - не зная, что сказать, спросил Семен.

- Каким топором? - растерялась Верка.

- Тряпки делить, пополам рубить... Я дам топор, если надо...

- Батя, - укорил сын, - зачем так? Мы за Максимом... Да не переживай, мы раздумали разводиться...

- Ах, вы раздумали! - Семен сплюнул. - Едри вас в корень! А завтра сно...

Он остановился на полуслове, осознав, какую чушь несет. Радоваться надо, а он... Но нету радости, есть ревность и нежелание отпускать внука в город.

- Не пуццу! Не отдам Максимку! Убирайтесь, пока он вас не видел!

«Опять не то. Не то, Семен. Как же можно? К родителям и не пустить... Что ты, Семен? Молчи... молчи...»

Супруги, не ждавшие такого приема, не знали, как себя вести: то ли повернуться и уйти, то ли переть напролом, отгеснив, отодвинув в сторону разъяренного отца. Хорошо, вышла мать. Обрадовалась, прослезилась, в избу повела, Максимку кликнула... Максимка, конечно, рад... А у Семена закружилась голова. Сославшись на немочь, пошел лег. «Неужели, верно, дурею к старости?» - морила тоскливая обидная мысль. Семен слушал, как Максим отказывается ехать в город, рассказывая взахлеб о деревенской жизни... Как бабка уговаривает внука не перечить маме с папой... Семену хотелось встать

и сказать: «Не ездь, Максим, оставайся со мной...» Семен спал и не спал, когда Максимка взобрался на кровать и сунулся подмышку». Тяжесть, горечь, едва Семен почувствовал тельце внука, ушли...

...Он повторял про себя, будто заклиная: «Приезжайте чаще...» - размахивая вслед автобусу рукой. Меж бровей на лбу прибавилась еще одна морщинка. Левая половина груди хранила Максимкино тепло. Семену было грустно, но не больно...

## ТЕМА ДЛЯ СОЧИНЕНИЯ

- Мама! А папа уехал?! Без меня уехал! - с порога закричал Колька.

- Уехал... Ты глянь, сколь времечка-то. Четвертый час, а говорил - три урока. Он весь обед тебя ждал, - ласково, но невесело усмехнулась мама.

- Мам, неловко ведь одному.

- Да уж, сподручнее вдвоем. Ну, коли приопоздал - не переживай, зима вся впереди, вдругорядь побываешь, - видя, что сын потемнел лицом, попыталась успокоить его мать, - садись, поешь, пока теплое...

Сев к столу, Колька расстраивался: «И как это я забыл? Ведь папа вчера два раза мне сказал... Это Пашка Лагунов виноват - поборемся да поборемся! И не откажешься, а то подумает - струсил Спирина Колька! Вот и провозюкались на угоре, а папа уехал один.»

Ездить с отцом на тракторе Колька любил, потому что батя частенько сажал его за руль, попутно объясняя, какой рычажок для чего предназначен. А весной, на поле, Колька даже боронил самостоятельно. Четыре круга один в кабине! А папа отдыхал под кустом. И потом сказал: «Молодец, Николка!»

С набитым ртом рассказывал Колька матери школьные новости:

- Ленка Чаусова получила пятерку по математике, а Венька Пушников тройку.

- А ты сколь принес?

- Я? Четверку по географии. Мам, а нам на дом задали контрольную.

- Контрольную и прямо на дом? - вроде бы недоверчиво переспросила мать.

- Да, - повернув лицо в сторону кухни, где хозяйничала

мама, серьезно подтвердил он. - Сочинение написать об отце задали. Чего вот можно про папку написать?

- А как есть, так и пиши: не пьет, не курит, не калымит и нас с тобой не обижает. Нам повезло, сынок. Лагуновы, знаешь, как живут?

- Не, мама, про калым писать нельзя, а то засмеют. Чего интересное придумать, чего бы сочинить?

- Ну, помешкай, приедет батько и спросишь, - собираюсь на вечернюю дойку колхозного стада, посоветовала мать. Поев, попив чаю с молоком, Колька натаскал дров к печкам, наносил воды, уселся за уроки. С математикой он расправился быстро, а сочинение никак не шло. «А, ладно, выходной завтра. Папа, может, подскажет, и напишу...» - подумалось ему, и, чтобы скоротать время, он взял книжку и улегся в кровать.

Вернулась с фермы мать, затопила печку, притулилась у окна и заперезживала, глядя за стекло в непроглядную темень:

- Хоть бы все ладно... Не видно фар-то... Не изломался бы... И руки все изостудит. Ой, не чутко трактора...

Незаметно для себя, под мамины речи Колька заснул. Проснулся он рано утром, услышав в кути негромкий, но уверенный, убеждающий голос отца.

- Вот заладила - мал, мал... Кого я найду? Свадьба у Шустиковых. Маринин там, Слепухин тоже. У Шельгыгина я был, он еле дышит, а ехать, один хрен, надо. Колька за рулем бывал... Да мы тихонько...

Сообразив, что разговор о нем, отец собирается его куда-то взять, но мать не разрешает, Колька вскочил с постели и пошлепал на кухню.

- Па, я с тобой.

- Видишь, сам встал, будить не надо! - улыбнулся отец и потрепал сына по коротко остриженной темной головенке.

- Ой, Вася, не знаю я... - спрятала руки под передник мама.

- Папа, а сено ты привез?

- Нет, Николка, притопал пешедралом в час ночи, а трактор с возом оставил в Чумаке.

- Сломался? - деловито осведомился сын.

- Сначала сел, потом обсох. Ты поешь, оденься теплее.

Подгоню сейчас Шельгановскую телегу, и поедем. Начерпай из бани бидон горячей воды.

Колька позавтракал, нарядился в старенькую мамину фуфайку, валенки с калошами.

- Мама, - спросил он, помогая ей черпать в бане воду, - а чего мы не мылись вчера?

- Выпало из головы, пока отца-то ждали. Я подтоплю. После сена труху обмыть...

Подъехал на голубом «беларусе» отец, выпрыгнул из кабины. Колька помог ему пристроить, укрепить сзади на подвеске трактора бидоны с горючкой и водой... Когда позади осталась деревня, мост через речку и дорогу обступил густой, хвойный, слегка заснеженный лес, отец остановил трактор.

- Ну, сынок, садись за руль, тренируйся... Обрато один поведешь. Мой. На моем надежнее, верно? У этого рулевое люфтит, - как со взрослым разговаривал, советовался отец, а ногу все же держал поближе к педали и иногда подхватывал руль, выправляя Колькин кривуль. - Осторожнее, держись дороги. Снегу хоть тонко, земля однако сей год не простыла, чуть в сторону попал - пиши пропало, завязнем.

- Пап, а ты ночью через лес шел не боялся? Темно ведь.

- Меня, Коля, никто не пугал, но я все равно боялся, что вы с мамкой ночь не поспите, - прищурясь, засмеялся отец.

- Папа, а как я поеду? Мне силы не хватит скорость включить.

- Я включу. Ты за мной следом пойдешь. Подержишь сцепление, пока я в этот тарантас заберусь, понял? Вот и ладушки...

А впереди замаячил отцовский трактор с прицепленной телегой, нагруженной выше бортов сеном.

- Видишь, как я тут все исполосовал, исперепахал? Гнилое место - болотина. Ну, давай заправим, заведем... Зря упрямишься, собака, все равно моя возьмет! - дергая шнур пускатча, обращаясь к трактору, чертыхался отец.

- Пап, он разве понимает? - удивленно спросил Колька.

- Еще как понимает, видишь, огрызается! Обиделся, видать, что одного в лесу оставил на морозе. Ага, зачихал! Погреем тебя...

\* \* \*

...- Ну вот, а теперь я подпчусь, прицепим. Ты, Колюха, главное, руль держи и жми блокировку... Хорошо?

Они мучились минут десять, дела не выходило, слишком велик был угол поворота на твердую дорогу. И отец, видно, разозлясь, подпятился как можно ближе и рванул сильно. Трактор, за рулем которого сидел Колька, выскочил из ямы и покатился... Чтоб не втравиться в передний, Колька резко выжал тормоз, и открытая дверь кабины захлопнулась, а ручка от нее вывалилась в заполненную жидкой грязью рытвину.

Испуганно наблюдал парнишка, как отец бегаёт вокруг трактора, не зная способа попасть в кабину, чтобы выключить передачу. Колька попробовал выключить ее сам, но не хватило сил. И тогда он уперся ногами в педали тормоза и сцепления одновременно, но в развороте, лицом к заднему стеклу, и стал открывать его. Сообразив, чего хочет сын, отец вскочил на подвеску и начал помогать ему. Появилась щель, увеличив проем, отец протиснулся через него в кабину и, перегнувшись над съезжившимся Колькой, выключил передачу. В этот проем Колька вылез из трактора и указал отцу место, где выпала злополучная ручка.

- Сам и виноват! - ругал себя отец. - Снял ее, чтоб посторонний кто в кабину не попал, так и надо было поставить и сразу закрепить. Нет - спешка все! А хорошо, Колька, худой я у тебя, как червяк, в любую щелку проточусь... Шустикову бы всего окна не хватило! - И папа рассмеялся так заразительно, что Колька тоже не удержался.

Они шарили в грязи руками, разыскивая потерю. Наконец, отец, окунув руку в жижу почти по плечо, нашел. Рулил Колька стоя, сидя-то не видно дороги. На отцовском тракторе получалось немного лучше, катился он без зигзагов. Колька представлял, как будет хвастать друзьям - вел один, без отца, от самого Чумака. Это ведь не поле боронить, где ширь, а узенькая лесная дорога да и километров - больше десяти. Он

представлял, как станут завидовать ему и Венька Пушников, и Павлик Лагунов. А Ленка Чаусова, наверняка, перестанет на уроках писать записки Веньке, а начнет ему, Кольке Спирину! И весь пятый «Б» будет завидовать Кольке!

Опомнился он на мосту: еще немного, и трактор бухнулся бы с трехметровой вышины в покрытую тонким льдом речку. От страха Колька зажмурился и выжал сцепление и тормоз. А открыв глаза, увидел, как бежит навстречу и машет руками отец. Его вид успокоил Кольку, и, вывернув руль, он плавно отпустил педали.

Миновав мост, он остановился возле отца. Отец, не влезая в кабину, выключил передачу и, медленно опускаясь, сел возле колеса прямо на грязную развяженную дорогу.

- Ну, напугал... Думал - все! И как же я, пень старый! Забыл сказать, чтоб на мост ты не совался... - повторял батя, закрывая глаза грязной трясущейся рукой.

\* \* \*

Немного позже отец скидывал сено на поветь, а Колька с мамой принимали.

- Берегись! - кричал папка, подхватывая вилами разломаченные большие зеленые пласты. - Завалю!

Давай, давай! - подзадоривала отца мать.

А после горячей бани сидели втроем, ужинали. И тут Колька вспомнил.

- Папа, а мне надо сочинение про тебя написать. Хочу тебя похвалить - ты не пьешь и ночью в лесу не боишься.

Отец расхохотался. Успокоясь, он прижал Кольку к себе, гордо поглядел на мать.

- Видишь, какой заместитель у меня, а? Сынок, не надо меня хвалить, ты напиши лучше, как мы за сеном ездили.

Колька посмотрел на отца изумленно, карие глазенки его обрадованно сверкнули, и он выбежал из-за стола.

## ДВЕ ЗАТЯЖКИ

Сеньку мать разбудила ни свет ни заря.

- Сеня-а... Семен! Поднимайся! Африкан нарядом был, в городок тебе седни, за карасином...

Сенька быстренько вскочил, натянул латаные-перелатанные короткие брючата, выгоревшую до непонятного цвета рубашонку, схватил оброть и побежал к загону по росной холодной траве.

- Молочка-то, Сеня, - крикнула вдогонку мать.

- Потом, мам! - откликнулся парнишка, перелезая через изгородь. Босые ноги немного мерзли, но Сенька радовался: за керосином в район - это не на сенокос, где слепни, труха во рту и носу и сердитые усталые бабы. Увидев лежащую возле куста лошадь, он начал осторожно к ней подбираться.

- Да это же Шермак! - узнал и сразу пошел, не скрываясь, а мерин, услышав имя, встал навстречу Сеньке и наклонил голову. Парнишка надел на него узду, ласково приговаривая: - Шермак, хороший Шермак, умный, - и повел конягу за собой.

Шермака Сенька любил за добродушный, непривередливый нрав. Развернув заборы, парнишка вывел Шермака из загона, а загородив вход влез на изгородь и с нее перекарабкался на спину любимцу и порысил к дому кладовщицы Коношихиной Полагии.

- Здоров, Семен Потапович, - усмешкой встретила его тетка, - сам запряжешь или помощь нужна?

- Сам, - буркнул Сенька, - давай сбрую.

Полагия, выложив хомут, дугу, шлею, вожжи и седело, глядела, как старается парнишка. Потом взялась помогать. Затянув супонь, она проверила, чтоб нигде ничем не терло, и сказала:

- Ну, езжай, да накладную не забудь.

- Ладно, - откликнулся Сенька из телеги.

Подъехав к своей избе, парнишка быстро заскочил в нее, выпил кружку молока, хватил урезок хлеба с несколькими картохами, пучок луковой травы, накладные, оставленные Африканом. Вышел в сенник, пошарил в пазу между двух нижних бревен, вытащил оттуда наибольшей мешочек с само-садом, который стянул третьего дня у забывчивого деда Матвея, и, выкатясь колом во двор, влез на телегу.

— Н-но! Поехали, родимый!

Шермак пошагал уверенной, тяжеловатой, неспешной ступью.

Дань наливал жаркий, безветренный - было рано, а солнце парило.

До городка верст двадцать с гаком. Чем заниматься в дороге? Хочешь — пой или спи, Шермак с пути не сойдет. Однако Сенька не поет, не спит, а думает. Все про отца. Думается после вчерашней стычки с Витькой Кизиным. Витька теперь загордился, своих знать не хочет. С год будет, как батя у него с войны пришел. Хоть и на одной ноге, а все же. А вчера зашел разговор про Санькиного батю, и Витька ска- зал:

- Два года войны нету, где твой папашка? Нахрен вы ему сдались, нашел, наверное, санитарочку немку... молодую!

Сенька и не выдержал. Не растащили бы старшие парни, точно накостылял бы Витьке, хоть тот и проворнее. Полгода скоро, как нет от отца писем, а в последнем тятка написал «Ждите теперь домой. Скоро буду».

Сенька ждал. Тайком от матери по утрам и вечерам бегал на бугор, смотрел из-под руки навывбегающую из леса дорогу. А отца все нет и нет.

И писем нет.

Еще обидно Сеньке, что отца он не помнит совсем. Да и как запомнить-то, если Сеньке всего два года было, когда отец уехал служить, а потом война. Но отца Сенька представляет по рассказам матери. Увидел бы сразу узнал. Отец высокий, широкоплечий и обязательно с большими усами, как у Буденного.

- Мама, а я на папу похож?. - спрашивал Сенька.

- Похож, сынок, глазки, бровки да и остов у тебя отцовские,: - улыбалась невесело мама.

И Сенька внимательно разглядывал в зеркале старом свой облупленный красный нос, конопушки, глаза и не верил, что у отца такие же невидные на лице брови.

Так, в раздумьях, Сенька миновал хорошие две трети пути. Три небольшие пустые деревушки - народ на покосе - он оставил позади. Теперь вряд ли кто попадется и помешает. Сенька выволок из кармана кисет. Наступил пяткой на вожжи и достав обрывок пожелтевшей, еще, наверное, довоенной газеты, он принялся скручивать сигарку. У него получилось что-то похожее на бычью кривую ногу. Он ее старательно облюнживал, раскурив. Закашлялся.

- Разорва какая!- сказал он сам себе, подражая деду Матвею.

Курил осторожно, маленькими затяжками, держал дым во рту и выпускал, сплевывая обильную горькую слюну.

От горечи заслезились глаза, запершило язык. Неожиданно перед телегой вырос военный. Сенька оторопел. Лицо солдата лоснилось от пота грязного, клочьями торчала длинная ржавая щетина, но еще более неприглядно темнел от левого глаза до подбородка красно-синий широкий рубец. Не солдат - разбойник. Никого страшнее Сенька никогда не видел. Интуитивно спрятал он руку с сигаркой за спину.

- Пацан, дай курнуть.

- Нету, - жалобным, с перепугу, не своим голосом пролепетал Сенька, готовый заблажить во всю глотку. Военный дернулся, будто споткнулся, сморщился и лицо его стало еще страшнее.

- Сынок, дай хоть на две затяжки... Гляди, штаны спалишь.

Сенька протянул трясущейся рукой остаток измусоленной самокрутки. Солдат ловко подхватил ее, кинул в рот, а свободной рукой быстро развязал походный тощий мешок, выложил к Сенькиным ногам какую-то железку и опустился от телеги... Сенька только этого и ждал.

- Н-но! Пшел! - Шермак, будто почуяв, страх парниш-

ки, снялся с места ходкой рысью.

Опамятовался Сенька у парома - по тому берегу Юга раскинулся городок. И только сейчас он обратил внимание не круглую железку возле ног.

«Это же банка с консервой!» - догадался он. Догадался потому, что точно в такой же Витька Кизин косил на рыбалку червяков. Витька говорил - в банке консерва была ненашенская, сладкая, мясо прямо само на языке тает. Батя Витькин привез. Сенька обрадовался. Он уже и представил, как дома открывает эту банку, как угощает маму и деда. Солдат теперь не казался страшным, и Сенька жалел, что не поговорил с ним. Надо ведь было про тятку спросить, а вдруг видались?

Керосином он затарился скоро. Учетчица Дуська Фомина, заметно пополнившая с прошлого раза, но одетая все в ту же мятую серую юбку и кирзачи, протянула тетрадку и огрызок химического карандаша:

- Пиши!

Старательно Сенька вывел свою фамилию: Мекешин. Дуська штампула накладные, одну подала ему, другую оставила себе, потом махнула рукой:

- Поезжай с миром, женишок!

У парома на ум Сеньке пришла нехорошая мысль: «А что я скажу маме, если она спросит, где взял консерву? Выменял у солдата за две затяжки ворованным самосадам? А где еще?» - И он чуть не бросил банку в реку. Но привитая войной недетская практичность не позволила совершить глупость. Сожрать втихаря один банку мяса Сенька тоже не мог. Он все больше и больше распалял себя. Думал не о том, что скажет мать, а о солдате.

«Военный попросил курнуть, а вместо того, чтобы отдать ему весь табак, откупился чинариком на две затяжки, да взамен еще и банку мяса взял?»

Сенька уже забыл, что в момент появления солдата испугался до беспамятства, а банку тот подложил сам.

До родной деревни оставалось совсем немного, когда Сенька впереди увидел взмокшую, в разводах белесой соли гимнастерку.

- Дяденька?

Военный остановился.

- А, это ты, малыш...

- Садитесь, дяденька, подвезу...

- Спасибо, - и военный уселся рядом с Сенькой.

- Курить будете, дяденька? Я разжился.

- Давай.

Сенька без сожаления вытряхнул на грубую широкую ладонь солдата содержимое кисета, подал смятый кпчок газеты. Солдат долго нюхал клочок, рассматривал его, щурясь. Лицо его при этом при нимало жуткое выражение, Сенька нисколько не трусил.

- Миром пахнет. Довоенным... Не верится даже, - шепнул, наверное, себе, солдат и вздохнув, аккуратно и ловко свернул дымилку. Раскурив, несколько раз глубоко затянулся.

- Как Христос в лапотках протопал... Знатная крупа...

Сеньке страсть как хотелось заговорить с солдатом о фронте, об отце, но банка жгла ему живот. И он соображал, как вернуть ее. Что вернуть надо - понимал, но придумать - как, чтобы не обидеть солдата и самому не краснеть, - не представлял.

А впереди, на угоре, под раскидистыми тополями и липами, показалась деревня.

- Тормози-ка, - попросил солдат, - я тут, пожалуй, спешусь.

Сенька, готовый от злости на себя зареветь в голос, вытащил из-за пазухи банку протянул ее солдату.

- Возьми, дяденька...

Солдат, видно, понял, что творится с парнишкой, и взял банку.

Сенька спешил сильнее, чем на пожар. Ему не терпелось попасть домой. «Вот расскажу маме, что видел солдата, который только с войны идет, она обрадуется, и не будет по ночам молиться да реветь.»

Он сдал Полагии бочку с накладной, сбрую и отвел Шермака в загон. Побежал огородом к дому.

Открыв дверь избу, закричал с порога:

- Мама! Ма... - и увидел сидящих за столом деда Матвея и солдата. Рядом, спрятав руки под передник, стояла мать.

Догадка озарила Сеньку.

- Тятя! Тятенька!.. - и кинулся парнишка головой в грудь солдату, прижался лицом к загрубелой, провонявшей потом и табаком гимнастерке.

- Обознался ты, сынок! всплеснула руками мать. - Это же Гордей Пашков с Каксуру. Дружок отца-то...

- Не горюй, малыш, - виновато проговорил Гордей, - скоро твой батька придет. В Вологде я его оставил, в лазарете. Дорогой к дому схватило. От самого Воронежа мы вместе - оттуда и туда, и снова оттуда... По госпиталям и то дружно валялись, так подходило... - и, криво улыбаясь, солдат вытянул из мешка ту самую банку и поставил ее на стол. - Вот он и гостинца передал!

Сенька будто чокнулся от радости. Он запрыгал по избе, забегал вприсядку, а потом закричал:

- Мама! Мама! Можно я к Витьке сбегая, скажу, что папа скоро, пусть не задается.

- Беги, Сенюшка, - отпустила счастливая мать.

## МАНИЛО

Пашка обиделся: «Ну, Спирия! На какого-то цыганенка лучшего друга променял! Это меня-то, Пашку! Ну, погоди...»

И не знает Пашка, как отплатить за коварство: следит из-за плетня - Колька с Венькой идут к конюшне, уздечками звякают, болтают - и все думает... Думай, не думай - дураку ясно: нет в Верхотинах пашкиного сена, оттого Колька Спи-рин Веньку и пригласил, и сердиться бы нечего, но Пашке все равно обидно...

И не заикнулся даже Колька-то!

Ребята вывели лошадей, влезли - Венька на крутобоковую Лысуху, Колька на молодого бойкого Гнедка - и понеслись в сторону Смолянки. А Пашка за плетнем остался и разозлился еще больше. . . И вспомнил он, как ходили на рыбалку, по грибы, ягоды. . . «Весело было! Шебутной ведь Колька-то! А как огурцы у бабки Панихи крали? Колька боялся - батька дознается, прибьет, а говорил: «Риск - дело завидное!» А теперь, значит, ша! Дружба врозь, выходит! Ну, ладно...»

Припелся Пашка домой. От обиды, наверное, велосипед ремонтировать взялся. И опять задумался, деда вспомнил. Раньше так было: Пашка ломает, дедушка чинит. Хорошо дед чинил, у Пашки так не получается. Помер дедушка весной... А какие байки он рассказывал! Наслушаешься - в туалет забоишься!

- Дедо, а откуда гуляши эти и манила? - спрашивал Пашка.

- Разное говорят... В Крутихе-то, слышал я, человека ни про что сгубили и неотпетого закопали. Вот и блудится душа с той поры круг места, гуляет, заманивает... Злодея и до смерти закружить, застрацать может, а и доброго не пропустит... - серьезно, как взрослому, объяснял дедушка.

Жуть!.. А Кольке-то с Венькой как раз мимо ехать... -

и тут Пашка сообразил - напугаю-ка пацанов! Вот смеху будет! Послушать хоть, о чем после талдычить станут...»

Отладил Пашка велосипед, сунул в карман урезок хлеба, примотал к багажнику старое коровье ботало, подумал, что неплохо бы захватить фонарик, но мамка заругается как пить дать, и потому поехал, решив вернуться засветло.

Подкатил, спрятал в глаз велик, пристроил к переводу под мостом ботало, протянул от него веревку в куст. Попробовал - дернул. Звенело отменно - звук хлесткий, громкий, но сухой, ненормальный какой-то. Замаскировался в кусту, стал ждать...

Вытащил хлеб, пожевал. Из газеты свернул кулек, зачерпнул пыли. «Вместо шашки дымовой под ноги лошадям катну!» - подумал Пашка и пожалел, что занимается таким серьезным делом наспех. «Настоящую бы из селитры и гребенок закрутить...»

Потихоньку смеркалось. И Пашка то ли забылся, то ли задремал - устал, тяжело ведь в школе-то первые дни после лета...

И услышал он голос дедушки: «Вася-то Ярушин, как и твое дело, смеялся все. Как уж ему ни говорили, а он - ха да ха! Дохахал. Сено вез. Главню, дорога накатана, фары включены, а он мимо мостков правит. И опрочепило! Покуда мужиков вызвали, тягло сыскали, все и жало его в смятой кабине. Как не удавило-то? Поседел начисто! Говорил потом: манило и пужало, токо-токо умом не тронулся. И ты бы, Павлик, не шибко-то возносился... Я и то раз тут страху хватил! Бабка еще живая была. Кастит она меня: рожка ты, мол, жадная, глаза бурмистровы, демон, анкаголик!. Я и взъелся! Схватил катаники новые дочке з подарок, и к вам в гости середь-то ночи... Вот тут на мосту прикурить хотел, а все задувает и задувает. Чертыхнулся я, и понимаешь, валенки с плеча сдернуло! Нагнулся поднять, а они к лесу ползут. Я вдогон. С дороги сосутил - опамятовался! Повернулся да бежать. К дому подбегаю, харчу, а катаники, глянь, на плече...»

Очнулся Пашка - глаз коли, темень - и сразу понял, что проспал, и завертелся, но отчетливо расслышал лошадиную поступь и говор.

- Вень, а слышал ты про место это...

- Враки! - уверенно отвечал второй голос. - Помнишь, Зоя Андреевна говорила - никаких...

«Я т-те покажу никаких! Я т-те покажу Зою Андреевну, цыган клятый!» - раззадорился Пашка и потянул веревку. Темнота, слабый ветерок усилили звук, от него даже у Пашки заглодела спина.

- Чу! - испуганно ахнул Колька. - Сработало! Тут...

- С деревни нанесло, - успокоил Венька, - вона Смольянка рядышком, на угоре...

- Э-нн-нн... Е-н-нн... К-коннн... - забухал колокол, и Пашке до смерти захотелось рассмотреть лица ровесников. Позабыв об осторожности, он полез из куста, подхватив кулек с пылью. Разве разглядишь - тьма-зараза, лесу не видать, и Пашка прислушался... Наездники будто бы только и ждали тишины.

- Н-но! Гони! Гхоп! Гхоп, гхоп...

И Пашка увидел - надвигаются вовсе не лошади, а непонятные огромно серые лохматые чудища! И, вскричав пронзительно и дико, он швырнул навстречу кулек с пылью... Будто молнию кинул - грохот заложил уши, а вспышка вырвала летящих в небо вверх копытами коней! И висли на конских шеях пацаны...

Непонятная сила сбила Пашку с ног, бросила в кусты. Он, не соображая, ломанулся обратно, но прямо на него от моста наплывала огромная-преогромная, похожая на облако, человеческая голова... Волочилась по кустам борода, гукало ботало и топотало, словно невидимое стадо быков обкладывало со всех сторон. Пашка заорал и бросился бежать...

Чаща цеплялась за пиджачишко, била парнишку по лицу, хрипло дышала на запятках, трещала, вопила, хохотала...

Выбился из сил, подсклесь ноги, и Пашка покатился лицом в мох. Желание зарыться с головой, спрятаться было столь сильным, что Пашка начал рвать мох руками... И вдруг наткнулся на цилиндрический предмет. Инстинктивно потянул на себя... Фонарик! Несмелый лучик прорвал тьму и уперся все в тот же Крутихинский мост! Откуда убежал, туда и прибило. Оторопь перехватила горло, но лучик вернул Пашке силы и несколько притупил страх. Парнишка понесся во всю мочь, но не в лес, а мимо моста к деревне. Он забыл о ребя-

тах, о велике...

На одном дыхании пролетел Смольянку и те два километра, что отделяли ее от родного Славина. И вот лучик скользнул по стене колыбельной избы, следующая за поворот - Пашкина. Но тут Пашка словно наткнулся: «А как же Колька-то? Вернуться?..» Нет, ни за что на свете Пашка не пошел бы туда ночью один. И, прикусив губу, он застонал: «Как? Как быть-то?» И решил: «Пойду к Спириным, расскажу Колькиному батю...»

Дверь открыл Колька, и Пашка, еще не веря, заметил, что походка у друга шарагой... И, забыв зачем пришел, задонился от радости, полез обниматься.

- Где был-то? - отбивался Колька. - Я два раз заходил, а тебя все нет...

- Как съездили, скажи? Зароды как? - не отвечая, тискался Пашка.

- Да как? Хорошо зароды, верха целые... И съездили хорошо, быстро, в четыре уж дома были, да вишь, ерша набил без седла-то... Горит, спасу нет! Как завтра в школу идти?

А дома, с порога отец чердарухнул подзатыльника, аж Пашка носом половик взборонил.

- Где шляешься, полуношник!?

Мать всю деревню обежала! А сколько говорено - фонарика не брать! И отец закатил еще одну оплеуху.

- Па-а, - заныл Пашка, - не брал я, не наш это... Нашел...

- Кому врешь!? - осердился отец. - Я пока не ослеп, слава богу! Вот изолента, сам я вчера мотал!

- Не брал я, па-а... - ныл Пашка и ломал голову, как фонарик в лес попал...

Вертелся, ерзал Пашка на койке, уснуть хотел, да страх опять одолел. Казалось, что за окошком развевается серая борода, шваркает по стеклу, Пашку ищет... Пашка не выдержал, перебрался на диванчик к брату, прижался к теплому боку, закрыл глаза и попытался вызвать приятное видение - засыпать проще.

Привиделся дедушка. Он сердился и рвал Пашку за ухо, приговаривая: «Не рой другому яму - не наступишь сраму...», - и грозил, грозил фонариком...

## ШТЫБЗИК

Генку Лукова Макарыч недолюбливал. Каждый понедельник у молодяжки глаза заплеванные, узкие, лицо опухшее, а сам, хоть матерись, не шевелится...

- Але, Генаха, штаны проверь, наложил вроде... - сердился бригадир и указывал на Леньку Полякова. - Вон, учись работать, лодырь! Гуляете вместе, а он, как огурчик, свеженький...

И думал Макарыч, что потурить бы из бригады Генку, придраться-то можно и есть к чему, но совесть - жалость не позволяет. А через эту жалость не только сам Макарыч - вся бригада страдает...

После обеда в пятницу Генка, как всегда, затосковал. Поляков мигнул ему и тайком от Макарыча плеснул полстакана - припас загодя. Ленька коммерцию на этом развивает, постоянно у него с собой на работе...

Макарыч, заметив, что Генка повеселел, стукнул кулаком об стол.

- То-то, думаю, в будку и в будку, с одного... Все, Геннадий! Выгоню к едрене... Еще раз - и выгоню! А за наглость - завтра на работу! Не лыбься, Поляков! Бригаде выходной, а вы оба со мной! Делянку нарезать под березняк на дрова пойдем, сбор в девять у меня дома... И глядите - никаких гулянок!

...Дважды Макарыч напоил Леньку чаем, покурили три раза, а Генки все нет и нет...

- Да на что он иям?! - возмутился Ленька. - Дрыхнет, знамо, без задних ног! Какой из него работник? И вдвоем справимся, а, дядь Петь?

- Справимся... - согласился бригадир и засобирался, но на улице, сунув под ремень топорик, повернул к дому

забулдыги...

Не хотелось почему-то Макарычу оставлять малолетку, о матери Генкиной думал: заблажит ведь, как ненормальная, мол, худо пацану без батьки, некому на путь-дорогу наставить...

Шел бригадир, ругался вслух, а про себя оправдывал парнишку: «Молодой еще, армии не нюхал! Перебесится... Выгоню, вот, а толк какой? Черт с ним! Подержим как-нибудь до службы, глядишь, поумнеет, вспомнет потом...»

У Луковых Макарыч не нянькался - выволок сонного Генку из кровати, вынес голого во двор, окунул в сугроб. Генка очнулся, заухал, выкатил красные непонимающие глаза, но Макарыч тер его снежком и приговаривал:

- Вот тебе, штыбзик! Научу и пить, и похмеляться...

Когда парень все же вырвался, бригадир крикнул вдогонку:

- На сборы пять минут! Штыбзик!

Точного значения слова «штыбзик» Макарыч не знал, но в его понятии оно было самым страшным ругательством - унижительнее и обиднее нету...

...Делянку дольше подбирали - дорога чтоб рядышком, подъезд удобный... Нарезали, перекурили, и Макарыч повел парней напрямую - лесом на просеку, мол, километров на пять ближе...

Впереди маячила крупная Ленкина фигура в темно-зеленом спецкостюме лесника. Шагал Ленка на охотничьих не широко, наминал лыжню, но Макарыч отстал, потому что часто оборачивался и кричал:

- Эй, опоек! Не спи, замерзнешь!

Генка вяло, уныло отмахивался и отставал еще больше.

«Работничек! - сердился Макарыч, - спецовку и ту за вино отдал! А теперь в задрипанной фуфайке, которой в среду сто лет исполнилось, на работу ходит! Позорник. Шапку девичью, вязаную носит, настоящей не купить... И не стыдно! Да я в его годы...»

Медведь появился перед Макарычем неожиданно. Но поднимался медленно, как в заторможенном кино... Бригадир взвыл так громко, что Ленка обернулся и, в долю

секунды сбросив лыжи, так заузорил просекой - пыль снежная поднялась.

Макарыч по примеру Полякова хотел выскочить из лыж, но пришлось наклоняться - мочки сам тачал, на совесть, с валенок не сползали...

Медведица надела Макарычу на спину, и он упал лицом в снег, втянул голову, закрыл ее руками... Звериная вонь проникла в забитый снегом нос, донесся грозный рык, и сильная жгучая боль ударила бригадира в правый бок...

В глазах покраснело, почернело, позеленело... И вдруг стало легко-легко и совсем не страшно. И Макарыч сообразил, что умер. И удивился - сквозь зеленоватую водяную муть, расплывчато, но узнал себя в бульдозере перед церковью. «Толкай, парнек!» - приказал начальник, и он, Петрушка, потянул рычаг. Стена, которую возводили деды, рассыпалась, рассеялась пыль, и Макарыч увидел черный гроб, а в нем себя, но молоденького... «Господи помилуй!» - испугался Макарыч...

Макарыча вернули в чувство сильная боль в боку и затылке и озноб. И не сразу он понял, кто скулит рядом так надсадно и жутко... Через силу повернулся и опознал драную фуфайку штыбзика... «Я живой!» - догадался Макарыч и позвал:

- Сссы-ынок...

Генка, икнув, кинулся к бригадиру - глаза на выкате, губы трясутся, соображать перестал от радости - и забормотал:

- Кабы Ленька, жлоб такой, не сбежал, дядь Петя, мы втроем-то бы ее в снег затолкли... Медведка-та молоденькая... Я увидал, она тебя мнет, а Леньки и след простыл, и заорал с перепугу... К тебе бегу, топором по елкам стучаю, до чего доорал, слышь, хриплю уж, она и отпустилась, в ельник запяtilась.. Вот сичу и боюсь, думал - мертвый ты...

...Из райбольницы Макарыч выписался через месяц. Ребята узнали, пришли к бригадиру домой. Генка, трезвый и какой-то угрюмый, курил, молчал, а Ленька рассказывал:

- Мы, дядь Петь, справлялись тут... Из Ножнихи

выехали, в Загосине рубим... А медведицу-ту подстрелили, я охотников навел! Ишь, удумала берлогу прямо на просеке!

- Медвежат жалко! - вклинился Генка, - маленькие, как щенята.

- Человеков тебе не жалко, штыбзик, - заорал Ленка.  
- Не съели мы их, охотхозяйству сдали, в цирк, может, попадут...

- Матки вы их лишили! - упрямо добавил Генка.

- А!.. Тебя! - махнул на него Ленка, ругались они, видать, на эту тему не первый раз.

- Ладно, мужики, - вздохнул бригадир, - отдохнуть мне надо, утомился с дороги...- И пожал руки - сначала Генке, а Ленкину задержал - Хороший ты мужик, Поляков, но в разведку я пошел бы с Луковым...

## ЗУБ

Сказал: «Да!» А как осуществить? Как лапши Алке на уши навешать? Не поверит ведь! И кто меня за язык дернул? Только помирились, только она поминать перестала мои выкрутасы, а я оденусь и вперед, на мины... Да любая дурочка поймет! Эх, Геля, как опять ты не вовремя! Нет бы пораньше-то месяца на два. Мне тогда легче уйти было, Алка поедом за тебя ела и к себе не подпускала. Теперь она простила, а ты звонишь... И я-то привык - все! Конец связи! Нет тебя! Ну было... И прошло. А видишь вот, как «прошло»! Ничего не прошло, себя-то не обманешь! Весь год, кроме тебя, Ангелинушка, ничего в голову не шло. И я честно, не понимаю ни Лешика Томилова, ни Витьку Быстрякова: они курить садятся и давай до хрипоты - Ельцин да Шахрай, Зюганов, Жириновский... А у меня одна ты, Геля, на уме... Как бы из дому-то уйти? Обещал ведь...

...С досадой поглядывал Васенин на часы: с минуты на минуту появится жена, и если уходить, то пора уже. И сидел он одетый, ждал и раздумывал - что же это все-таки такое дома-то держит? Как приклеило!

...Шумит в ванной вода. Васенин на кухне. Перед ним на столе - горячий, парящий чай. Чашка себе, чашка Геле. Плеск в ванной стих, Ангелина подкралась сзади неслышно, как кошка.

- Ждешь?

- Угу.

Распаренная, розовая, в цветастом длиннополом халате, под которым - ничего, обхватила лицо Васенина ладошками, прижалась к спине горячая, мокрая, трянула головой. Капельки с кудряшек полетели на стол, попали в обе чашки и поплыли по поверхности, похожие на маленькие маслянистые блики... Васенина так и тянет схватить ее, гибкую потягушку,

на руки и унести в спальню.

Алка. Подошла ли ты хоть однажды, как Геля? Нет! И не подойдешь. По-твоему - все, все - глупости! Глупости... Как сказать! С Гелей и глупости воспринимались как обязательная, как неотъемлемая часть жизни, часть незабываемая, сладкая. Алка! И зачем я только женился на тебе? Благородство хреново! Почувствовал себя будущим отцом... Надо же!

- Приветтики! - Алла, войдя и выкладывая из сумки продукты, защебетала, на кухне сразу сделалось тесно и жарко. - Представляешь, костей мясных на работе купила, продавали и недорого...

Васенин морщился, сравнивая: Геля всегда в дверь звонит, а только он откроет, повиснет на шее и целует, целует, соскучилась, мол... А Алке кости дороже!

- Юлька гуляет? - продолжала односторонний разговор жена и тут увидела: Васенин сидит одетый, ладонью за щеку держится.

- Зуб? Так чего и сидишь! Беги скорее в поликлинику, врач до восьми...

Васенин молча поднялся и вышел.

- Ага, ага, ага! Ай да я! Ай да случай! Без слов, а все как надо... - бормоча, бежал он на остановку. Торопливость переросла в стремительность. Везет - выскочил в центре из автобуса, наткнулся на бабульку с цветами...

Перед дверью в Гелину квартиру Васенина словно в грудь толкнуло: ночь придется провести здесь! А как же Алка, Юлька?

Зуб!

Он потоптался пару минут в подъезде и вышел на улицу, засунул букет подмышку. О чем он только не думал, медленно бредя по Советскому проспекту.

Вернусь к Геле? Побывать часок и домой? А причина? Геля не

Алка, ее не обманешь, туфта не пройдет! Уж лучше вообще... А как же обещание?.. Вот и остановка. Приду домой с букетом и здоровым зубом! Алка с ума сойдет!

Безуспешно Васенин приставал к женщинам, пытаясь всучить букет. Вид его, Васенина, был таков, что женщины и

девушки шарахались, словно им предлагали клубок змей.

И выбрасывать цветы Васенину было жалко. Он зашел за решетку скверика горбольницы, собираясь-таки оставить букет, как вдруг блестящая табличка привлекла его внимание: «Дежурный стоматолог. Прием с 20 до 8-00. В праздничные и выходные круглосуточно».

Нелепая картина: перед зубным кабинетом сгорбленный мужик, от мук не лицо - кора дуба, но при пышном, огромном букете гладиолусов...

Доктор старательно обстукивал зуб за зубом, а Васенин старательно, изо всех сил, изображал страдающего.

- Хм... Странно. А может, все-таки вот этот?

- Ой! - притворно, но правдоподобно вскрикнул Васенин.

- Минуточку... Сейчас... Скроем... - доктор потянулся к бормашине.

- Значит, зря я сюда! В здоровый зуб - мышьяк!

- Нет, доктор, тащите! Ради Бога! Не доживу до утра!

- Не жалко? Зуб еще крепкий...

- Нет! Тащите! - уже с неприятной слезой взмолился Васенин.

- Ну, жить вам... - врач взял шприц.

Назад, к Ангелине, Васенин летел! Самое веское доказательство! И сжимая развороченной десной тампон, он радовался, а почему конкретно - сам не понимал!

Ангелина открыла дверь и потянулась к нему, как тянется ребенок к давно желаемой игрушке, но Васенин отгородился цветами.

- Хры... Фры... Привет.

- Что с тобой? - испугалась Геля.

- Жуб... Хрык и нэту...

- Пойдем... Сплюнь... Давай, кровь оботру, вот фурацилин найду, пошли...

- Нет! Не могу, не хочу у тебя такой... Давай в другой раз... - прошамкал Васенин.

- Я провожу...

- Не надо... Спасибо... Люблю тебя, - и Васенин отпустил руку женщины, потому что чувствовал - еще секунда и

будет не уйти.

Алка встретила настороженно, но, разглядев, что зуб удален, расцвела.

- Что долго? Все зуб рвал?

- В нашу поликлинику опоздал, на Советский ехать пришлось. Хреново мне... Давай спать, а?

Посапывали тихонько в соседней комнате жена и дочь, а Васенину никак не спалось: ему мерещилась Геля, ее радость, ее тревога. Потом лицо ее вытянулось, стало страшным, приняло вид окровавленного зуба. Зуб сверлил Васенина маленькими глазками и быстро, голосом Владимира Вольфовича говорил: «Я! Я буду президентом! Я!» Зуб все увеличивался в размерах, а Васенин уменьшался, пока не исчез совсем...

## СЕРГУНЯ

За две недели колхозного сенокоса Митька ухайдакался так, что по завершении катил в гаражи чуть живой, полусонный. Сопrotивляясь дреме, он тряс головой, распаял себя: «Ох уж эти шефы! Горлопанить, требовать - мастера - здоровее не сыскать. А все - начальство районное, безголовое - каждый раз переменных шлет. Неумехи. Нет бы одново, двух - толковых, а то ворочайся - не подать, не принять... Но теперь - позади ...»

- Отдыхай, Дмитрий, спасибо, не подвел! - на радостях благословил председатель. - Как уговаривались, десять дней-твои...

Отдыхать особо некогда - своя кошенина на очереди...

- Банька теплая, Митя, сполоснися...- мать подала белье, полотенце.

Мылся Митька вяло - лень-истома накатила.

Сполоснулся слегка, и домой. Спать завалился.

Сквозь сон слышал - причитала, укрывая заботливо, мама...

Спал Митька недолго - забота покоя не любит. Встал, готовиться начал. Снес с подволоки две косы: косить Пеньковатку, не дай Бог, без сноровки можно не одно косье наджабить. Митька, вроде, и наловчился - не первый год там шпарит, но запас, он не помешает. Чуть - и не беги домой за четыре версты. Бегать зря Митька не любит... К своему сенокосу, точнее, к почину, Митька относится как к самому важному в жизни занятию. Всегда старается превратить начало изнурительного крестьянского труда в праздник. Мать к причуде сына привыкла, относится с уважением...

Откуда такое в нем, Митька, пожалуй, не объяснит точно. Выйдет он, бывало, в белой, с яркой вышивкой рубахе - первый покос ведет медленно, плавно. Валок сзади аккурат-

ный, травинка к травинке. Хорошо! Руки зудят, и Митька замашет поярее - до сладкой желанной боли в мышцах, поянице.

Нет большего наслаждения, чем вот так - вжик, вжик, - трава валится, пахнет лабазом и мятой... И потом! Трудовой пот сладок, запах его успокаивает и навевает думу. О чем бы ни была дума, всегда коснется брата. Сергуня - москвич, восемь лет дома не бывал...

Брата избили ни за что, ни про что, и Митька раздухался - четверть вечера гонял молодяжек. «Гляди, Рагозин, упрячу!» - пригрозил участковый.» И Митька утих, смирился. А Сергуня наискал где-то книжонок про бокс и приемы всякие. Запросил сарайку. Чем бы дитя ни тешилось - помог Митька, приволок бревен, горбылей.

Сарай поставили, к нему турник притулили.

«Пусть мнетса, - думал Митька, наблюдая Сергунину возню, - в армии пригодится.»

Сам на службе не был - в детстве глаз из рогатки выбили. А глаз-то базовый! Врач говорил. Вставили Митьке стекляшку, а с ней какая армия? Права на трактор обманом получал...

Все свободное время Сергуня проводил в сарае. Выползал измочаленный, потный: крутощекое девичье лицо - грязнущее, волосы, что сосульки - кап-кап... Заглянул Митька однажды: висит мешок, а Сергуня, чисто козел, скачет и боднуть норовит, а то ногой или кулаком шпыняет... И злился Митька на салапетов, что избили брата: «Неладное с головой получилось у Сергуни.» Но не мешал - жалел и сочувствовал.

Десятилетку Сергуня закончил без троек, и Митька возмечтал увидеть его инженером - уговорил поехать в сельскохозяйственный институт. Брат согласился, а поступил на физрука. Два года Митька переживал, не мог успокоиться... Но и в педагогическом Сергуня не доучился - наплевал на обучение и ушел в армию. На проводах, обнимая стройного широкоплечего парня, Митька грустил, вспоминая нежного пухленького зяблика, из-за которого чуть не сел в тюрьгу, но и радовался - вот рагозинская порода, издаля видать!

Первой весточки ждали - почтальюна спросом извели.

И наконец, пришло сразу два письма - одно лично в руки Митьке адресовано. Читал тайком от матери и не верил брату, думал - разыгрывает, хвастит. Но затвердил строчки Митьки едва ли не наизусть. Интересное письмо: «И заводит меня майор в залу. Стоит там мордovorот метра под два, кулаки по пудовке. И говорит майор: «Вот, Рагозин, покажи товарищу кузькину мать!» Я было отпелекиваться, за что, мол? А майор за дверь, и в глазок - это окошечко такое - подглядывает, гад такой! делать чего-то ведь надо. И я подхожу к мордovorоту: «Мужик, дай закурить...» А он, бычара, в нос мне сапогом целит! Но не зря же я в сарае по стенам бегал! Институт тоже помог - заломал я голубчика. Ухаря увели, а взамен запустили двух хабчиков - рожки закутанные, одни глаза, как шилья, колючие. Попинали, Саныч, крепко! Но изловчился я все же - одного подсек, а там и второго отдыхать отправил. Вот стервы! Всерьез ведь бьют, глаз неделю не открывался... Спецназ чертов!»

Удивило Митьку обращение - Саныч. Раньше звал его Сергуня Митей, изредка Димой. Понятно - Саныч, Александрович, но откуда это у брата? «Мода, наверно, такая,» - сокрушался Митька, называться Санычем ему решительно не хотелось...

Больше Митьке лично Сергуня не писал, а общие письма были сухие, скупые, неинтересные: «Служу. Жив, здоров, чего и вам желаю...» Не вскрывая, знаешь, что там...

Но Митька все равно волновался. Каждый раз конверт разглаживал, разглядывал, адрес обратный перечитывал: «Москва, Реутово-3.» И все чаще корил брата за скрытность и лень, но Сергуня отшучивался - вот, мол, отслужу, поговорить, похвастать будет чем... Отслужил, сообщил, что нашел работенку по уму - непыльную, денежную, потерпите, мол, позже приеду, сам уж соскучился... Минуло шесть лет, побывать Сергуня не удосужился и писать разучился.

К праздникам слал бандероли - матери либо кофту вязную, либо платок шерстяной, брату - штаны модные, пежезные... Митька не носил, складывал в шкаф, надеялся - побывает Сергуня - сам пофорсит. А Сергуня с недавних пор повадился переводами пугать - шлет, что ни месяц, по две, по

три сотни. Мать извелась вся - где, говорит, такие деньги заработаешь, у кого ни спроси - мало ли народу по городам, а все из деревни припрашивают того-другого. А Сергуня посылает, связался, поди-ко, с ворами... В Москве, говорят, их много...

Успокаивал Митька маму, приказал завести сберкнижку и складывать туда все переводы, а Сергуню материл в письмах: «Ты заелся там! На кой нам твои гроши? Мы не побирушки! Напиши хоть, где да как работаешь - мама с ума сходит...»

И думал Митька каждую зиму - насмелюсь, доеду, посмотрю, как Сергуня поживает, он зовет давно обоих с матерью, да не выходит - то одно, то другое, разъезжать некогда...

В раздумиях Митька отладил косы, закурил. Солнце еще торчало из-за горизонта, но уже наплывала вечерняя прохлада, уже не грохотали, пыля большаком, трактора и машины, уже потянулась в ДК молодежь, в основном приезжая, городская - своих-то не густо, и тем не до того: сенокос, пора горячая... Прошла мимо калитки Надюшка Рябинина, поздоровалась. Митька опять задумался: «Неблизко живет, в Архангельске,, а каждое лето гостит у отца с матерью, детишек двое, а вот видишь... От Москвы ближе бы...»

Не заметил Митька, что во двор, крадучись, шагнул крепкий мужик в спортивном красном костюме. Повесил на штaketник толстенную сумку, над Митькой склонился...

- Курим?

- Угу... - не глядя, машинально откликнулся Митька и вдруг вскочил. - Сергу...

- Братуха.! - взвыл мужик и повалил Митьку в траву. Митька сопротивлялся, натянул ворот кофты брательнику на голову, но освободиться не мог. Держал Сергуня разлаписто, крепко, и ревел, как зверь или ребенок...

Шум вывел из избы мать, и она, увидав, что сына давят, схватила голик и давай охаживать разбойника по спине, крича:

- Опустит! Опускай, лешачкое отродье! На дом уж идут...

Сергуня отпустил Митьку, вскочил, подхватил мать на руки и забегал по ограде кругами...

Мать, после охов, ахов, слез скорых, заторопилась на-

кривать стол, а братья сели на завалину. Не узнал Митька брата - вроде и схож, и голос тот же, но лицо - чужое, неродное, глаза холодные, а прищур прямо звериный, настороженный... Испугало Митьку предчувствие недоброе: «Неужто права мама? Неуж - вор?»

С  
крепко.  
не вид  
восемь  
райку,  
Сергун  
рел на  
брата,

л турник -  
зизоре и то  
Висит, как  
занять са-  
авно хотел.  
и и посмот-  
лел взгляд

-  
плечо.

таршему в

Е  
мокли,  
не мож  
стало с

, глаза на-  
Сергуни. И  
И Митьке

-  
-  
отказы

утылку.  
зволяет... -

-  
трактор

ебе, как на

М  
разгов  
му-то :  
ный. Р  
зуту в  
ные, на  
жищи

илось ей за  
было поче-  
гой, понят-  
дины - ма-  
дкие, холе-  
такие день-  
и выходной

да ботинки белые с полосами, ей халат толстой, теплый, бурки мягонькие на меху... Папирос - а ну-ко, пачка по десятке? Страшно матери - только бы не вор, сын-то, как бы со шпаной не в дружбе... И потянулась она к ладони младшенького с потаенной надеждой, загадав - коли мягкая, девичья - худо дело!

Ладонь Сергуни наощупь была шершаво-каменной, и

мозоли, незаметные глазу, чувствовались... «Не даром денежки даются!» - просияла мать. Митька разгадал ее жест, захотел, рассмеялся и младший, не понимая, над чем.

- Работаешь-то... на секретном заводе? - будто вскользь обронил Митька, он слышал, что есть такие в городах, потому и делал равнодушный вид, показывая - мол, прослышаны, знаем кой-чего, но не трепемся...

- Ну, - просто ответил Сергуня, - далось вам: переводы, переводы! У меня родни-то: ты да мама... Хорошо платят, я ведь неизбалованный, не курю, не пью, разносолов не ищу, жены, детей не имею - хватает мне. Квартиры нет - комната, но просторная... Саныч, взял бы, приехал...

Митька поверил брату, потому что очень хотел верить, и решил не приставать с расспросами - что можно, сам поведает.

Косить отправились затемно. Митька, как обычно, в нарядной, белой с вышивкой рубахе, Сергуня в своей олимпийке. Ни одна из Митькиных форсистых рубах ему не налезала. «Надо ж! - дивился Митька - на вид не толст, не плотен...»

На позже Сергуня схватился за косу и заорал весело, бесшабашно:

- А ну, Саныч, кто кого!

От задора брата ощущение нужности работы, ее праздничности усилилось, но начал Митька плавно. Не торопился он и позднее - давал Сергуне фору, покрикивал забавы ради, косясь на его голую спину.

- Эй, негер! Футурист отпетый! Не рви особо-то - с пупка сорвешь! А то - и ноги к середине дня протянешь!

- Эта штука, - размахивал косою Сергуня, - оч-чень полезная штука для развития брюшного пресса!

К обеду, когда солнце и ветер, досуха, до текучести вылизали траву, когда коса часто завтыкалась в нарытые кротами холмики, Сергуня выбился из сил, но взятый темп не сбавлял, ждал - откроется второе дыхание... Не так-то прост крестьянский труд... Сергуня оглядывался назад, смотрел на брата, похожего на рисунок из букваря, несовременного, в пестрядной, перетянутой кушаком рубахе, и, сравнивая заполоски, видел - Митька выкосил больше почти вполтину... Вот-вот бы скоситься, но Сергуня окончательно изнемог, бро-

сил косу и с берега бултыхнулся в речку. Митька докосил, закурил и крикнул, глядя, как пускает пузыри брат:

- Ну, как развитие брюшного пресса?

- Иди ты... - обиделся Сергуня, оплескав водой. - И так устал...

А чуть спустя:

- Хорошо-то так! - восторгался, подсев к Митьке, обнимая мокро, прохладно. - Хорошо, а, Мить? Бывает же так хорошо! Ничего в башке худого - поглядел - на лес, речку, солнце! Ничего лучше не придумать! Верно, Саньч?

- Конечно, - соглашался Митька, - че и думать, когда хорошо...

И было от детской радости Сергуни спокойно и тепло на душе, и не хотелось Митьке думать - две недели не вечные...

Брат уехал, и Митька затосковал. Тоска волгая, как вяленая рыба на веревке, шебуршила, путала мысли. Впервые Митька затосковал так сильно и горько. То дважды бессознательно нагрубил матери, напугал ее... То вдруг, поверив Сергуниному обещанию приехать на свадьбу, побежал к продавчихе мириться. Они как-то было собрались сойтись, но Ольга вильнула хвостом с приезжим строителем-закарпатом, и Митька отрекся от нее принародно, после чего пропьянствовал неделю. Теперь он снова кинулся к ней: какая ни есть, другой нету, и сам невелик барин! То он согласился работать на сушилке в две смены и злился, что до той поры занять себя нечем - сенокос выставлен, а к другому руки не лежат!

А когда по телевизору объявили - в Москве военный режим - Митька испугался. Садился к экрану, мать ловила каждое слово, молилась испуганно за Сергуню.

- Ладно тебе, - успокаивал ее Митька. - Генералы грызутся, власть делят... Нам до них, как до фонаря... Сережке тоже Не дурак ведь он, разбирать их не полезет...

И так он успокаивал маму и себя несколько дней, как вдруг однажды, когда уже все успокоилось, едва не проглотил язык.

В телевизоре из-за спины первого правителя России торчали настороженные Сергунины глаза...

## СЕРДЕЧНАЯ РАНА

Любил Степаныч прихвастнуть:

- Слышь, Паша, Лешка-та мой - уже капитан!

- Да ну! - изумлялся сосед. - Идет жизнь! А то будто вчера соплюхой по кочегарке лазил... Чей-то давненько его не видать?

- По германиям все да по монголиям на ответственных должностях, - оправдывал сына Степаныч и, сникая, задумывался: «Молодость-то я положил, а теперь вот бобылюю! А сколько раз можно было вдругорядь жениться - не хотелось все мачехи Алешке...»

Не чаял радости Василий Степанович, а вот она - в руках птичка - телеграмма от сына! Внучка едет! Одна!

И занервничал, перечитывая, сына беззлобно поругивая: «Хоть бы карточку до поры послал, а вдруг, не опозная Валюшку, пробегу мимо!?».

Прибрал дед свою «полуторку»: полы - и так чистые - намыл, все, как давно желалось, расставил, одеяла, подушки вытряс, повыбил, постельное свежее застелил. И в магазин. Да бегом, бегом все, годов не чуя! Крепок и шустер Василий Степанович! И немудрено - потому все: овдовел, в рот перестал сразу брать - что вино, что табак.

«Коли внучка в гости едет, режь последний огурец!» - приговаривал, возле плиты газовой топчась. Привык бубнить-то: один, давно один. Жарил, парил, на часы поглядывал: скоро уж к поезду...

А на вокзале спохватился и головой затряс, заворочал: «Пень старый! Внучка впервой насмелилась, а я! Хоть бы цветочков догадаться...» - и тут, словно на счастье, заметил Василий Степанович ларек: астрочки одна к одной, махровые, снежно-тюлевые. Купил, не поскупился и вдоль состава

двинулся. Самому невтерпеж, интересно: «Кто же кого первое опознает?»

Шел, пристально щурился: вот и нужный вагон, люди выходят, торопятся, а девчушки, одной-без провожатого, не видать.

И вдруг - солнце в глаза закатилось - с подножки глянула растерянно на Степаныча жена-покоенка. Попятился дед, оторопев, споткнулся, на чемодан чей-то сел, головой мотая, а Даша смотрит, окаянная, глаз не отводя, и позабыв, что крестился последний раз мальцом семилетним, осенил себя Степаныч крестом, а Даша надвинулась, тончаявая, писаная-воскресшая, да отчего-то в штанах, и ухватила за руку:

- Дедуля! Здравствуй, дедушка!

Подхватив внучкину поклажу, дед тупо соображал: «Надо же, по глазам-то - как шарахнуло! И зачем это?» - и косился на внучку, и становилось то ли страшно, то ли стыдно: будто в чем дурном уличили.

А дома, покормив Валюшу, он зарылся в нижнем ящике комода, где покоилась единственная, оставленная неизвестно зачем в живых, карточка Даши. Хорошая фотография, ясная, цветная.

- Вот бабушка твоя, гляди-ко, сколь вы схожи... - И заметил дед: волнуется, удивляется Валюша, и опять невесть чего застыдился.

Позднее, успокоясь, но с головой не своей, тяжелой, взбаламученной, расспрашивать начал, как родители да почто задержались.

- Вызов мне пришел, учиться здесь в институте буду, если, конечно, экзамены не завалю. А родители - проверка у папы, вот и задержались... - глядя на прислоненное к вазочке с цветами фото бабушки, будто обращаясь к ней, а не к деду, обстоятельно докладывала Валя и волосы белокурые ерошила, глаза прикрывая задумчиво, еще сильнее этим напоминая Дарью.

- Да, да... - холодея, покачивался Степаныч и жалел, что даже с севера, который не столь и далеко, сын не может приехать ко времени.

- А папа не говорил, что на бабушку я похожа, - укла-

диваясь спать, вздохнула внучка.

- Как ему узнать? - забывшись, удивился дед. - Почитай, ему и пяти-то не было, когда она... Убили ее, Валюша, не к ночи бы поминать, и виной-то - сама, непутевая...

Приснилось Степанычу осеннее туманное солнце... с женским телом, облаченным в то самое нарядное платье, и, как наяву, донесся хриловатый, вызывающий Дашин голос:

- Давай на колени встану! Легче тебе?! А теперь - прощевай! Про сына - забудь! Он к тебе ни с какого боку! Не твой! Не от тебя! Понял?!.. - завертелся дед, заезгал, стараясь видение отогнать, наполовину удалось: пустырь, что за окном был когда-то, по краю кустоватый, привиделся. Успокоиться бы деду, но вдруг почувал: сдернуло с дивана - и упасть бы на пол, ан нет, завис, тело пушинки легче - и головой вперед понесло на дикой скорости к двери...

- Деда-а! Дедушка...

Сел Степаныч, от страхов сонных трясаясь, рукой загородился, всхлип подавить не сумел.

- Плохо, дедушка?

- Хорошо! Хорошо, внученька, хорошо, милая, что приехала! - двигаясь от липкой подушки, едва ли не проплакал дед.

Уснуть больше не мог, память терзала, потому встал и виновницу - карточку Дашину - в комод схоронил, на прежнее место, на покой привычный надеясь.

...Спиртное Ваське Перилину не помогало: трезвый-то молча страдал, а в подпитии жаловался кому ни попадя, чаще соседу.

- Скажи, Паша, как как можно? Ладно бы я полудурком был, кривым ли, горбатым каким, или не любил да не ублажал ее, гадину...

- Нервы у тебя железные, Васек, я бы за такое грохнул без разборок! - сочувствовал сосед.

- Грохнул, грохнул... И в тюрюгу? А сына в приют? В детдом моего Алешку!? - не соглашаясь, пьяно рассуждал Васька и выл: - У-у-у подлюка! Не ехать бы сюда, жить бы в деревне, все бы ладом шло...

- Видела опять твою, - вторила мужу Пашина супруга,

встречая Перилина трезвым, - пьяные оба с хахалем, Алешка, как щененок, сзади, чумазый, глазки блестят, голодный одноко... Отсуживай сына, Василий, всем домом постоим, подпишемся...

- Вправду, значит, - обращалась, наверное, с умыслом соседка, безмужняя одиночка из квартиры напротив, - хорошим-то мужикам не везет, бабы-дуры достаются! Плюнь, Вася. Ушла - туда ей и дорога! Ты видный, квартира есть, помянишь - любая за тебя пойдет. А Дашка - худо не жила! - Помяни мои слова, скоро-о скается и обратно зайвится...

Слушал Перилин, кулаки кусал, думал и думал: «Убью! Убью стервозу! А то и сыну человеком не бывать!» - и картины мести - изуверские - вставали перед глазами...

Не выдержал Степаныч состязания со злоюй-памятью, встал тихонько - внучку чтоб не потревожить - и на кухню направился: «Почищу картохи на утро, глядишь, заделье блажь отведет...»

Чистит дед картошечку, шкурку снимает тонюсенькую - экономия, времена-то неважнецкие, а думает, что сон, ненарочная.

... - Как жизнь холостяцкая? - на пороге Дарья. Веселая, нарядная: платье зеленое, блестками, по подолу розы. - Поуправляйся с сынулей, хотел ведь... Из гостей мимо идти, зайдем...

- Одна заходи! - буркнул вслед Перилин, сам, сына не замечая, к окну - и увидел: вышагивают под ручку, и Дарья, чужая, в дареном, знать, платье, показалась краше и статнее, чем тогда на речке при первой, памятной, встрече...

Мыл Вася сына, ручки, ножки, спинку натирал, а в глазах - Дарья! И закипала внутри злоба!

Кормил Вася Алешеньку, а ненависть за сына отнятого волосы дыбом ставила. Смотрел Вася на спящего, целовал кровинушку, беспомощность по щекам текла...

Клял Вася законные сумерки и представлял: крадется он в этой тьме к хате соперника с топором, врывается и рубит стол, кровать - особенно ненавистную кровать, на которой этот и Дарья - в щепу! А следом и любовников - в кровь, кости хрусткают! После, весь потный и кровавый, несет на

руках к себе домой Алешку... И до того отчетливо и явно это представилось, что, взглянув испуганно на свои заскорузлые, знающие любой труд ладони, Вася задохнулся. Едва не стошнило. Так замутило от запаха - несуществующего! -мысленно пролитой крови... И заметался. А сын и не спал будто:

- Папа-а! Где ты, папочка?

- Спи... Спи, милушка, вот я, с тобой... - и прилег к Алешке, по головке поглаживая, а сынок ухватился за шею, прижался и зашептал:

- Папочка, не отдавай меня мамке с дядькой! Папочка, я тебя люблю... Не отдавай, не отдавай-ай! - и заколотился в слезах.

- Не отдам, малыша моя, больше не отдам, - успокаивал Перилин сынка, задрожав, оттого что понял: сегодня он убьет и Дашку, и хахаля... И сам поэтому - вдруг, враз - успокоился...

Чистит дед картошечку, кастрюля доверху, по полу картофелины катятся, лезвие без передыху, лезвие без передыху режет и режет. Руки здесь, сам где-то. И-вдруг-тряхнуло? Так дернуло, что ножом по пальцам угодил: средь шелухи, в ведре мусорном - чоботы! «Нет! Нет! Быть не может! Сжег, спалил я вас в кочегарке! Давно, давно!» - лихорадочно потянулся к ведру Степаныч - и вот уж руки полкоть в помоях и лицо почти там...

...С первого этажа выйти незаметно - раз плюнуть. Тем паче, тьма за окошком и кустоватый пустырь. Не миновать пустыря Дашке, дом новый, подхода-подъезда никакого: одна дорога - пустырем... Умом готов Перилин на дело, и, как нарочно, совпало: дворничал утроем, ботинки, крепкие довольно, в контейнере обнаружил и подобрал, хоть и стыдно, а незаметно так в сумку кинул: сгодятся, дорву в кочегарке, все не сапоги, ногам легче.

Знал Перилин слабость свою - болтлив спьяну. Окно растворяя сторожковато, поклялся - ни капли, если удача, ни в праздник, ни в будни, - и заодно, как бы укрепляясь, пачку папирос почти целую смял.

У спуска на «железку», в укромном, пустынном месте - ждать наметил. Кустами пробираясь, обрезок трубы за пол-

метра длиной подобрал: надежная штука: шлак! - и нараз панихида. Притаился, дрожь невероятную унимая, а позади - голоса. «Ох, и несет кого-то», - сжался Вася... Два мужичка - перегаром опахнуло - прошли, толкуя о бабах, бабках и колесах.

Не понял, не внял ни слову, но живо как бы увидел: эти двое встречают Дашку и дружка ее, и приставать начинают, а он, Васька Перилин, муж ненужный, - даже дрожь унялась - выбегает на подмогу! После Дашка вернулась бы домой и убива...

Он узнал ее сразу! Он узнал бы ее из тысячи, хоть и приближалась она вяло, беззвучно, как неживая... «Перепила... А хахаль, видать, в отрубе... Ну и лучше! Он сына не отберет!» - готовился Перилин, трубу сжимая.

Выскочив вслед, не позволив остановившейся обернуться, смаху, хлестко опустил ей трубу на голову. Зазвенело, как по камню, Дарья рухнула молча, обдало противно-теплым, и Вася ударился бежать. Опомнясь, долго бродил закоулками, следы путал, снова дрожал и трясся, трубу, где бросил, запамятовал...

Запамятовал! Ни есть, ни спать! - не Алешенька, с ума бы сошел. А с ним - в морг, по кабинетам на ставки очные с полюбовником - все мимо, все, как каменный, как и не сам, а другой кто - принимал. Скрип... Шаги... Скрип нижнего ящика комода - ни с каким другим его не спутаешь - вернул на миг Степанычу ощущение реальности, и, увидев, что роется в дерьме, он гадливо отдернулся. Капли крови с порезанной ладони упали на пол, и тотчас из них - с десятков из каждой капли - проросли поганки. Они, извиваясь тонкими ножками - аккуратно змеи! - тянулись острорылыми головами к рукам деда. Вскликнул Степаныч и ударил по ним - снова полетели капли на ведро, раковину, стены, и всюду моментально появлялась поросль и тянулась к сеющему ее! Бросился Степаныч к выходу с чертовой кухни, а в прихожке Даша!

- За сыном я, где Алешка? Попятился Василий Степанович, и вдруг откуда-то сверху, со стороны, и не понять, нанесло: «Папочка, не давай! Спаси, папочка...»

- Спасу! Спасу, сынушка! - громко и радостно отклик-

нулся Василий Степанович и, схватив нож, вонзил его Дарье в грудь...

Валя успела уклониться из-под под руки обезумевшего деда, даже царапины не осталось, но родители, приехав, особенно мама, заругались. Никаких! Не оставляю! Ни на минуту не позволю! - возмущалась мать. - А ему в психушке место! Медсестры, нянечки - пусть ухаживают!

- Мама! - хотела остановить ее Валя.

- Замолчи! - еще громче прозвучало в ответ. - Отделалась испугом, а завтра он и тебя зарежет, как жену свою...

- - Ты! - взбешено одернул супругу Алексей Васильевич.- Баба ты базарная, а не офицерская жена! Следователь архив перелопатил, четырежды объяснил - не убивал никого отец.... Захотел бы- да не смог, мама уже мертвая была... -

И помрачнев, тихо добавил.

- Это я виноват. Десять лет навестить не соберусь, а он - дядя Паша говорит - каждый день меня вспоминал...

## СЫН ПРИЕХАЛ

Лагунов на присягу попасть не чаял. Получив открытку с тремя корявыми строчками, не сразу понял, что от сына, и весь заколотился от надежды. Пригласил! Помнит! Поговорить с Олегом он давно хотел, но как? Бывали моменты, когда он, высыхая от безудержной тоски по мальчонке, вдруг бросал пить и засаживал себя за письма: «Здравствуй, сынок», «родной мой Олежка», «ты, Олег Павлович, взрослый теперь человек и, наверно, поймешь...» Потом представлял, как эти письма читает жenuшка бывшая, и ежился. Так и не отправил ни одного. Уж после-то присяги выпадет минутка для душевного слова...

По плацу метался ветер и дергал красные скатерти столов, у которых шло принятие присяги. «Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, торжественно клянусь быть честным, храбрым, бдительным воином...» Защищали у Лагунова глаза, отвернулся и наткнулся взглядом на женщину - та тоже сморкалась. Ее тут же как ужалило:

- Ты зачем здесь? - бросила она, нахмурившись. - Я - мать, а ты-то кто ему теперь?

- Мне тоже открытка пришла, - сухо ответил Лагунов.

- У тебя никакого морального права! Вот погоди, скажу начальству...- И бывшая жenuшка стала пробираться куда-то.

Лагунов расстроился. Он не боялся никакого начальства, но вдруг она Олегу напоеет, что отец такой-сякой, пьющий... Выбрался из толпы и побрел на станцию. Нечего было и пытаться при Зинке с разговором...

С тех пор Лагунову казалось, что Олежка обязательно приедет после армии сам. Снилось: стоит и стоит на проходной солдатик, стриженный под ноль, как тогда, на присяге.

Раз услышал Лагунов в цехе, как кто-то крикнул: на проходной служивый, не к тебе ли? Опрометью побежал, держась за грудь.

- Олег! - и хватнул пересохшим ртом.

Солдатик оглянулся и оказался плотным цыганистым малым... Не он, не он.

Ушел Лагунов, сутулясь, весь вечер опять просидел за письмом, которое снова не отправил... Наливал он горькую в стакан и жадно глотал на подоконнике. Эх, Олег, Олег!..

...Из задумчивости Лагунова вывел телефонный звонок.

- Механик второго цеха слушает.

- Лагунов Павел Андреевич? Выйдите на проходную номер два, вас тут ожидают. Говорят - сын...

Павел Андреевич поперхнулся. Бросив трубку, он выскочил из кандейки, кинулся бежать.

- Володь! Можно мне уйти? Сын приехал! И отгул бы на завтра.

- Рад за тебя, - ответил зампотех, посвященный в семейную драму Лагунова. - Иди, Паша, звякнешь, если что...

От яркого солнца, хлынувшего в глаза после люминесцентной лампы, от радости и волнения все вокруг потемнело... Сын неловко поднялся с лавочки Лагунову навстречу.

- Здравствуй, сынок... - Лагунов прижался щекой, обнял. Неуж в отпуск через полгода отпустили? - А ты чего, замерз? - и почувствовал, как по подбородку побежали мурашки.

Сын закивал. Бледный, небритый Лагунов хотел перехватить портфель, но сын не позволил. Они зашагали рядом, и звуки шагов сливались, как в строю.

- Ну, как ты там? Рассказывай... - Лагунов все поглядывал на Олега, словно боясь, что тот исчезнет. Пятнадцать лет, считай, не видались! По лестнице навстречу им прошла соседка, но Лагунов даже не поздоровался.

- Располагайся. Покормлю тебя сейчас, а то давай ванную горячую с дороги... Водку пить будем?

Сын застыл перед фотографией Лагуновых - старой, еще до развода снимались. Поза его со скрещенными на гру-

ди руками показала Лагунову какой-то напряженной, неестественной.

- Чего тужишься? У меня готово все, прошу к столу.

Павел Андреевич выпил стопку в один глоток, захрум-кал огурцом. Олег свои семьдесят выцедил лениво, не морщась. Сидел, смотрел отрешенным, льдистым взглядом. «Когда и научился так пить?»

- Еще по одной? Да ты налегай, не стесняйся...

Вторую Олег выпил подобно первой. Лагунов закурил, и вдруг ему показалось, сын закачался, удалился от него за стеной сигаретного дыма.

«Что я тереблю-то его? Нелегко парню. Настроили. Да у самого, поди, неприятности, может, девочка?»

Олег сидел, обхватив подбородок рукой, не шевелился, словно изваяние...

«Что с ним? Нет, встряхнуться ему определенно нужно, а то как неживой», подумал, а вслух сказал, коснувшись холодных пальцев сына:

- Давай, Олег, рванем в кабак... Развлечешься...

- Нет, - отрицательно помотал головой сын, - что, маму ты любил? Меня?

- Сынок, сынок...- заволновался Павел Андреевич. В глаза попал дым, они заслезились. Затуманенным взором Лагунов смотрел на Олега и не видел его, но чувствовал взгляд какой-то нечеловеческий, пронизывающий беспощадный...

- У матери ты спрашивал об этом? Она назвала тебя чистоплюем...

- Знаешь, сынок, - слова потекли из Лагунова помимо его воли. - Не подумай - что оправдываюсь, перед Зиной я... Не виноват. Перед тобой, может быть. Я в деревне вырос, там эти городские штучки называются проще: блядство! Мой отец лютовал выпивши, все в доме наперелом. Мама хватала в охапку меня, братишку и опретью к соседям, кто бы от ночи темной спас. Я подрастал, говорила: «Нагляживайся Пашенька, а жонишься, не ступай на батьков след, чередом бабу веди, не обижай». Я в силу вошел, схватился раз с отцом, так меня же мать чуть не съела: «На кого замахнулся?» А я ее защитить хотел. Потому и подался в город, в технарь.

Сам женился, на руках Зинку носил, а потом и тебя. Соответственно, ждал такого же отношения к себе. А мать твоя подсмеивалась надо мной, «куркулем» крестила, было бы хоть за что. Деревней, мол, от меня за версту прет! Раз это так плохо, замуж зачем шла? Зачем тебя рожала? Как ни жилось, а поклялся я: поддавши не драться, голоса не повышать. Клятву держал. Приду хмельной, лягу на тюфяк, на пол, а ты по мне ползаешь и играешь. Зинка рычит: «Пьянь, дрянь, алкаш...» А я выпивал-то не каждую неделю. Но она все сердилась, за стол, бывало, не пускала. Так ты маленький куски мне таскал... Ну не обидно ли за нас, за мужиков?.. - Лагунова пробили слезы...

- Ближе к теме, отец...

- Так вот, - заторопился Лагунов, - на завод к нам москвичи какие-то приезжали, писатели или художники, дьявол их разберет, и видно, Зинка, што ль, была в актовом зале? Я на такую ерунду и не ходил сроду, ну, а женушка моя прельстилась. Зашептали мне, загрозили, что бабу провороню, так я решил проверить. Ушел на работу, а через три часа назад. На столе коньячок, Зинка с москвичом на диване. На том самом, где со мной спала, представляешь? «Иди, Пашенька, денежки зарабатывай!» Лагунов злобно сощурился, передразнивая... Ясно, я дверью хлопнул, пошел по общагам скитаться. Подплывала подруга Зинкина ко мне: мол, хватит уже, роману давно конец, иди домой... Только я не мог простить такого... Приходил домой, когда тоска заедала, да увидел на столе конверты с московским адресом. Это уж не блажь, раз сама! Туда! Писала... Чуть не стошнило меня... А развели нас скоро, и тогда она в Москву смоталась...

- Но почему ты не писал, отец?

- Как не писал! Да у меня их... Я только и думал, как ты там с чужим дядькой... Не обижал тебя?

- Скорее я его обижал... - Олег усмехнулся. - Письма покажи.

Лагунов вскочил, все поплыло. Оглянулся, волосы на затылке зашевелились. Поодаль на диване, на коленях художника, одетого в черный костюм с бабочкой, сидела бывшая женушка, раздетая догола, вся в синяках...

- Мама! - завопил Лагунов...

- Мама у меня хорошая, - донеслось до него как сквозь сон, - а вот ты сидишь и плетешь тут...

«А? Письма... Письма, да где же они?» Лагунов лихо-радочно рылся, раскидывая по полу вещи, документы... Какая-то вазочка упала и разбилась, он даже не заметил. На кухне было тихо. Заглянул и... через стеклянную дверь никого не увидел. Олег как растворился. Противно засосало под ложечкой, спина словно инеем покрылась: «Стекло становится невидимым в воде!» - ударила в голову Лагунова нелепая мысль. Почти протрезвев от ужаса, Лагунов приоткрыл дверь. Олег сидел, по-прежнему скрестив руки, не мигая глазами.

- Что с тобой, отец?

- Уфф... - выдохнул Лагунов. - Померещится же такое... Да вот, с письмами я все... А, вот они...

Он стал вытаскивать ящик из письменного стола и опрокинул его. Руки не слушались. В дверь длинно позвонили.

- Олег, открой! - Олег не пошел, и Лагунов опять глянул. За стеклом было пусто. Наконец он открыл дверь, упала на пол телеграмма.

- Вот письма, Олег!

Плыл вязкий, удушливый запах горелой резины. Лагунов хватанул бутылку, отпил из горла. Вчитался. Буквы прыгали, сливались в хоровод. «Олег разбился... Похороны... Зинаида»

- Зи-на-а! - закричал неистово и дико Лагунов. - Олег! Мама! Помо-гите-е! - Разбил Лагунов стекло, укравшее Олега, топтал письма ногами... Выбежал на площадку, стал биться головой о серую бетонную стену . . .

- ...Спасибо, - сказал врач, когда Лагунова унесли. - Вы сообщите завтра в домоуправление, чтобы квартиру закрыли. Боюсь, это надолго. А раньше вы за ним ничего не замечали?

- Да нет, - вздохнула соседка, - только по лестнице нынче все Олега поминал, а шел-то один... Потом уж, когда вызвали, то телеграмму увидели... Вот что горюшко-то делает. А так худого я о Паше не скажу - вежливый, уважительный...

## ПЫЛЬ

Лейтенант появился на станции «Скорая помощь» в пересменок, вошел в комнату отдыха, поздоровался, представился и спросил: Филин Иван Леонидович здесь?

- Я Филин, - оторвался Иван от шахматной доски, - чем заинтересовала милицию моя скромная персона?

- Родились в деревне Славино Вологодской области?

- Да, - пытаюсь сообразить, зачем милиционеру место рождения, подтвердил Иван.

- Писем-то почему не пишете, Иван Леонидович? Серьезный вроде человек, в шахматы вон играет... - И уходя, добавил: - Неудобно читать мораль, но на несколько строк родителям немного времени нужно... Старики в розыск под- али... Не стыдно?

Иван почувствовал, как зажгло щеки, будто после бритья дешевым одеколоном побрызгал.

- Во, отчитал, - поднял большой палец правой руки Толик Кенжибеков, соперник Ивана по шахматной доске, - а чо, Ваня, отпуск летом, в деревне красота!..

- Красота! - окрысился Иван на друга, - я же в мае отгулял, забыл? Забелин не отпустит...

- Хочешь, вместе сходим, а то и всем гаражом заявление подпишем: так, мол, и так...

- Брось шутить, - отказался Филин, - схожу сам, побазарю, а там увидим.

Не предполагал Иван, что милиционер заставит его размышлять и более того - безотлагательно к действию побудит.

По дороге в общежитие Филин завернул на почтамт, испортил не- сколько телеграфных бланков, никак не мог найти самых нужных слов. Разнервничавшись, он написал и подал телеграфистке за стекло: «Жив. Здоров. Иван». Девушка

посмотрела удивленно, но телеграмму приняла.

А вечером, когда Иван добрался до кровати, память вернула его на самое начало «десятилетнего круиза» и понеслась, повторяя, города, женщин, места работы...

Из родной деревни вырвала Филина армия. Насмотревшись за два года на интересную городскую жизнь, возвращаться в глухомань Иван не пожелал. Обосновался в Вологде, устроился на подшипниковый завод «крутить баранку», знакомая работа. На заводе сдружился с Маринкой Воркуновой, приятной наружности девицей. Полгода не погуляли, закатали свадьбу. Это в песне - резной палисад, а жить-то пришлось по разным общежитиям. К родной жене по воскресеньям в гости ходил, с документами к тому же, а то и не пустят, бывало. Зато потом, когда начальник цеха (как не помянешь мужика) выбил для молодой семьи комнатку-семи-метровку, оба с женой на седьмом небе от счастья были.

Памятно: устроил Марийке сюрприз, молчал, секретничал, успел за неделю оклеить и мебель самую необходимую завезти: диван, детскую кроватку, стол. Доставил жену с сыном из роддома: «Вот здесь, Марина, будем жить...»

Маринка всю ночь не спала: полежит, встанет к окну, к двери подойдет, к стене: «Вот здесь, Ванечка, поставим холодильник, а здесь шкаф...»

Сладкая истома охватывала Ивана при виде довольной и счастливой жены. А как бросались одновременно к детской кроватке по первому писку Игорька! Только теперь понятно - самое счастливое было время!

Анекдотов о тещах немало по свету ходит, не на пустом слове держатся, как пить дать. Непонятно, за какие грехи невзлюбила Филина теща, в натуре анекдот. Случайно подслушал, как нашептывала Марийке: «Не облакачивайся, если ум есть, посмотри, какая поглядка у него цыганская! Бровь одна ломаная, погоди, обманет тебя... Знаю я их... Волос, видишь, кучерявый, светлый - аккурат жох!»

- Что ты, мама, Ваня у меня самый хороший, самый добрый, - отговаривалась Маринка, а Иван злился, виду не подавал однако, тем более, что к его родичам жена хорошо относилась. Ругались с Марийкой редко, да и по мелочам в

основном, быстро мирились, не поминали потом. А конфликт нышел- скажи кому- засмеют. Игорьку шесть исполнилось, Иван после работы в «Детский мир» проехал, купил сыну большой самосвал. Дома разбаловались: ползали на коленях по полу Игорь с новой машинкой, Иван со старенькой: «Б-ж-ж-ж... Моя лучше, - доказывал сын отцу: больше увезет и сваливает сама...»

- Нет, моя, - упрявился Иван, - моя быстрее ходит...

Сынишка и уснул с самосвалом, а Маринка завелась, как натуральный самосвал:

- Вон весь угол машинами заставлен, ничего другого не знаешь...

- Ему нравится, - пытался оправдаться Иван, - да и что в этом плохого?

- Ты что, хочешь сына шофером сделать? Погляди на себя: руки черные, под ногтями грязь, воняешь бензином...

- Давно ли чистюлей такой стала?- удивленно спросил Иван и нагрубил. - Когда говоришь - думай! Я тебя кормлю этими руками... Хлеб-то не пахнет?

- Кормилец выискался! - взбесилась Маринка. - Постыдился бы говорить, две сотни в месяц! Девки на шлифовке больше получают!

Шофер... Крепко обиделся Иван, впервые лег спать отдельно от жены, разбросив на полу тюфяк. С неделю молчали, не замечали друг друга. Первой не выдержала Маринка. Скользнула ночью к нему под одеяло, прижалась грудью, коснулась пальчиками напрягшегося живота и спустила руку чуть ниже... Невероятным усилием воли подавил Иван желание повернуться к ней лицом и овладеть горячим, жадным до ласки, ждущим, желающим сближения телом. Она разрыдалась: «Ты... Ты... Робот, не человек... нет!» и убежала на диван.

Назавтра потребовала справку о среднем заработке. Через время развод. Иван в общежитие обратно засобирался, вещи складывал. Игорек заплакал: «Папа, не уходи», и хватал за руки. Филин и сам прослезился: «Не плачь, сынок, я буду каждый день к тебе ходить, а летом поедem в деревню к бабушке с дедом». На заводе Маринка подошла: «Уезжал бы

ты, Иван, не надо ребенка рвать, не игрушка он, пусть при-  
выкает без папки...»

И Иван уехал. Уехал скрытно, будто вор, не попрощав-  
шись с сыном. Так вот и начался этот самый, вроде как и  
вынужденный «круиз» по городам Советского Союза. Ярос-  
лавль пришелся по душе Филину исконно русской, старинной  
красотой, да и волжане народ веселый, добролюбивый. Почти  
год прожил там Иван, сосущая боль в левой стороне груди  
притуплялась, хотя детские протянутые ручки снились часто,  
не забылась и Маринка тоже, если сознаться честно.

Может, оттого и не выгорело с Леночкой Паклиной,  
чистенькой, наивной девочкой - Маринке до нее далеко. И  
понимала: задумается Иван, а она: «Ты, Ваня, съезди к сыну,  
может, успокоишься. До Вологды рядом, за выходные обер-  
нешься...» А Иван откладывал со дня на день, так и не со-  
брался. Домой родителям сообщить - развелся, с другой живу,  
не осмелился, да и как? Каждый отпуск возил в деревню  
Марийку и сына, а тут на тебе подарок. Обождешься моло-  
ком и на воду потом дуешь, истинную правду говорят. Не-  
ожиданно собравшись, Иван бросил Ярославль. Нет, к Ле-  
ночке претензий не имел, а напротив... Забоялся привязаться,  
попасть в зависимость.

А потом закружило... Это дело - менять женщин - са-  
мая что ни на есть зараза, стоит втянуться... Иван втянулся:  
поменял после Леночки десятка два, но ни одна не смогла  
зацепить за душу, как когда-то Марина. Сам не допускал до  
того, вернее будет. Сходилась легко, расставался еще проще:  
«Привет!» и отчаливал.

Оставляя очередную подругу, Иван всегда переживал и  
страдал, наверное, даже больше, чем сама жертва. В такие  
минуты часть вины он перекладывал на далекую бывшую жену.  
Слал на ее голову проклятья: «Чтоб тебе подвернулся папуас  
какой-нибудь, вспомнила бы Ваньку», или: «Чтоб тебе ни  
дна, ни крышишки, ни мужика, ни сберкнижки...» И злился  
на себя, понимая, как это нелепо и глупо.

Маринкин урок Филин запомнил: собираясь в гости к  
женщине, придирчиво рассматривал свои руки и затевал стир-  
ку. Двойная польза - чистое тряпье, а главное, отмытые ладо-

ни- прямо начальник! Ему доставляло удовольствие видеть, как млеет объект ухаживаний. С физической близостью Иван не спешил, а получив свое, терял интерес. И все-таки надеялся и верил: вот наступит миг, встречу ту, которая затмит и развеет Маринкин образ. Поэтому и летел, как желтый лист с дерева, все дальше и дальше, обрастая попутно ворохом различных профессий. Тихвин, Петрозаводск, Мурманск...

Прозрел неожиданно: ни одна не сможет затмить то, чего затмить нельзя. Там, рядом с Маринкой, остался сын, маленькое нежное существо, на которое Филин променял бы, не задумываясь, всех самых красивых женщин. И он сел в поезд... В последний момент, когда проводница объявила: «Вологда», передумал: «А вдруг она замужем? А он другого папой называет?». Так и проехал, закинуло в Алма-Ату.

Руки стосковались по баранке: устроился водителем. Вначале водил фургон «Автомастерская», потом случай свел с Толиком Кенжибековым, подружились, и Толик переманил Ивана в сантранспорт. То, что не смогли ничем выморозить мурманские северные ветры, здесь улеглось и забылось под лучами южного солнца: Маринку он забыл вместе с сыном и, самое страшное, не вспоминал родителей. Последнее письмо Иван отправил из Ростова-на-Дону, лет пять назад: «Активно строю коммунизм, приближаю светлое будущее человечества»

«Прав лейтенант - надо навестить стариков», - засыпая, думал Иван...

Утром, в кабинете начальника Филин толкнул речь:

- Аркадий Петрович, в связи с перестроечным процессом в стране мне необходимо взять расчет и вернуться на родину.

- Интересный ты мужик, Филин,- хитро, беззлобно сощурился Забелин. - А здесь у нас Турция, Ирак? Мохаммед какой-нибудь заявится... М? ..

- Сельское хозяйство собираюсь поднимать, - с шуточной напыщенностью, которая никогда не принимается за чистую монету, продолжал Иван .

- Балабол, говори толком, зачем пришел? Опять женишься? Сколько дней нужно: четыре, пять? Ну?

- Я не шучу... Родители меня потеряли: писать писем не умею...

Разбрасываться шоферами, да еще такими классными «кадрами», как Филин, Забелину не хотелось.

- Сколько ты не был на родине? - уже другим, деловым тоном спросил он.

- Почти одиннадцать лет.

- Прилично... Но тем более доедешь, может, захочешь обратно. Договоримся так: неделю оформим отгулами, плюс выходные и добавь десять дней за свой счет. До Колымы съездить можно и подумать время будет, как следует... Согласен?

- А если там останусь? - упрямо гнул свое Иван.

- Телеграфируй... Трудовую вышлем...

- Как, отпустил? - встретил цветущего Филина Кенжибеков.

- Канэчна! - хлопнул Иван друга по плечу. - Я же ему сказал: не отпустишь, Кенжибеков Толиген Выспаевич грудью на амбразуру ляжет, но взбунтует весь гараж...

- Что и требовалось доказать. Молодец! - обрадовался удаче Филина Толик .

Ивану решительно везло. В «Трансагентстве», думал, делать нечего: лето же, едут люди... Но зашел - у транзитного окошечка двое военных и только. Прямо чудеса!

- В Москве из Домодедова переедете в Быково, - пояснила кассир, протягивая билет, - отметитесь у дежурного по аэровокзалу... С вас восемьдесят два рубля... Счастливого пути...

Потом Иван мотался по городу в поисках подарков. Отцу купил архаровую шапку и меховые рукавицы, матери пуховый платок и яркие вязаные варежки, хотелось порадовать и, вконец расщедрившись, приобрел штаны с верблюдом на кармане, аж за двести пятьдесят рублей: « Попрошу маму Игорю отправить, от меня-то Маринка вряд ли позволит парню взять...»

Собираясь в дорогу, Филин философствовал: «Интересная штука память: живешь, ни о чем не думаешь, все чинно, тихо, гладко, а стоит копнуть - началось!...»

Взять к примеру Славку Чуваша, ростовского бомжа,

плюгавенький, трезвый слова не проронит, суетится, а налей стакан - раздуется, как сытый голубь, и начнет молоть...

«Ты, Ванятка, тот же самый бомж, - ковыряя в зубу, толковал он, - только с паспортом в кармане. Назад отсюда дорога - на родину, а вперед станешь таким, как я... - И окосев совсем, нес: - Срок ты не тащил, вижу, издалека, и кожа у тебя другая, и говор не здешний, не городской. От кого скрываешься? Поезжай домой, пока еще молод, женишься... - А узнав, что Иван был женат и сын есть, добавил: - Не найдешь ты тут... счастья. Клин клином вышибают, родит и другая одного, двух... и все в ажуре».

- Нет, - отказался Иван, - жену предал, а сына не могу... И не буду.

В самолете Иван думал: хоть бы одним глазком Игоря повидать, но не получилось: удалось купить в Вологде билет на Кич.-Городок, так что времени на посещение сына не осталось, да и боялся Иван этой встречи. С самого момента вылета из Алма-Аты Филину казалось, что минуты идут слишком медленно, и он, разгоряченный, в спешке торопит их и обгоняет...

На рейсовый автобус «Кич.-Городок - Славино» Иван опоздал, но ночевать в райцентре не захотел. Охватило такое нетерпение, что пошел пешком: две тыщи верст за сутки пролетел, а тут какие-то тридцать км... Попутки к тому же...

Расшагавшись до зуда в ногах и неумемной радости, Иван свернул с тракта и сбавил прыть: шагал старой, поросшей колючковатой травой дорогой. Дорожки здешние Филин помнил досконально: до службы еще выучил, приходилось кое-где земельку спиной тереть, машина старенькая была, ломалась часто.

Косковский крюк выпрямлю, рассуждал про себя Иван, пойду через Черную, километров на двенадцать ближе будет...

Так незаметно, рассуждая, Иван миновал Черную, Жаравиху, и впереди, совсем рядом, разделенное ельником, пряталось Славино. И тут он услышал за спиной громкий рев нескольких мотоциклов. «Молодежь, наверное, с Малиновицы, с танцулек катит...»

Иван оглянулся. Мотоциклов было пять. Неслись они с пригорка: четыре первых, сверкнув фарами, проскочили мимо, за водителем по пассажирке. Пятый притормозил. Мотоциклист сказал ломающимся юношеским голосом:

- Садись, дядя, подброшу...

- Езжай! - махнул рукой Филин. - Рядом тут, дойду...

Парнишка, пожав плечами, поправил шлем и, газанув с места, уехал. Филин успел рассмотреть кожаную темную куртку да пятнистые, наподобие афганских, штаны.

«У меня почти такой же «Минск» был, стоит, наверно, в сарайке, ржавеет, если, конечно, батя не продал кому-нибудь...»

Опять память не жалела Ивана: «Любила Маринка с ветерком... прижметя - ух! Первый раз тогда приезжали, как поженились... А на горохе-то ночью от меня спряталась, пошутить решила, думала, не найду... А я завел свои «Минск»! И давай поле утюжить, едва не задавил, как куропатку. Чуть с ума не сошел с перепугу, а ей хоть бы что! Потом Игоряха подрос, возил разом обоих... Сын все спрашивал: «Папа, а когда вы расту, ты мне мотоцикл подаришь?..» - «Расти скорей, - отвечал Иван, - я тебе новый куплю!..»

«Вот и купил, - перехватило Филину горло, - а Игорек, наверно, большой, ведь восемнадцатый год. Какой он?»

Напрягался Иван, но не мог представить сына взрослым. Игорек вспоминался или совсем пеленочным, или шестилетним и обязательно с прижатым к груди самосвалом...

Подойдя к деревне, Иван увидел на придорожном столбе табличку: «Село Славино». «Вот и деревня селом стала, пока я блудился.»

Брел Иван селом и отмечал: «ДК новый, каменный, надо же... Магазин еще второй появился, столовая, детсад двухэтажный, спорткомплекс, церковь старая лесами обнесена - реставрировать собрались, не иначе... Домов прибавилось, а по окраине еще и типовые из бруса. Нет, не верил Филин своим глазам. Мерещился во всем подвох: «Может, сплю и вижу,» - думал.

Чем ближе Иван подходил к родному дому спящим селом, тем сильнее подкидывало, подкатывало к горлу...

Ныло так, что Ивану показалось: сплюнь он густую, тягучую обволакивающую гортань слюну, и выкатится маленький комочек прямо в серую, дорожную пыль...

Окинув взглядом пятистенки, не увидел Иван обветшания, которого ожидал, все крепко, надежно, чисто. Даже сарайка с подновленной крашенной дверью и ограда - не жерди, как раньше, а штaketник. Снова удивился Иван: «Как только у отца руки доходят? Ведь седьмой десяток старику?»

Повернув кольцо, Иван толкнул притвор легонько... Не заперто. Поднялся, стараясь не скрипеть ступеньками, по крыльцу, шагнул в коридор, оттуда осторожно в избу. Поставил портфель, в котором вся-то ноша, кроме подарков - бутылка водки да кило шоколадных конфет. Стащил с уставших ног кроссовки и, не включая света, прошел к столу, сел на скамью. Сидел, молчал.

Из родительской спальни приоткрылась дверь: «Ты, Игорек?» - «Я, мама...»

- Господи! - мать посеменила к сыну, не доходя, завернулась обратно, потом снова к сыну.

- Господи!.. Батько... Чукося... Ванюшка... Дитятко...

Отец щелкнул выключателем и остановился, жмурясь в проеме: голова блее снега, худое тощее тело в огромных широченных трусах.

Мать, наконец, досеменила до вставшего ей навстречу Ивана, упала головой ему на грудь и разрыдалась...

- Полно изводиться-то! - уговаривал отец. - Накрывайка лучше стол... С дороги ведь...

«Да, - грустно заметил Иван, - время родителей не пожалело...» Потом, когда, закусывая наскоро порезанными огурцами, пили теплую противную водку, отец рассказывал:

- Игорь-то второй год у нас живет... Как Маринка замуж вышла... Он и раньше писал: возьми, дед, к себе, да как заберешь - матка ведь...

- А где он сейчас?

- Катается где-нибудь... головастый он в вопросах техники, весь в тебя... Как приехал, мы с бабкой свет ровно увидели... помогает. Круг дому все ведь он... Одна беда: в армию скоро...

- У вас, гляжу, тут строительство...

- А, - махнул рукой отец, - больше для показа, и поздно зашевелились... Помнишь-кося, в сельсовете более десятка деревень было, а теперь три вместе с нашей осталось. Строят, а молодежь все равно не особо держится... Уезжают... Пролитое полно не бывает...

За окном протарахтел мотоцикл, хлопнула дверь сарайки.

- Вот и Игорек, - вымолвила мать, и Иван подобрался...

- Здравствуйте, - поздоровался вошедший. Медленно скользил Иван взглядом по пятнистым афганским брюкам, кожаной куртке.

«С лица весь Маринка», - мельком, как-то вяло отметил он... Но чем пристальнее всматривался Иван, тем хуже видел. Перед глазами плескался мутный апрельский ручеек, а в нем самодельный кораблик из спичечной коробки. Кораблик наткался то на один берег, то на другой, а то кружился на одном месте, попадая на стремнину, и плыл дальше, пока не размок... Мальчишка, бросив хворостину, которой направлял суденышко, стоял и, размазывая по щекам слезы, плакал...

Иван не видел, как заблестели глаза сына, но отчетливо услышал, как Игорь выдохнул всего одно слово:

- Папа...

## УДАРЬ КУМИРА ДЕТСТВА

Голос матери звучал негромко, монотонно, беззлобно. Битых полчаса она говорила, говорила, говорила...

- Связался с Филиненком... Вот уж, покажется он сюда, скажу ему, роже бесстыдной... Не помнишь, как и домой привели... Дело ли, Сереженька, эдак пить... И где только находят? Худо ешшо строжат, шибче бы надо...

Лежал Сергей неудобно. Хотелось повернуться, но он боялся заскрипеть. Дверь в избу отворилась, на пороге возник отец. Увидев открытые глаза сына, он засмеялся:

- Выспался, гуляка? Людмилку-то где потерял? - и видя, как недовольно морщится Сергей, щелкнул себя по кадыку, растопырил пальцы: мол, давай опохмелю.

Сергей поднялся с кровати, помотал отрицательно головой, натянул брюки и вышел во двор. Постоял босиком на росной прохладной траве: «Заросло как все...», затем вернулся в сенник, нашарил в полутьме литовку, проверил, не хлябает ли - и снова вышел во двор. Косил яро. Коса брала плохо, но Сергей не обращал внимания: дергал по одному месту по три-четыре раза, пока земля не становилась гладкой.

Вспотевший Сергей сгреб косой траву в кучу и кинул в хлев поросенку.

- Не вали много-то, Сережа, обкормишь, - мать увидела в окно труды сына. - Эк ты тут все вытеревил. Отвык, поди, косу-то в руках держать?

- Не совсем.

Сергей сел на завалинку к амбару и закурил. Голова не болела, но после вчерашней попойки было муторно.

Мать аккуратно подчистила оставленную траву, сложила в хлеву.

- Мам, а Иван давно в деревне?

- Второй год. Болтун хороший твой Иван. Больше десяти годов шлялся неизвестно где. А приехал - Ульяне одни слезы... Пьет! Где бы сосчитать!.. Поперву виду не казал, а как Игорь ушел на службу, понесло. Сын-от не в его, работной. А Ваня бобыль, анкаголик, лодырь. Хвастал, как объявился: гусей заведу сотни три, уток заарендую, трактор куплю... Ничего не идет... Не парися с ним, не люблю я его...

Вышли отец и Славка.

- Я на работу, «заместителя» беру, ты выхаживайся. Косы подбери, завтра с утра махнем на Кулиги.

Сергей умылся, одел рубашку, плетенки на босу ногу и пошел за дочерью к бабке Агриппине.

В деревне Сергей не бывал года три. Отпуска выпадали по графику то в апреле, то в октябре- самое неудобное время разъезжать. И работы нет, и добираться неловко. Да и ехать одному невесело.

Вчера, только они со Славкой и Людмилкой переступили порог, мать расплакалась от радости, а потом огорошила: почему Галину да Витьку с Осинкой не привез? А у жены не отпуск. Всех четверых ребят сюда везти дорого и покоя не будет. Потому Сергей взял с собой старшего Славку и дочь.

Агриппина приветила Сергея теплыми блинами.

- Садись-ко, Сергей Палыч, отведай.

Людмила была за столом, перед ней стояла чашка клубники и кружка молока.

- Мать, у тебя кваску не найдется? - усаживаясь рядом с дочерью, спросил Сергей.

- Есека, как не быть, - бабка принесла с коридора литровую банку, и Сергей выпил не отрываясь.

- Добрая штука! Ну, спасибо, мать. Люда, мы завтра утром на сенокос. . .

- Далеко? - Агриппина устроилась за столом напротив Сергея и внучки.

- На Кулиги. Вот, думаю, стоит ли дочку с собой брать, мала...

- Стоит, Сережа. Эта рядом. Пусть навикает, наглядывается... Только аккуратнее... К костру не допускай и под косу не попала бы...

Дочка обрадованно захлопала в ладошки.

- Я пойду на сенокос! Я пойду на сенокос!

Вернулся домой Сергей один.

- Где Люся? - мать собирала на стол.

- У бабки осталась клубнику подчищать. К вечеру обе придут. - Отказавшись завтракать, Сергей занялся подготовкой к предстоящей косьбе. Снес с подволоки косы. Выправил захваты, расклинил, чтобы не болтались на чернях. Каждую нарезал, обмотал тряпками режущие части, а потом все четыре косы пристроил к раме велосипеда.

Тут некстати Сергей подумал о Гапке.

«Кто она мне? А зову матерью... Родную законную тещу язык не поворачивается мамой назвать - Нина Андреевна и все. Хотя неизвестно, что было бы, будь жива Лиза... Может, и с Галкой породнились бы... О чем я думаю? Какое значение имеет какая-то бумажка, главное человек... Ах, Лиза, как глупо...»

В городе Сергей забывался. Работа, жена, дети, книги, беготня с талонами по магазинам, обычные житейские хлопоты. Здесь, в деревне, память издевалась: рисовала сидящую на берегу Лизу...

Сергей тряхнул головой: ему стало не по себе от стыда перед оставшейся в городе женой.

«Чувствует, что ли? Может, то и не поехала... если бы очень хотела, отпуск можно было взять запросто...» И все же Сергей доволен женой, а тещей - тем более. Когда узнала она о разрыве зятя с дочерью, приехала из Ленинграда и пришла к Сергею в общежитие. Каких угодно оскорблений ждал Басков, а она: «Дети тебя ждут, Сергей Павлович. Скоро вернешься? Что передать?» - «Стыдно мне назад, перед Галиной стыдно» - «Стыд не дым, глаза не выест, приходи к сыновьям, не к Галине так...»

Месяца через два после смерти Лизы Сергей ходил первый раз к сыновьям. Потом вещи перенес. Внешне все выглядело вполне благопристойно. Вместе садились за стол. Говорили хорошие слова. Помогали друг другу в заботах, а спали врозь. Кровать свела их, когда Сергей из деревни Людочку перевез. В ту ночь Галина любила его горячее, чем в первую, супружескую.

И не мог Сергей уразуметь, как он сумел ей изменить,

развестись, уйти и столько времени истязать...

- Здорово! - за штакетником показалась широкоплечая, ладная фигура Ивана Филина. - На сенокос? - мотнул он головой на велосипед.

- Привет. Да на Кулиги...

Иван зашел в ограду, пожал Сергею руку, сел рядом и закурил.

- Мои от коровы отказались, косить не надо...

- Ваня, а чего тебя Зырин вчера календарем назвал?

- А... Это я спьяну на проводах у сына дедку Витю-почтальона календарем окрестил, перепутал. Он остался почтарем, я стал Календарем...

- Не обижаешься?

- На кликуху? Жалко, что ли...

- А я тебя в Вологде искал. На свадьбу позвать хотел. В цехе сказали, что уволился, а Маринка - уехал, куда не знаю...

- В Ярославль я подался. Видишь, Серега, тридцать девять годов прожил, полстраны объехал, а хвастать нечем, пыль одна... А как ты? Вчера так и не поговорили, нажрались. А ты быстро «поплыл», я тебя насилу доволок.

- Я, Иван, почти не пью. А вчера нашло... Мать сегодня все утро ругается . . .

- Моя тоже бранится, хоть и не часто керосиню. Зырины - те стабильно, почти каждый божий день причащаются... Чем тут заниматься, если холостой?

- Было бы желание, а занятий можно напекать. Просто привыкли за стакан держаться и ревим белугами, если отнимают... Все равно, Ваня, я с этим антиалкогольным указом Горбачева не согласен. Это, знаешь, после струга топором... Раз правишь, думать надо, предусматривать. Страна не лошадь, с места вскачь не побежит и резко не встанет...

- Да, Горбачеву и всем его помощникам наплевать на народ... Я по городам болтался, об этом как-то не думал, а пожил тут, наглядно... Людям мозги пудрят, вместо конфетки кукиш в рот суют и говорят: сосите... - Накурившись, Иван встал. - Ты, Серега, загляни к вечеру, сгоняем в одно место, насчет аккумулятора...

- Аккумулятора? - удивился Сергей.

- Ты мне вчера уши оплел: «Ванька, найди аккумулятор». Что, забыл?

- Не помню, - покраснел Сергей.

- Я помню... - Филин закрыл за собой калитку.

- Куда едем!? - кричал Сергей на ухо Ивану.

- В Малиновку, к дружку моего Игоряхи Женьке Лебеихину, - кося на бегущую под колесами мотоцикла дорогу, отвечал Филин. - Ты там молчи, я буду говорить, только если поддакивай, нам главное аккумулятор заполучить. . .

Двор Женькиного дома напоминал кладбище мотоциклов - такого количества вилок, рам, сидений, колес и других ржавых запчастей Сергей нигде не видел. Иван, засунув два пальца в рот, по-разбойничьи свистнул. Появившемуся пацану было лет семнадцать.

- А, дядька Иван...

- Здравствуй, Евгений. Письмо от Игоря получил, привет тебе...

- Мне тоже было...

- Женья, знакомься... Это Сергей Фролов, капитан КГБ из Вологды... Приехал мафию Кич-Городецкую выявлять... В общем, аккумулятор нужен позарез...

Строгое, чуть горбоносое лицо, коротенькая стрижка, накачанная, почти двухметровая фигура Сергея, по-видимому, соответствовали Женькиным представлениям о кэгэбэшниках. Он посмотрел на Баскова с нескрываемым интересом.

- Электронковский есть, новый, но с возвратом...

- Идет, спасибо, Женья... - сказал Филин.

На обратном пути Сергей ругался: обманул пацана...

- Успокойся, не твоя печаль... Я с ним рассчитаюсь... Чего тебе еще? Вот чудила! Дали аккумулятор: ездил, лови мафию!.. - хохотал Иван.

Обидевшись на Ивана за детскую выходку, Сергей прошел на веранду и улегся на кровать.

- Сережка, ужинать будешь? - заглянул отец.

- Нет, батя. Буди завтра раньше, косы готовы.

Отец ушел, а Сергей попытался уснуть. Но не спалось: вспомнилось детство. Серегины родители тогда жили не в Славине, а в Каменке, маленькой захудалой деревушке.

Ах, Каменка, Каменка: какие там горки, лес, речка.

Сколько приключений и выдумок пережито, а теперь - пусто: лет двадцать, как самый последний дом вывезли оттуда. Деревни просто не стало. Только запись в паспорте: родился в д. Каменка, Кич.-Городецкого... Школы там не было, и ребяты жила зимами здесь, в Славине. Школа-интернат, а на выходные на тракторных санях везут к папе с мамой. В интернате не так уж и плохо было: воспитатель, распорядок, кормежка четыре раза в день. Но местные пацаны не любили интернатцев и при удобном случае отбирали копейки, а то и унижали: били просто ради забавы. Особенно усердствовали братья Зырины и Володька Сычев - Сыч. С ними и славинские не связывались, а интернатцы - и вспоминать неловко. Опасаясь, интернатцы гуляли по несколько человек и поблизости с избой, где жили. Сережка учился в третьем классе. Раз припозднившись, шел из библиотеки. Откуда ни возьмись - Сыч и Зырины...

Сыча и младшего Зырина, Юрку, Сережка не боялся, они были ровесниками, учились в параллельном классе. Страшила Петька Зырин восьмиклассник, да и шестиклассник длинноногий Сашка не лучше. Пустился Сережка наутек. Понимая, что по дороге догонят, перелез через огород и сунулся по сумету, надеясь, что в снег они не полезут. Но Петька догнал и стал тыкать Сережку головой в сугроб. Сережка вертелся, кричал, пока снег не забил рот, нос, уши....

Тут-то и вышел на крыльцо Филин Иван, в его огороде закапывали Сережкину душу.

- Эй! Орелики! Мы ребята смелые, семеро одного не боимся? - крикнул Филин. Он тоже был шестиклассником, как Сашка.

- Ты чего, Филин, по зубам давно не получал? - завелся на Ивана Сашка. Иван не стерпел, схватил деревянную лопату, налетел на обидчиков. С разбега ударил Сашку черном в живот. Зырин завыл, а Иван перескочил изгородь и огрел по спине лопатой Петьку. Петька начал уползать на четвереньках, подбираться к жердям. Филин не пускал и бил лопатой. Когда Петька сумел выскочить из огорода и удрать, Иван вытащил из сугроба Сережку, достал валенки, вытряс снег. «На, герой, одевай. Проводить тебя или сам уйдешь?» - «Уйду». - «Ты не бойся никого, если что, мне говори, ладно?»

Серезжка смотрел на Ивана широко раскрытыми глазами. В один миг Филин для него стал смелее всех вместе взятых героев гражданской и Отечественной войн. Так Иван попал в Серезжкины кумиры, сам о том не догадываясь. Серезжка стремился перенять Ивановы словечки, прическу, походку. Кумир! Но Иван на другой день в школе Серезжку не заметил, не узнал, будто забыл обо всем. Кем был Басков? Интерналец, мелюзга, а они все на одно лицо. Понять это Серезжке не хватало ума, поэтому он держался в переменки рядом с Иваном, но Филин, однако, не видел его в упор...

Сергей рассмеялся: «Кумир! Тьфу, прости, Господи! Аферист он, вот кто». Вспомнилась служба в армии и весь спецвзвод десантного полка. «Взвод головорезов», так их иногда называли командиры обычных взводов. Из только призвавшихся отбирал капитан Генералов свою команду, отбирал придирчиво. «Ты, - он ткнул пальцем Сергея в грудь, - десять приседаний на левой ноге. Берем». Генералов видел, что Сергей приседает спокойно, не напрягаясь. Потом были тренировки: дикие до умопомраченья, изматывающие тридцатки, кроссы. И каждый день учеба убивать. Сергея считали одним из лучших «рубильников». «Да подай мне сейчас десяток Филиных - мало будет...» Сергею хотелось разозлиться на Ивана, но было грустно и смешно.

Отец разбудил Сергея в пять утра.

- Буди детей, батя...

- Славку можно, а Люду зачем?

- Буди, папа, обоих!..

Попили чаю, вышли на улицу, и Людмила закричала:

- Папа! А пусть меня Славик увезет на велосипеде...

- Нет, Люся. С косами неудобно и одному. Устанешь, на плечо посажу. А оттуда Славик тебя прокатит...

Когда Сергей с отцом и Людмилой дошли до места, Славка уже косил. Отец пристроился за ним, а Сергей, взяв свою косу, отделился, ушел в отнорок.

Захватив двухметровый покос, Сергей жалел, что узко ведет. Людмила пыталась растряхивать большой отцовский вал, но быстро устала и начала кувыркаться на скошенной траве, гоняться за стрекозами и лягушками.

...Полуденный звенящий зной, густой, плотный завис над пожней.

- Сережка! Покури... - доносился голос отца.

- Некогда! - отмахивался Сергей и все махал и махал косой. Отец пришел сам.

- Вот это дерябнул... Нам с маткой двоим за день столь не одолеть...

Утираясь, Сергей внимательно посмотрел на отца. Только сейчас он остро, с какой-то жуткой непонятной тоской заметил, как постарел отец. Как трясутся батины руки, как тяжело и хрипло он дышит... И сказал совсем не то, о чем хотел.

- Может, пацанов домой отправим? Жарко...

- Пускай едут, ежели охота, - согласился отец, - ты эдак пашешь, нам двоим на час работы осталось...

Дети уехали домой. Отец с Сергеем докосили участок и отправились пешком. Шли медленно, нога за ногу, и разговаривали.

- Худая жизнь настала, Серега, - жаловался отец, - ты погляди, магазин новый выстроили, а торговать нечем, пустой стоит. До че доживем? Куда все девалось, за какой-то год? Ведь прямо до смешного: робяткам конфетку негде взять, порадовать малышей нечем. Долго ли так будет, не знаешь?

- Откуда мне знать. Я не премьер, не президент. У нас в Вологде чего и есть, тоже по талонам, а пойдти объясни меньшому, что эти конфетки купить нельзя - талон надо...

- А народ в городе как?! Не сбунтуется? Довели ведь... Не хотелось бы: добра от бунта ждать - все равно, что молока от быка.

- Батя, может, через омут пройдем? Я хоть сполоснусь, а то липкий весь.

- Давай зайдем... Кто же довел страну до такого роззору и позору? Горбачев?

- Все они хороши, батя, сплошная мафия. Весь союз мафия! До вас, до провинции, еще докатится...

- Сын, а скажи, чего это такое мафия? Слышал - Ванька Филин говорит: мафия, да мафия, а теперь и ты...

- Мафия - это такие люди, которые хотят сладко пить-жрать, красиво одеваться, но не работать при этом...

- Это как Зырины, что ль?

- Во, во, - засмеялся Сергей, - только еще похлеще...
- Ну, тогда войны не миновать... - погрузнел отец.

На омуте творилось что-то невообразимое. Рвался в воду Сашка Зырин: «Петька! Петруха! Отпустите меня!» Сашку держали его брат Юрка и Володька Сычев.

- Смотри, - засмеялся отец, вся славинская мафия в сборе. Пьянющие опять.

- Погоди, бать, чего-то тут не то...

Сергей побежал к Зыриным.

- Что случилось, мужики?

- Петька, Петька утонул! Только что! - тонким срывающимся голосом провизжал Сычев. - Он с моста нырнул!..

- Батя, придержи их, - Сергей, не раздеваясь, с разбега кинулся в воду.

Над омутом воцарилась тишина. Смотрела на темно-зеленоватую гладь трясущаяся, напуганная происходящим, мелюзга. Сидели на прибрежном песке Вовка Сыч и Юрка Зырин, чуда ждали. Притих, перестал рваться из рук Сереежиного отца Сашка...

Ожидание растягивает время, в таких случаях минута за пять, семь принимается. Минута прошла, раздался истошный вопль.

- И-иии! Басков потонул!

Началась паника. Ребятишки с ревом бросились подальше от реки, отец Сергея кинулся к воде...

Омут - это все, что осталось от стоявшей когда-то над рекой мельницы. Прыгать с моста в речку чистое безрассудство. Высоко. Еще хуже то, что из-под моста тянется стлань, деревянные тычки: прыгающий может запросто угодить на них. Да и в глубине есть коряги и топляки, если ударишься - служи панихиду.

На глубине холодно и почти ничего не видно. Сергей держался возле дна, действовал на ощупь. Хотел уже вынырнуть и передохнуть, как в руку толкнулась человеческая скользкая нога. Схватив ее за щиколотку и сильно столкнувшись ото дна, Басков устремился к поверхности.

- Мужики, помогайте...

Зырины и отец кинулись к нему на помощь...

На берегу утопленника положили на спину и начали сильными толчками давить на грудь. Из рта Петьки потекла вода, резко пахнувшая сивухой. Сыч вертелся около откачивающих и бормотал:

- Это Филиненко виноват. Календарь хренов. У-у-у-у, доберусь я до него. Мы мирно пили, - объяснял он Сережке-ному отцу. - Филин подъехал на мотоцикле. Разделся на мосту и бух оттуда... Из нас никто такой дуростью не занимался. Вылез из воды и мимо нас одеваться... Мы кричим: приворачивай, Иван, хлебни грамммульку... А он с понтом: «Сам алкаш, но с хрониками не корифаню». И уехал. Петька и побежал на мост: «Стерьва прыгнул, и я соскочу...» Мы держать, а он меня с обрыва толкнул, у Сашки с Юркой вывернулся. Вот и прыгнул. Видишь, на лбу... ткнулся, видать...

В этот момент Петька дернулся, и его сильно стошнило.

- Живой! - закричали братья.

По берегу торопилась к ним медичка Светка Кузьмина, оповещенная кем-то из ребятишек...

Дома за ужином мать причитала:

- Вишь-ко, до чего пьяночка доводит!..

- Мама, я раз выпил, ты весь отпуск корить будешь...

- И буду. Не охота худа тебе. Не семнадцатилетка, выпил стопочку-хватит. Не жадничай, невелико добро... Вот доберусь - в газету напишу, чтобы совсем ее, заразу, отменить.

- Что толку, - вмешался отец, - свинья грязи найдет. Надо водку свободно продавать по дешевке. Кто пьет, скорей сопьются, непьющие останутся . . .

Сергею не хотелось слушать беззлобный спор. Поблагодарив, он встал из-за стола... «К Филину сходить?»

Ивана дома не оказалось.

- В ДК хотел, - сказала тетка Ульяна, мать Филина.

Сергей постоял в раздумье на улице, закурил, взглянул на часы: «Не поздно... Дойти до клуба? Может, фильм хороший?»

Навстречу попалась растрепанная Люба Прошкина, одноклассница Сергея.

- Здравствуй, Любаша. Куда разбежалась?

- Ой, Сережа, бегу участковому звонить: там Филина

Зырины убивают! Никакого сладу нет... - махнув рукой, она побежала дальше, а Сергей заспешил в клуб.

Заскочив в холл-прихожую, он увидел дикую картину. Иван в луже крови валялся на полу, а Зырины и Сычев топтали его...

- Стоять! - громко, пронзительно заорал Басков.

И, подпрыгнув к компании, он хлестко ударил ребром ладони Юрку Зырина по лицу, одновременно сшиб с ног Петьку, а Сычу так ткнул локтем в плечо, что Володька повалился на колени. Сашку ошеломила подобный оборот, он бросился к выходу... Сергей приподнял Ивана, потряс его легонько:

- Цел?

- Серега... - захрипел Иван, - пить...

Сергей, словно ребенка, вынес Филина на улицу, поставил на ноги.

- Идти можешь?

- Дай посижу маленько... Идем к колодцу, там посидим...

- Да, капитально тебя разукрасили... - умывая Ивана, пытался шутить Сергей, - они, что объелись?

- Скоты... Трахнули чем-то сзади по башке...

- Куда теперь, домой?

- Не... Мать заметит, с ума сойдет. Посидим на угоре за церковью, покурим...

Сидели, курили. И здесь Сергей неожиданно для себя признался Ивану, что в детстве стремился быть похожим на него...

- А-а, помню тот случай. Так то был ты? А я и не знал... А помнишь, на омуте я у тебя мотоцикла попросил до Каменки сгонять?

- Помню. Я его как раз купил. Жалко было, на реке Надька Спицина была... Нравилась она мне: боялся, жадным сосчитает...

Они проговорили бы, наверное, долго, но тут из-за церкви вырулил участковый. Заглушил мотоцикл.

- Вот вы где, боксеры! Говорил я тебе, Филин: добром не кончишь, если пить не перестанешь! Ладно, малолетки дерутся: руки чешутся, девок, которых нету, делят... А вы-то:

седина в голову, ум в задницу! Посмотри на себя: рубаха, места чистого не видно, вся в кровяще...

- Глянь, Серега,- толкнул Баскова Иван, - меня же разукрасили, как Бог черепаху, а он на меня...

- Дурак ты, Филин, кабы я не уважал твоего батьку, не поехал средь ночи в ваше Славино, самую дурацкую деревню на всем участке...

- Село, - поправил Иван.

- Иван не виноват: свидетели есть, да и непьяный он,- вклинился в разговор Басков.

- Виноват, не виноват! - передразнил участковый. - А вы знаете, кого я видел по дороге? Кудрявцева! Так-то! Непонятно? Председательский уазик ночью - в район. Зыриных повезли в хирургию. Они правы будут. У одного челюсть на боку, второй вообще блажит, за километр слышно. Костолом ты, Басков! Дойдет дело до суда, года три тебе обеспечено со всеми смягчающими: увечья все-таки, да плюс лечение оплатишь. Они это просто не оставят, выжмут стопроцентную выгоду... А Иван в стороне, он скользкий...

- А может, у меня тоже увечья: ребра, к примеру, сломаны, видишь, сижу еле, идти домой не могу... - затрясся Филин.

- Дружка спасай, я вас предупредил. людьми считаю, не как тех, но наш закон машина неразворотливая... Покажись докторам, справку возьми, да не мне тебя учить, ты мужик тертый... Бывайте, драчуны.

Участковый завел мотоцикл и развернулся, приподняв колесо коляски. Мужики выкурили еще по сигарете.

- Что, Иван, по домам? Гляди, какой туман наплывает, еще час - и в двух шагах ничего не увидишь. Как участковый доедет?

- Доедет... - Сергею показалось, что Иван думает о другом.

И вдруг:

- Серега, ты можешь сломать мне ребро? Хоть два... Давай.

- Крыша у тебя поехала?

Иван приподнялся, схватил Сергея за грудки:

- Ты! Благородная кровь, святая простота. Я с тобой,

как с человеком. Помоги уздечку на козлов одеть...

- Отстань, Иван, - отрывал от своей груди руки Сергей.

- Хочешь позволить гнидам радоваться? Условия диктовать? - Иван заплакал.

Сергей испугался. За свою тридцати семилетнюю жизнь мужскую слезу довелось увидеть второй раз. Первый видел по Пскове, когда служил. Посыльным он прибежал домой к капитану. Командир был пьян, а увидев Баскова, прослезился. Блестящие от слез, грязные, небритые скулы Генералова до того потрясли Сергея, что, вернувшись в полк, он доложил: капитана нет дома. Только на следующий день взвод узнал у Генералова в роддоме умерла жена...

- Иван, Ваня, успокойся... Не могу я, пойми...

- Можешь! - просипел Филин и отступил на пару шагов. - Давай!

Сергей осторожно пнул Ивана по ребрам. Иван пошатнулся, и злая ухмылка прилипла к его губам.

- Чего, как киска лапкой? Сильнее бей! Ну!

Непонятная сила подняла спружиненное Сережино тело и бросила навстречу Ивану. Филин, словавшись, отлетел метра на два и сильно ударился спиной об острый выступ валуна. Из ноздрей его потекли струнки черной крови...

- Убил! - схватился за голову Басков и кинулся к товарищу. - Иван! Ваня...

Сергей схватил Филина за плечи. Иван открыл глаза и растянул в кривую усмешку окровавленный рот.

- Осторожнее, упак. Ты мне, кажись, всю грудную клетку разворотил...

- Говорил я тебе, не надо...

- Да не ной ты, - едва слышно прошептал Филин, сморщился и добавил. - Помоги встать. Теперь все будет пучком. Понял?

- Может, в больницу?

- Э, нет, завтра утречком. Я работал в «неотложке», волоку в этом...

Сергей поднял Ивана, вытер ему лицо.

- Давай понесу...

- Иди ты... Сам...

Шли они медленно, странно раскачиваясь; любой уви-

девший, наверно бы, подумал: вот двое пьяных мужиков бредут в тумане, а куда и зачем - сами не знают...

- Куда тебя, в избу? - спросил Сергей, когда они дошли до дома Филиных.

- В сарайку. Проведай утром. У автобуса...

Туман виноват или душевное смятение после случившегося, но только Сергей увидел перед собой не калитку родного дома, а кладбищенские ворота и вздрогнул... Постоял, потоптался на месте: «Что же это такое? А, все равно». Он решительно шагнул за ворота. Отыскал нужную могилку, опустился на колени: «Здравствуй, Лиза...» Погладил надгробный холмик, и руки вымокли от росы.

Этой влагой Сергей охладил горящее лицо. Он чувствовал внутри себя жар, который заставлял думать, то оправдывать себя, а то, наоборот, обвинять, обвинять беспощадно, жестоко...

«Почему так, Лиза? От меня только зло тем, кого люблю... Любил тебя - несчастье, теперь Иван. Всю жизнь стремился сделать доброе дело, в итоге, спасая собственную шкуру, ломаю человеку ребра... Лиза, сейчас поеду в милицию и расскажу все...»

Сергей поднялся и вспомнил кровавой Иванов рот, его слезы... Ему показалось, что Иван стоит у ворот и преграждает выход. Сергей даже услышал голос Ивана, будто тот стоял рядом и шептал: «Я не прощу тебя, Серега! Ради кого ты пойдешь в ментовку? Правды захотелось? Твоя правда-сплошной идиотизм... Сделаешь подарок Зыриным... Значит, я пострадал зря? Скажи, зря... Ты меня предаешь... И не одного меня... Ты меня не пинал, забудь ради всего святого... Не свою шкуру спасал... Так мне нужно, нельзя по-другому...»

Проснулся Сергей с первым лучом. И не понял сначала, где он? Кругом кресты. Кладбище! Он очень хотел, чтоб то, что было вчера, стало сном. Как в сказке бывает. К автобусной остановке Сергей бежал. Филина не увидел. Значит, сон в самом деле? Чертовщина? И все-таки он побежал к Ивану. Вот сейчас посмеемся, Ванька не поверит... А как я на могильники попал? Подгоняемый надеждой, Сергей повернул

к дому друга. Иван лежал в сарайке.

- Не могу, Серега, не уйти... Заводи мотоцикл, пока мать не видит... Увезешь... - Иван дышал тяжело, вид его был страшен: лицо синюшное, опухшее, руками держался за живот.

Значит, не сон... Сергей сник. Потом, заспешив, выка- тил мотоцикл, помог Ивану выйти. «Хорошо хоть тетка Уль- яна не видит...»

Всю дорогу до райцентра Иван висел на Сергее и полу- хрипел, бормотал: «Не гони... Потише, не гони...»

Хирург из приемного отделения, направляя Филина на снимок, спросил у Сергея: «Вы кто ему, брат?» Заметил не- уловимое сходство.

- Родной... Кровный... ответил за растерявшегося Сер- гея Иван...

- Мы его мы госпитализируем, а вы можете ехать домой...

Сергей помог Ивану переодеться и вышел на улицу. Завел мотоцикл. Отъезжая, заметил медсестру, с которой вместе водили Филина в рентгенкабинет, в соседний корпус. Девушка спешила, и снимки в ее руке были похожи на черный флажок.

Подъезжая к мосту через Юг, Сергей увидел в зеркале мотоцикла «скорую». Мчалась она с включенным сигнальным фонарем. Обошла его, остановилась. Хирург из окна поманил Сергея пальцем.

- Давай назад, скорее! - Машина развернулась, Сергей пристроился следом .

- У него разрыв печени, - показал Сергею снимок врач, требуется срочное хирургическое вмешательство. Операция сложная. Надо в область. Но времени нет. Не дотянет.

- Он умрет? - не поверил Сергей.

- Буду оперировать сам, это шанс... Если дадите пись- менное согласие.

За три часа Сергей выкурил пачку папирос.

- Ну, как? - бросился он навстречу хирургу, выжида- тельно глядя на покрытое крупными горошинами пота лицо.

- Будем надеяться. Организм сильный. Вы можете по- быть с ним. Возьмите халат, тапочки...

- Спасибо, доктор.

В палату в течение дня доктор заходил более десятка раз. А Сергей сидел на табуретке неподвижно, тупо уставившись на капельницу.

- Не переживайте, он спит. Кризис миновал. Поезжайте домой: родственников, детей успокойте.

Ехал Сергей медленно и дорогу почти не видел. В Машиновице мотоцикл, чихнув несколько раз, заглох.

«Обсох», - определил Сергей. Он прокатил метров двадцать, ставшую обузой технику и сплюнул. «Невезуха! Был бы мой, оставил бы... Иванов нельзя, придется тащить...» И увидел паренька, у которого аккумулятор выманили с Иваном. Паренек подошел и слишком уж по-взрослому протянул руку.

- Аккумулятор помог?

- Помог, - так же серьезно, неожиданно для себя подтвердил Сергей.

- Горючка нужна?

- Нужна...

Парнишка вернулся через несколько минут с канистрой.

- Вот, литров пять... Хватит?

- Должно...

- Дядьке Ивану привет...

- Добро...

Махнув пареньку, оставшемуся у дороги, Сергей почувствовал, как горячая едкая зависть застилает глаза. Вдруг он понял, что никогда не сможет сравниться с кумиром своего детства. Он завидовал даже тому, что в больнице лежит Иван, а не он сам.

# СКРИПИЧНЫЙ КЛЮЧ

(новогоднее)

Свою остановку Изобретатель проехал и, удивленно обнаружив это, вышел. Но вместо того, чтобы перейти улицу и сесть на отходящий обратно автобус или вернуться пешком, побрел задумчиво - не зная точно, куда и зачем.

Город трясла предпраздничная лихорадка, но Изобретатель не видел этого, он находился где-то в мире схем, чертежей узлов и приспособлений. За последние десять лет он не изобрел ничего стоящего и от этого очень страдал.

На пятом углу он заметил маленькую сторбленную фигурку над большой коробкой с чем-то сверкающим. Несколько минут Изобретатель созерцал торговца, которого прохожие обходили, не замечая, и вдруг до сосущей боли под ложечкой захотел сделать неуклюжому человечку что-то приятное...

- Что там у вас? - поздоровавшись, склонился Изобретатель над коробкой.

- Новогодние подарки, - прошелестел едва слышный тонюсенький голосок. - Елочные игрушки, которые приносят счастье...

- Правда? - изобразив доверчивый вид, спросил Изобретатель. - Я давно хочу счастья...

Он потянулся к карману и с ужасом обнаружил, что опять по рассеянности забыл кошелек на работе. Смутился и тут же попятился, бормоча:

- Извините, пожалуйста...

- Покупайте, - умоляя, мальчик вытащил из коробки блестящую игрушку в виде нотного музыкального знака, - возьмите вот эту!

Отражая неяркий свет фонаря, игрушка переливалась от оранжевого до красно-фиолетового тонов...

- Это скрипичный ключ, он волшебный, он обязательно принесет вам счастье. вот увидите, - настойчиво уговаривал мальчик, но, наконец, догадался. - У вас нет денег? Но ведь ключ вам нужен и вы обязательно купили бы его?

Изобретатель утвердительно качнул головой.

- Возьмите, - протянул человечек игрушку. - Я дарю вам! Повесьте ключ дома на елку, и он совершит чудо...

Изобретатель не верил в чудеса. Шагая домой, сжимал под курткой подарок странного продавца и думал, что жена, как обычно, закричит:

- Опять оставил тапки у кровати, опять не вынес мусор, не муж ты, а сплошное недоразумение!

Он думал, что дочка опять обиженно затынет:

- А джинсы ты мне так и не купил?! Ведь обещал! Сколько ждать?

Он думал, что сын, как всегда, из чувства солидарности с матерью и сестрой, бросится с кулачками и залепечет:

- Фу, ты плохой, папка! Вот выгоним тебя, узнаешь...

Жена, наряжая елку, взглянула на протянутую тихо игрушку и сказала:

- А знаешь, в ней что-то необычное есть, повесим ее сюда. Помогай, Сережа...

Изобретатель поперхнулся от неожиданности: от теплых слов жены, от ласкового тона, от теплого взгляда...

Дочка прибежала из школы и, радостная, бросилась отцу на шею:

- Спасибо, папочка!

- За что? - испугался Изобретатель.

- Новогодний бал состоится! - и дочка вытащила из коробки воздушно-легкое платье. Оно играло, искрилось от ярко-красного до изумрудно-зеленого и ультрамаринового тонов.

- Сколько стоит? - еще больше испугался Изобретатель, но, спохватившись, не захотел портить дочке праздник и сказал:

- Я очень рад, что тебе нравится...

Сын, увидав короткие лыжики, о которых отец говорил

еще летом, но все забывал купить, так и потянулся губами...  
Изобретатель взглянул на скрипичный ключ, и, уже почти поверив в чудеса, уловил лукавый прищур жены...

- Ты самая умная, - шептал Изобретатель ночью.

- А ты самый добрый, -отзывалась жена. - Спи, Изобретатель мой...

А Изобретатель смотрел в окно, перед которым на елочной ветке, поблескивая волшебным переливом, висел скрипичный ключ...

## ПЕСТЕРЬ

Повар завывлясывал вокруг меня лезгинку.

- Суржикав, што дэлать будэм? Патушим - замерзнэт, нэ патушим - сгарыт.

- «Суржикав, Суржикав,» - передразниваю я. - Чего ты крутишься, как скалина запаленная? Я в танцах не смыслю ничего... Ни бельмеса. И мне до фени, хоть гопака пляши... Понял?

А про себя сам себя ругаю: «Чайник! Отдыхатель! Надо же было в столовку в наряд напроситься!.. Отдохнуть захотелось, да тут хрен - не отдых!»

Повар вот-вот слезу пустит. Да я-то при чем? Не я же придумал по такому дубаку столовку изнутри украшать - ремонт называется. Цветочки на стенках малюют, натюрморты!

- Ванка, убьет меня Бобух... - ноет повар.

- Мне что Бобух, что обух... Заколебал, - говорю, - отстань!

Бобух - это заместитель командира по тылу. Знаменитая личность, зверь, не человек. А повар-то у него в прямом подчинении... Бедный Швили!

На днях 23 февраля - вот командование и решило сделать подарок личному составу - праздничный обед в отремонтированном зале - настроение чтоб боевое и аппетит, естественно. Хорошенькое дело, если это летом, а сегодня жрочка под открытым небом - не фонтан. Петрозаводск не Тбилиси, зима здесь кусаковатей, вот наш кулинар и промахнулся - слишком большую поправку на мороз взял. Оно и понятно - южанин. Выплясывает теперь возле походной кухни - это такая бочка на колесах с топкой. «Ванка, спаси, Ванка, помоги», - он всех русских Ванками зовет. Обед у нас в три, времени - начало второго, а он уже все сварил. В армии с

этим строго, распорядок соблюдаться должен. И это правильно, но ведь даже в правилах исключения бывают. Мерекую я, значит, как из положения выйти, а Швили смотрит на меня как на всемогущего. Но я же не генерал, в самом деле. «Перестань, - говорю, - усами шевелить, они у тебя заиндевели... Ты зачем их отрастил? Под носом мерзнет, да?»

- Ванка, зачем абижаишь? У мэня сердце болит... Ох, не знаешь ты Бобуха... Што гаварыть будэм?

- Ладно, Швили, туши огни. Нарряд! Посуду на столы! Я в штаб, Бобуха вызывать. Не переживай, Швили, вот уж беда какая...

Обычно проще все - есть дежурный по части, фельдшер - они и отвечают, но на время ремонта питанием заведует сам майор Бобух. Его я не нашел. Захожу к дежурному - дело-то пустяшное, и какая разница, кто разрешение даст, было бы на кого сослаться.

Сидит за пультом в дежурке молодой летеха: «Нет дежурного, посты пошел проверять в караул.» Понятно, раз пошел в караул, да еще посты проверять - это надолго. А у меня минуты лишней нету. Я в санчасть, думаю - медика зацеплю пробу снять. Закрыто. В двери записка: «Повез больного в лазарет.» «Знаем мы этот лазарет - тискает какую-нибудь Машку... Пройдох!»

Почапал я в казарму, а что делать-то оставалось. Вижу - личный состав из парка вернулся - морозец-то не только повара приторопил. Это хорошо, хоть тут повезло. «Эй, дневальный! Срочно отправляй полк на обед, приказ командира. - И добавил уже ребятам. - Мужики, чем быстрее, тем лучше, а то дед хавать будете...»

Солдаты - народ разворотливый, привычный. Я до столовки не дошел, а слышу - топают, поют.

Остались все довольны - хоть на улице и кормили, а горяченьким и вкусно.

«Видишь, - говорю я повару, - все отлично, а ты сморкался... Швиля!» Он бочку моет, да чего-то по-ихнему талдычит, благодарствует вроде. Я столы протираю, да наряд тороплю: «Давай, ребя, поскорее, чем тут ешкотиться, мерзнуть, лучше свободное время до ужина в ленкомнате поси-

дим, в тепле, телевизор посмотрим.»

А повар вдруг прямо с бочки головой в сугроб, как с нырялки в воду. «Эге, - соображаю, - это он с радостей сугроб-то с Черным морем перепутал.» А он зарывается в снег, да так быстро. Чокнулся, похоже. «Придется, - думаю, - снова за медиком идти, всяко, вернулся из лазарета-то.» Оглянулся я и вижу - майор Бобух в нашу сторону выкаблучивает на рысях. Подбежал и давай матом крыть. Батька мой таких матюгов не знает! «Где, - орет, - этот гопник? - повар, значит.

Тут на меня такая тоска напала. Не люблю я таких грубых. Вон «полкан»- командир полка то есть- интеллигентный, голоса не повысит, сразу виден настоящий офицер. А этот зампотыл -пестерь, как и я... Ну. он надрывается с привизгом, как под ножом прямо, а я здесь, да еще Швили жалко - отдаст концы в сугробе-то, а ведь дома его батька с мамкой ждут, как и меня.

Майор заметил - стою, руки в брюки - и попер прямо на меня, как бык. Глазищи у него красные, точь в точь, как у морского окуня.

Я руку к шапке, рапортую:

-Товарищ майор, личный состав накормлен, недовольных нет...

Он как зарычит:

- Сынок! Ты кто такой?

- Дежурный по кухне, младший сержант Суржигов! - отвечаю, а самого зло раздирает -»какой я тебе сынок?» - думаю, но язык прикусил, обиду сдерживаю. Начни препираться, точно Швили в сумете коньки отбросит.

- Кто командир? - еще громче кричит Бобух.

Тут я не выдержал. «Ах ты, трещотка! - думаю. - Знаешь ведь, гад этакий, танки на петлицах видишь, а в нашем пехотном полку одна танковая рота, не десять, и командир один, тебе ли не знать капитана Кольчугина, это же ты надо мной поглумиться решил...» Да как рявкну во всю луженую глотку:

- Маршал Язов!

Майор от неожиданности в сторону сиганул. Напугался,

выходит. Опомнился, вернулся, губа нижняя интересно так трясется:

- Сержант, я снимаю вас с наряда, объявляю пять суток гауптвахты, доложите Кольчугину. Исполнение проверю.

- Разрешите идти? - повернулся я и строевым с места рванул в казарму.

У входа в ротную канцелярию Швили меня догнал.

- Спасибо, Же-о-ра....- Вот ведь, имя вспомнил, а то все Ванка да Ванка.

- Замерз? - спрашиваю.

- Нэт, вспатэл. Баялса, думал - даложишь, што я патарапилса...

- Ты чего, прыгун несчастный, тово, что ли? Жорка Суржиков сроду никого не закладывал...

Он снова:

- Спасибо, Же-ора...

- Слушай, Гиви, - неудобно мне стало Швилей его называть, - если бы тебя на гауптвахту затурили, кто кормить нас стал? Так что иди, готовь ужин, ты самый нужный в части человек. Видел, как мы без Бобуха обошлись? А без тебя...

- Ты приходи вечером, Жора, в столовую, мяса па - грузински приготовлю, пальчики аближещ...

- Ладно, если что, ты мне кусок пожирнее на гауптвахту перешли.

Шагнул я в канцелярию:

- Здравия желаю, товарищ капитан, младший сержант Суржиков явился с докладом.

- Докладывай, младший сержант Суржиков, - улыбается ротный почему-то по-доброму.

Рассказал я ему все, жду, что ответит.

- Вот что, Суржиков, иди в каптерку к старшине, раз освободился, поможешь снаряжение укомплектовать.

- А как же гауптвахта?

- Если горишь желанием, отбудешь позднее, а пока не могу поместить тебя в сие благородное заведение. Завтра внеплановая проверка огневой, сам замкомдив выезжает с нами на полигон. Да и не хочу я наказывать за инициативу. Все, сер-

жант, иди, действуй... Не последний день служишь, так что если майор Бобух не передумает, то у него будет возможность наказать тебя в другой раз.

Сами понимаете - стрелять предпочтительнее, чем «на губе» зубами щелкать.

Проверка началась с построения под вышкой, как всегда. Замкомдив - вот уж никак бы не подумал, что это полковник: они все такие важные, в папахах, а этот в комбинезоне, как и все мы, и лицо у него не офицерское, не полковничье, по крайней мере, а озорное, веселое.

- Днем вы стреляете неплохо, по отчетам знаю... Потому сегодня стрельба будет ночная... Выйти из строя, кому не приходилось стрелять ночью... Все стреляные? Хорошо. Кольчугин, техника готова, цели тоже. Значит, так: сейчас личный состав отбить, в двадцать один ноль-ноль строимся здесь.

Дергаю тихонько стабилизатором башню по ходу дорожки, цель выискиваю. Сквозь прибор ночного видения снег кажется нежно-зеленым туманом.

- Шляпа! - голос механика в наушниках, - с соседней дорожки по твоей мишени бьют! Ты чево, уснул там или мух ловишь?

- Какие мухи... Чего ты прешь, как на пожар?! - кричу.  
- Потихе немного.

Расстроился я - надо же, и тут промашка, с соседней-то дорожки сам замкомдив стреляет и хвастать нечем, если первую пулеметную мишень проехали, а я ее и разглядеть не успел.

- Дорожка, - предупреждает механик, - вторая пошла, движущаяся, видишь?

- Вижу, - говорю - медленнее...

Пятна мишеней наплывают перпендикулярно ходу танка, справа налево, будто маленькие кораблики, ложась прямо под угольник прицела. В азарте, забывшись, что по первой мишени не стрелял, жму на спуск. Длинная очередь, напоминающая нитками трассеров что-то похожее на веер, накрывает все три мишени.

- Молоток! - выражая восторг, кричит механик. - Ловко ты все три прищпокнул! Ай да мы!

А я хватаюсь за голову: что же я такого наделал? Такого нахальства замкомдив никогда не простит.

Построились под вышкой.

- Кто стрелял? - спрашивает полковник.

Вышел я из строя, опустил голову, чувствую - объявит сейчас мне еще суток семь, как выскочке, и придется 23 февраля на губе встречать.

- Я стрелял, товарищ полковник. Младший сержант Суржиков...

- Хм... Взаимовыручка? Молодец, сержант!

Не помню, как в строй встал. А в расположении части командир полка мне отпуск объявил за отличные показатели. Какие могут быть показатели? Я же нечаянно... Это просто физия моя замкомдиву приглянулась. Но от отпуска я не отказался, что я, дундук, что ли? Охота батьку с матерью порадовать - смотрите, как сын служит. Отпуск дали! Да и по деревне гоголем в военной форме пройтись хочется.

## ШУТКА

В. Каплюшину

Сергея Громов - пацан что надо! Представьте: рыжий волнистый чуб, неожиданно-контрастно черные брови, темно-карие, как будто сливины, глаза, правильный аккуратный нос, припухлые детские губы, а над ними темно-коричневые, с огненным отливом усы. Вот только в общении неловок. Письма Сергею пишет лишь бабушка, родителей у него нет. Сержант второго года службы и без подружки - смешно и несправедливо. Стас Балагуров решил исправить положение. Несколько раз брал Серёгу с собой в «самоходы». И вот однажды повезло: познакомились с двумя приличными девочками, те даже в общежитие пригласили. Говорил больше Стас, Сергей сидел рядом с Лидочкой и молчал. Молчал, пыхтел и краснел - веснушки на его лице становились похожими на большие, удивительно белые пятна. Лида тоже молчала, просто смеялась над очередной Стасовой байкой.

- Представляете, девочки, приехал к нам маршал. Идет он, смотрит - кругом чистота, порядок... Готовились к встрече-то, вылизали. Зашел он в казарму, а на кровати в сапогах Сергей Громов... Маршал как закричит:

- Военный, вы кто?!

- Я дембель, а ты?

- Вы что, сержант, ослепли? Я - маршал! - и трясется весь.

- Хм-м... Маршал? Тоже неплохо, - ответил Сергей...

Девчата смеялись, а Сергей отнекивался:

- Не верьте ему, он колыжит все. - И не понимал, почему девчатам после его слов становилось еще смешнее.

- А можно нам зайти еще как-нибудь? - спросил у подруг, прощаясь, Стас.

- Ну, конечно, заходите, мальчики, - с жаром ответила

Лида за себя и за подругу.

Возвращались в казарму Стас с Серегой потайными тропами. Сергей все уши пропел:

- Стас, ты видел, какие у Лидочки глаза? А волосы?

В затуманенной Серegiной голове уже роились планы дальнейших встреч.

Неожиданно на следующий день половину роты, в которой служили друзья, по приказу комдива отправили в командировку в Питер - на бетонный завод, аж на два месяца. Для оставшихся наступили тяжелые времена. Через день - «на ремень». Чтобы не тасовать личный состав как колоду карт, старшина Ярославцев перед тем спрашивал а у сержантов - кто где желает тащить службу.

Стас попал в бессменные помощники дежурного по части, изъявив желание «погибать - так в штабе», а Серега Громов оказался вечным дежурным по батальону.

От скуки и вязкого безделья у телепульта Стасу пришла в голову идея. У него имелся талант - мог похоже переразбивать голоса людей, особенно удавался голос Эдиты Пьехи, неспециалист вряд ли смог бы отличить.

- А что, Витя, - спросил Стас посыльного Ефремова, сидевшего рядом, - шутки мы уважаем или нет?

- Только выпуклые, - засмеялся посыльный, - чтоб не поскользнуться...

Стас снял трубку и, услышав сигнал коммутатора, запросил свой батальон.

- Дежурный по батальону сержант Громов...

И тут тоненьким, томным голоском Стас заговорил.

- Здравствуйте, Сережа... Это я, Лида, - и услышал, как засопел в трубку растерявшийся Громов.

- Куда вы пропали?.. Как служба, как Станислав?

Краем раскосого хитроватого глаза Балагуров заметил, как, зажав рукавом рот, выскочил из дежурки Витька-посыльный, чтобы не расхохотался и не испортить все до поры до времени.

Назавтра по роте поползли слухи - Громову звонила девушка. Даже Женька Ярославцев, отъявленный служака, узнав, сказал:

- Во дает Гром!... А вообще молодец! Это не повредит, это ему нужно...

Крепко-накрепко наказав Витьке Ефремову молчать, Стас продолжил переговоры. О чем он только не говорил с Серегой: выбалтывал ничего не значащие девичьи тайны, выдумывая их на ходу, выслушивая, в свою очередь рассказы о школе, бабушке, о родине - городе Великом Устюге, о друзьях... Особенно много Серега говорил о Станиславе, расхваливая его на все лады...

Едва Стас, сменившись, заходил в казарму, Серега - цветущий и радостный - встречал неизменным: Лида звонила, тебе большой привет...

- Спасибо, - серьезно отвечал Стас, удерживая так и рвущийся хохот.

Тайна, известная двоим - не тайна. То ли Ефремов кому болтанул, то ли сам Стас, но скоро весь призыв узнал - звонит Балагуров. Один Громов был не в курсе. Да и скажи ему кто - не поверил бы. Желая побольше рассмешить ребят, Балагуров как-то раз попросил Громова прийти:

- Сережа, я очень хочу тебя видеть... Соскучилась страшно... Приходи, если можно, сегодня часиков в пять...

- Приду, - твердо пообещал Громов.

Положив трубку, Стас засмеялся...

«Лучший друг - Станислав... Станислав надежный, в беде не бросит.» Тьфу ты! Лыстец-самоучка... И тут одна мысль ударила Стасу в голову, будто молния, выжигая остатки веселья... «Он, Гром, все это Лидочке говорил, не мне. Лидочке мной хвастал, а я...» Стас представил, как Громов отпрашивается у Ярославцева, выклянчивая подмену, потом канючит у комбата увольнительную...

Вдобавок Стас отчетливо увидел вытянувшееся лицо Лиды, глупую физиономию Серегина... А может, Лиды и дома-то не застанет, что в итоге еще хуже... Стас перепугался: «Что я натворил-то? Шутник проклятый!...»

Подошел майор Петряшов.

- Сержант, ложитесь отдыхать...

- Товарищ майор, - чувствуя, что не только спать, а пить-есть и жить не сможет, если не предпримет что-нибудь,

обратился Стас, - разрешите до казармы добежать, я быстро.

- Иди, - удивился тону сержанта дежурный.

- Жека! - запыхавшись, вбежал к старшине Стас. - Гром не заходил?

- Только что, - посмотрев уничтожающим взглядом на Балагурова, выдавил старшина, и, помолчав, добавил:

- Ну и стерва ты Стас! Над кем смеешься? - схватил за грудки...

- Да погоди ты, - вывернулся Стас. - Где он? Надо что-то делать...

- Где, где. У комбата... Мне он не поверил, что это твоя шутка. Скажи ему сам...

- Ничего не надо говорить! - вдруг осенило Стаса. - пусть едет. Я все устрою, время еще есть...

Выбежав из казармы, он направился не в штаб, где его ждал дежурный КПП, а на автобусную остановку...

Лида - есть счастье в жизни! -оказалась дома. Лежала с завязанным горлом.

- Здравствуйте, Лида! Спасите меня!

- Что случилось, Стас? -девушка села в кровати, прикрываясь простыней.

Заикаясь, повторяясь, торопясь, Стас выложил все подробности.

-Это правда? -переспросила Лида сильным простуженным голосом, и Балагуров заметил в ее глазах вовсе не обиду, не злость, а веселые озорные искорки...

- Правда, Лида, -для доказательства скопировав ее тон, протянул Стас. - Спасите меня, пожалуйста... Громов, он такой добрый, верит каждому слову... Мне лучше умереть, чем обидеть Сережку...

- Хорошо, я постараюсь... Я тебя не выдам...

- Спасибо, - Стас, чмокнув в щеку опешившую девушку, выбежал на улицу .

Уже из автобуса он рассмотрел Громова, подходившего к общежитию с букетом роз. «Последние деньги истратил», - подумал Стас.

На душе было удивительно радостно.

## ИЗЛУЧАТЕЛЬ

После сокращения в голове у Тарасова все перетолкось, а душой растерянность, обида и злость правят. Работа, работа! И поднимался Николай Тарасов рано, пока сын, жена спят, и в город: на поиски. Ему бы приткнуться для начала как-нибудь, а там, глядишь, наладилось бы, мужик-то он небросовой, работающий, башковитый, но - заупрямился! Подай ему работу сразу такую, чтоб не хуже прежней! Да где ее найдешь, равноценную-то, на пятый разряд? В упрямстве - нервы-то не железные - и не заметил, как начал раз от раза целиком сдавать пособие по безработице в «фонд мира», то есть - пропивать. Похмелье, правда, тяжело переносил, потому что вина перед семьей до размеров мамонта вырастала. А какой путной бабе пьянка понравится? Ирина поначалу помалкивала, только жалеючи, но с укором, поглядывала, а как довел до белого каления, надоел, - ругаться стала. Тут-то и вспомнил Николай о родительской избушке, а подумав - не худо бы навестить! - враз, как приговор зачитал:

- Поеду я, Ирина Батьковна. Поживем врозь... А может, развестись нам? А то исстрадалась...

- Посмешище! - огрызнулась жена. - Тебя не выгнать! Самой легче уехать.

Сын из солидарности, наверное, засобирался с отцом. «И войдя в пещеру Гаматунка, Лит осторожно развернул излучатель...» - читал вслух сын. - Пап! - прервался он, - а вот бы нам такой излучатель!

- Зачем? - едва живой от усталости, прислушиваясь к монотонному, усыпляющему шуму дождя, а не к сыну, вяло спросил отец.

- Ну... Проткнули Литу СЕРДЦЕ стрелой, а он вклю-

чил излучатель и живой остался! - подталкивая отца локтем и указывая на рисунок пальцем, горячился Сережка.

- Жизнь оттого и ценна, что одна всего и потерять ее легче легкого, - подумав, возразил Николай, почему-то внутренне сожалея, что уступил и взял мальчишку с собой. - Давай, Сережка, спать, завтра у нас куча дел.

«А молодец все-таки парень, - засыпая, подумал Николай, - сто с гаком верст тряслись до райцентра, там - тридцатник до села и семь км пахом шли с вещами... А не ноет, еды особой не попросил, спать на досках, рядом застеленных, под драным одеялом не отказался...»

К утру разведрело, и Сережка, позабыв про обещание помогать, умчался к соседскому Витальке, с которым вчера только познакомились: вместе шли с центральной. Виталик прибежал туда встречать мать, но она не приехала.

- Навести порядок в хате - раз, скосить огород, траву бабке Понафиде отдать - два, могилки проведать - три... - загибая пальцы, как когда-то любил делать отец, считал Николай и вдруг осознал: говоря сам с собой - в городе сказали бы: сентиментально - он, может, впервые жалеет, что не остался вот здесь, а уехал. Через час-два, возможно, он будет думать по-другому и уже ни о чем не жалеть, но это вот, пускай и минутное, раздумье запомнится навсегда.

Перед обедом пришла бабка Понафида, принесла клубнички и творогу для Сережки.

- Охо-хо-хохохоюшки! - тяжело опустилась бабка на выскобленное и еще влажное крылечко. - Гладко ты, Миколка, оголил, изба-та засмеялась, как доски с окошек поотдира! Любо глянуть. А то ить как безглазая была... И скосил. Когда и успел? Я кажинной год окашиваю, дак эдак по три дня бьюся. Однако в августе кошу, трава огрубелая, козлушке подоле хватает. Это коровкам надо нежную кормежку...

- Да не хотел я, бабушка, трогать, - стушевался Николай, - да ведь за неделю Сережка истопчет, тебе после и косить нечего.

- Коли и ладно, - бабка улыбнулась, лицо ее, морщинистое, с обвисшими желтыми щеками, прояснилось и как бы

помолодело,- пуцай и моя Манефа витамину кушает, ох, избалую, к осени-то отавка вымахает на второй укос.

- Виталик давно гостит? - чтобы хоть как-то поддержать разговор, после минутной паузы спросил Николай.

- Ой, и не спрашивай! - видимо, вопрос задел щекотливую бабкину проблему, Понафида из малоподвижной тучноватой кряхтуни как бы переродилась в стрекочущую сороку.

- Беспутая ить Кланька-та! Виташу без мужика прижила, а третьего году нового хахаля везет! А Виталик по всему лету у меня изживает! - жаловалась бабка и ладонями коричневыми, состоящими из сплошных узловатых вен, по подолу себя охаживала, будто мусор стряхивала. - Мне бы ить несколь не жалко, кабы она, щиловатая посуда, хоть копейку на прожитье оставяла! А ребенку другораз и конфетку охота, а пенсия-то моя... - тут бабка, будто одумавшись, резко сменила тему. - Чукося, Миколушка, беспамятая я, хотела тебе святой водицы принести, да вот тока сдумала! Ежели боле году в избе не жили, надо святой водой окропить от напасти...

Николай заулыбался.

- Лыбсья да окропи! - продолжила убеждения бабка. - Моя-та тетеря с хахалем гостила, видно, нет терпежу ночью-то, надо его пообнимать, да кабы и рука в середьще была! Пойдем, говорит, мама, мы у Тарасовых переночуем, это исхитряется она, чтоб не чуяла я, как они шаборкаются да похрюквают! Ну, постелю я им подала, да и ключ. Недолго поспали, как бешеные обратно летят! Выслушали, будто, ходит кто-то по подволоке и причитает, а в подполье - шур-шур-шур!

Бабка округлила глаза и вытянула шею, что даже второй, обвислый подбородок разгладился и пропал, а согнутый указательный палец поднесла к уху: мол, чу, шуркает!

- Мыши, может? - расхохотался Николай.

- Мыши? Откудова? Тараканы и те поди с голоду поумирали за девять-то годов, - тут бабка опять без перехода круто заговорила о другом. - Подправить бы могилки, Коля, Дарьина-та, царствие ей небесное, совсем обвалилась. Я кажинные поминки и к ним захожу, кланяюсь. Мы ить с Дарюшей погодки, сызмальства вместе, это Санушко заезжий. На

сплаву он Дарью подцепил...

И бабка принялась рассказывать историю знакомства отца и матери. Историю эту Николай слыхивал десятки раз из уст родителей, и сейчас голос Понафиды звучал глуше и глуше, отдаваясь, а рядом словно оказались живые отец и мама.

- Он как на сплаву меня увидел, - нарочито серьезно рассказывала мать, - так все задворки истоптал! Солнышко ишо не встанет, а он уж на работу бежит и все мимо моей избы! А после работы в окошки так и стеклит: выйди, Дарья, ненадолочко!

- Не слушай ее, Колюха! - перебивал отец. - Не так было!

Если мама говорила спокойно, напевно и серьезно, одни глаза озорно поблескивали, то батя не говорил, а вещал громко, аж слюна в разные стороны вылетала, и он то и дело захлопывал рот рукой, чтоб не оплевать жену и сына:

- Я смолоду дороден был! Направили меня бунты об-считывать, а мамка как увидала, так и багор из рук выпал, едва мужики выловили!

- Ой ты Поромон лесной! Колыга! - шутливо старалась перебить мама, но отец не позволял ей и рта раскрыть:

- Иду раз на работу, а Дарьюшка корову на поскотину выпускает! Столбом встала, руку ко лбу и как из-под козырька на меня уставилась, а второй-то рукой титьки прикрывает, то ли забылась, что не голая, то ли решила, что я все ее богатства сквозь одежду вижу? И шепчет, так пристанывает: «Санушко...»

- Вруль! Дегиль форменной!- уже всерьез сердилась мама, начиная колотить батю по спине кулачками, а он, прикрывая голову похожими на большие лопаты пригоршнями, тараторил:

- А сватать-то, Колюха, я ее приехал! Снег уж был! Она до того обрадела, дак встречать меня - в одной исподке, без сарафана и босиком выбежала...

- Сам ты сватать приехал, а под кошулей ни пинжака, ни рубахи, - одна майка...

Отец, наговорясь, умолкал надолго, а мама продолжала

поносить его на все лады:

- Скрыль окаянной! Сотона! Ведь не давал ни с кем на круг выйти! Не у себя в деревне, а сразу хоть кому кулаком в чушку, только спучкает! Да где бы ты был, кабы не мы с Понафидкой? Подкололи бы! Вон на локте-то до сих пор дира! - мама хватала отца за руку и заворачивала рукав, будто бы Колька никогда не видел шрама, полученного отцом в схватке из-за мамы же, и не слыхивал о нем!

Еще интересней, когда папа бывал с похмела. Пил он редко, раз за два-три месяца, но напивался всегда ни с того, ни с сего, без причины, и напивался вдрызг! Войдя в избу, падал и дрых мертвецки до утра. А просыпаясь, постоянно видел одно и то же: мама сидела у окна, повязав черный платок шалашиком надо лбом, будто в трауре по кому, и молчала. Тут батя начинал хлебать воду ковш за ковшом, курить папиросу за папиросой и умолять маму:

- Дарка, Даша, Да- шенька... ну Дарьюша...

Калька не помнил, чтоб отец когда-нибудь испугался. Однажды подпитой, он, в ярко-красной рубаше, забрел на ферму к маме, она тогда со сплава ушла, дояркой работала. Ну и на беду бык Буян отвязался, а как увидал красное, сразу вперед рогами, на батю. А отец выломал от кормушки доску и вдарил Буяну меж рогов, у того и ноги подломились, а рог один напрочь отлетел! Пришлось быка забить, он сдурел от обиды, перестал коров обрывать. Бате за "издевательство над животным в пьяном виде год принудиловки впаяли... Боялся батя только черного мамино платка! Он начинал лебезить и каяться, до слез доходило. Колька не раз из сострадания хотел вмешаться: мать может молчать только до обеда, а потом платок снимет, будет шутить, как ни в чем не бывало! Но у отца, видно, с похмелья память пропадала, и рассудок подвонил...

Только сейчас, как-то остро и с завистью, Николай понял и прочувствовал всю неизмеримость родительской любви: она была у них всюду - и в работе, и в отдыхе, и в шутливых перебранках! И вдруг Николаю стало больно и стыдно! Как же он старательно работал над собой в угоду теще! Научился ГАВАРИТЬ по-городскому, теперь и случайно у Николая

Александровича Тарасова не вылетит деревенское слово! Либо неправильное ударение. Теща-то - грамотная! Педагог, филолог! Учителка русского языка! Вот и сошел весь словарный запас до: суппорт, штифт, шкив, подача да стакан, лимон - да вышел вон!

Николай тряхнул головой, отгоняя видение и мысли неселые, и заметил, что Понафида поднялась - опять тяжело, будто и не она недавно вертелась, езгая по крыльцу, и стрекотала, как сорока!

- Так чул ли меня? - оперлась бабка на батожок, медленно спину распрямляя. - Зайди за святой водой. Окропишь углы, хуже не будет.

- Ладно, бабуля, вот освобожусь... - отговорился Николай.

Сережку поджидал к обеду, рожков отварил и заправил их тушенкой. Порезал огурца. Сережка ввалился - из грязи не видно - и к столу, руки не сполоснув.

- Ты что? Поросенок?! - вскипел отец. - А ну марш мыться! Ишь какой!.. П-помощничек...

Сын ел, торопился, не пережевывая, заглатывал все подряд, крошки по столу сыпались, да еще чихнул дважды - брызги по сторонам!

- Ну ты и свин! - злился Николай. - Чему тебя только мама учит?

- Ничему! - буркнул Сережка. - Па, подай вон то! - и ткнул пальцем в сторону шкафа, указывая на единственную, каким-то чудом уцелевшую в доме игрушку, миниатюрную коробочку-шарманку.

- Черт подаст! - Николай не сдержался, закатил сыну подзатыльника. Сережку как ветром сдуло, пулей на улицу вылетел.

После обеда Николай вытащил из пыльной кладовки велосипед, порядком заржавевший, проверил его - вроде на ходу. Накачал колеса и покатил в центральную усадьбу. Он уже жалел, что обидел сына. Ничего, успокаивал он себя, вот подмажу велосипед, чтоб не скрипело, схватится за него, все обиды забудет.

В селе Николай рассчитывал выписать пару досок и

пару брусков на подновление родительских могил. Но контора закрыта, и улицы как повымирали, никого не видать. И он решил проехать до пилорамы, надо выглядеть: имеются ли там доски. Пилорама не работала, но возле нее, на солнцепеке, сидел на бревне мужичонка в грязном картузе и курил, смачно сплевывая прямо себе на пыльный кирзовый сапог. На приветствие ответил он едва заметным кивком, взирая безразлично на узкую кривую улочку, убегающую в центр села, к сельмагу.

- Мне бы досок... Штуки две-три и пару брусков, - насмелился Николай, - не подскажете, можно сегодня оформить?

- Шкалик, - ничего не выражающим тоном ответил мужичонка, раздавливая окурочок о заплыванный сапог.

- Только не очень длинных, а то мне их до Клевцова везти, - пояснил Николай, но мужичонка, поднимаясь, перебил: - Два шкалика...

Нарываться на третий шкалик не захотелось, и, оседлав велосипед, проситель помчался к магазину. Воротясь с двумя бутылками водки, Николай увидел голубой «Беларусь», в тележке которого лежало с десяток свеженьких, проструганных на станке досок, два ядреных бруса и какая-то изогнутая железка.

Мужичонка, вытащив из-под бревна, на котором сидел, стакан, облепленный опилками, долго, упорно и старательно обтирал его полый своей клетчатой рубахи, а затем, налив до рубчика, подал Николаю.

- Не-э! - испуганно попятился Николай. - В такую жару? Да я упаду сразу!

- Наше дело предложить, - сквозь зубы, будто жевал что-то, выговорил и протянул стакан в кабину зевающему трактористу, парнишке лет восемнадцати-двадцати.

У Николая, видящего, как мучительно глотает тракторист проклятое пойло, едва не случился приступ рвоты.

- Хороша каша, да не наша! - возвращая стакан, героически причмокнул паренек и мотнул головой Николаю: - Забрасывай «коня» в телегу, некогда мне!

Сначала, сидя рядом с трактористом, Николай опасал-

ся, что тот после выпивки начнет лихачить, да и завезет не туда, но парень рулил спокойно, и по его виду и подумать-то было нельзя, что какие-то пять минут назад он заглотил целый стаканщике.

- У вас тут тихо, вроде курорта - солнышко, выпивка, - Николаю казалось, что парнишка отмолчится.

- Это только сегодня... - усмехнулся тракторист. - Большая гребь на Буграх, сразу за Клевцовом, весь народ там.

- Гребь? Да ведь ночью дождь был! - удивился Николай.

- Это не дождь, а так, вместо росы. А на Буграх самый ветродуй и солнцепек, аж пересохло... - парнишка переключил скорость. - Тебе повезло, я штангу варить приезжал. Видал дядьку Тиху? Во! - парнишка потряс ладонью с поднятым вверх большим пальцем. - Один целого штата стоит! И сварщик, и сторож, и рамщик, и завсклад...

- И алкаш! - прибавил Николай, но тут же спохватился, ведь лично ему Тихон плохого не сделал, а наоборот.

- Не алкаш, но выпить любит! - строго поправил тракторист и рассмеялся. - Кто нынче не любит, когда наливают, а? Смотри, вон столбы телеграфные, и те с чашечками, просят заразы, налей...

За пустой болтовней незаметно приехали в Клевцово. Парень помог сбросить велосипед, доски и, крикнув «Будь здоров!», уехал, Николай и поблагодарить не успел.

Пот заливал глаза, одолевали въедливые комары и мошка, но Николай, пока не управился с могилками, не отступился. И вот, глядя на белеющие свежестью столы и кресты, вдыхая запах смолы, Николай опять как бы воротился в прошлое.

- Здесь, Колюха, помирать буду, мамка тут - и мне тут место, - как о чем-то обыденном и естественном, рассуждал отец, - а ты езжай, ежели некогда, помру, так одно тебе весть подадут.

- Нич-чо, нич-чо, батя! Встанешь еще! А салапета этого я найду! Из-под земли вырою! - держась за отцовские огромные, но впервые такие безвольные бессильные, ладони, шумел Николай. Только что он узнал истинную причину смерти матери, на похоронах которой побывать не вышло. Малолетка с

центральной усадьбы ножичком пострадал! То и слегла мама.

- Вот я и скрыл... Ждал, покуда он в армию уйдет, - тихо прошептал отец, - ты, я знаю, наворочал бы делов...

- Будет! - позабыв, что отец едва жив, крикнул Николай. - И у нас, батя, праздник будет! Я... Все равно отомщу! Не я буду!

- Нет! - цепко обхватив запястье сына, откуда и сила взялась, тяжело выдохнул отец. - Не бывает мести праздником, сынок... Чувешь меня? Нелюди праздничают на чужом горе...

- Хорошо, хорошо, батя, - опомнясь, успокаивал Николай, думая: «Не прощу شماгадявку! И доброго ему не пожелаю!...»

- Эх, Коля, слаб ты во злобе... - опустил на подушку отец.

А через час его не стало...

Схоронив отца, раздарив соседям на память об отце-матери кое-что из вещей, заколотив - крест накрест - окна, навесив на дверь амбарный замок, Николай отнес ключи бабке Понафиде, а садясь в автобус, мысленно поклялся никогда больше не возвращаться сюда. Ведь не сдержаться, попадись навстречу тот, напугавший маму парнишка. Хоть и не обещал отцу не мстить, но чувствовал себя тогда Николай Тарасов, словно дал такое обещание.

Поклонясь могилкам родительским, закинул Николай на плечо топорик, ножовку и пошагал домой.

Свежело. От речки, от пропаренной за день низины, напозала на деревушку серая непроглядная мгла. Во-он, идет кто-то к реке! Голова одна, башлыком укутанная, перекачивается над мглой этой: неприятное ощущение! Будто бы плывет голова сама собой, и ни ног у нее, ни туловища...

Николай встряхнулся, после пота обильного при работе ему прохладно стало. И еще холоднее, ознобно стало Николаю, едва он разглядел, что незнакомец, до пят укрытый балахоном, по воде, словно по льду шел, не проваливаясь! Чертовщина, подумалось Николаю, уработался, заблазнило.

Он отвернулся от речки, встряхнулся еще раз и зашагал

резвее, но смутное, неясное предчувствие тревожило его...

Темнело, зеленоватый свет струился из окон Понафидино дома, и упавшая роса переливалась в траве, отражая его лиловыми и оранжевыми искорками. Своя изба серела безглазо.

Спит Сережка, убежался за день, соображал Николай, голодный, наверное, спать завалился... Но Сережки дома не было. Николай забеспокоился сильнее и, включив кипятильник, направился к бабке, рассчитывая, что сын там с Виталиком играет, скучно ведь одному-то.

На неосвященном мосту, пробираясь к выходу на крыльцо почти наощупь, Николай дважды запнулся. Ну и рухляди тут, черт ногу сломит, ругнулся он мысленно, надо было выкинуть все барахло, закопать! А ведь было, вспомнил он, ногой каждую ступеньку чувствовал, ручка дверная сама в руки шла. Забыл, забыл...

Дверь на крыльцо скрипнула, и Николаю явно почудился всхлип. Он вздрогнул, прислушался...

На чердаке явно кто-то хлюпал, вздыхал и причмокивал! «Будто корова, которой нету, жвакует», - мелькнула нелепая мысль.

- Сережка! - негромко окликнул Николай. - Сынок, это ты?

- Яя-ааа! - взревел дурной, не Сережкин голос, и в растопыренную пятерню Николая уперлись... рога!

- Ва! - обхватив с перепугу рог, Николай так ломанулся на улицу, что если б сам сатана решил подшутить над ним, так заделался бы комылом...

- Ну ты и дурачок! - пару минут спустя обнимал в избе отец сына. - Шутил бы по-умному, я ведь сослепу, с перепугу мог тебя зашибить, изувечить!

- Па, - ласкался Сережка, глазенки его радостно поблескивали, облупившийся нос смешно морщился, - а ты и правда испугался?

- Да я чуть-чуть в штаны не навалил! - Николай уже смеялся, вспоминая свой переполох, и, обнимая сынишку, гладил его ласково по голове и целовал неловко в ухо.

- Смотри, па! - отступив на шаг, Сережка вытащил из

кармана безделушку, напоминающую компас, и прикусил ее.

Лицо сына, быстро увеличиваясь в размерах, сморщилось, пожелтело, начало бугриться и облезать, покрываться фиолетовыми проплешинами, глаза - без зрачков - покраснели, полезли из орбит, волосы посерели, вздыбились, рот растянулся до ушей, а из него, извиваясь, высовывался длинный раздвоенный язык и клыки! Вскричав дико, Николай зажмурился, загородился рукой. Стукнуло.

- Папа! Папа! Папочка! - прижимаясь, бормотал сынишка.

Отца трясло. Схватив сына за уши, он отдалил лицо его от себя, а разглядев, что парень прежний: милый, любимый, родной - начал целовать его в нос, глаза, щеки, шею, повторяя: «Сынок... Сынок... Сынок...». И потоки катились по щекам.

Закипел, забулькав, зафыркав паром, чайник. Он и отвлек, успокоил Николая.

- Что это за хреновина? Взял где? - выключив кипяtilьник и стерев слезы, спросил он у сына.

- Страшно, па?

- Хуже! Сумасшедший ты! И меня придурком сделаешь! Не жалко?

- Тебя жалко... - понурился Сережка. - Мы с Виталькой в лес ходили, землянику собирать. Я ел, ел и Витальку потерял. Испугался и побежал, а навстречу дядька в сером капюшоне и руки ко мне протягивает. У него вот такенные ногти! - Сережка развел пальцы сантиметров на десять. - Я как заору! И Витка в кустах заорал. А пока я на него оглядывался, дядьки страшного не стало, только железячка валяется... Ты бы увидел, как Виталя испугался, - до самого дома бегом бежал и ни разу не остановился! - Сын поднял злополучную игрушку с пола. - Я вот это стеклышко открыть хотел, а рукой не мог и стал зубом, а Витка и заорал, и побегал...

- Погодь! - спину Николая обожгли ледяные мурашки. - Положь эту дрянь аккуратненько на стол... Вот... А у этого в капюшоне - одежда до земли была?

- До земли. Ты его видел? А кто это? - от любопытства

Сережка аж губы прикусил.

- Нет, не видел! - Николай, внутренне содрогнувшись, пытался говорить твердо. - И ты не видел! Почудилось просто, в лесу такое бывает... А этот твой компас выкинем сейчас в болотину, чтоб вреда от него не было!

- Нет! Я маму испугаю, тогда...

- Сдурел?! - отец, схватив сына за плечи, начал трясти легонько. - Обо мне не подумал, хоть ее пожалей!

- А она пожалела? - насупясь, сын глянул исподлобья, и глаза его сверкнули так злобно, что отец растерялся. - Она пожалела!? - повысил голос Сережка. - Когда выгоняла, когда сказала, что завтра же другого приведет?

- Сгоряча она это, пошутила... - Николаю хотелось уверенности, но горло перехватило, дрогнул голос и почему-то стало стыдно перед сыном.

- Не пошутила, - прошептал, отворачиваясь, Сережка, - к нам два раза приходил вечером дядька, когда ты в больнице был. Мама с ним полночи вино пила, а потом долго куда-то ходила. Я не спал. Она меня в спальне на замок закрыла, а я в банку написал...

- Так... - у Николая вдруг перестало биться сердце, и он начал массировать грудь вращательными движениями. - Так... А сразу?..

- А сразу она не велела говорить, потому что ты еще сильнее заболеешь, ну, па, - сын схватил отца за руку, - я один разик, я немножечко испугаю.

- Немножечко, немножечко, - бездумно повторил Николай и словно согласился. - Испугай немножечко, немножечко, Серега! - взял он сына за плечо. - Спать давай, а то чтой-то сердце у меня заболело. Утром договорим.

Сережка посвистывал, посапывал, разметавшись, а Николай, трижды за вечер напуганный да огорошенный новостью о жене, не мог заснуть, как ни старался. Ему то слышалось всхлипывание за окном, то попискивание и шуршание в подполье, то виделось лицо Ирины, губы уголками вниз! Рот у жены приобрел вид скорбной подковки, когда Николай попал в инфекционку с подозрением на дифтерию. У него тогда сильно запухло горло и температура держалась на сорокаградусной

отметке, не падая, а газеты вовсю трубили о случаях с летальным исходом... Он-то выздоровел, а рот у Ирины так и остался горестным, будто она уже похоронила мужа и постоянно скорбит о нем. И тут Николай почувствовал запах! Запах похорон! Почти так же пахло, когда отец лежал в гробу, на столе...

Резко вскочив, Николай включил свет и... попятился, онемев. Под столом плотным кольцом лежали дохлые крысы и мыши!

Сережкина находка, игрушка, похожая на компас, призывала тварей к себе и убивала! И сразу вспомнилась прочтенная вчера сыном сказка из журнала: тот излучатель, настроенный на определенный диапазон, тоже убивал! Чертовщина! Нет, завтра же домой! К жене!

Схватив ведро и совок, Николай, пересиливая подкатывающую тошноту, скидал тушки зверьков и, не одеваясь, босиком выбежал в огород. Выкинув грызунов за изгородь в болотину, он вернулся в дом и начал внимательно разглядывать находку сына. Нет, не компас - шесть стрелок, и крутятся они беспорядочно. Никаких букв, цифр - лишь причудливый шестиугольник под стеклом, а по кругу бурая, коричневая, синяя, голубая, зеленая, розовая кнопочки. Надо убрать эту штуку, выкинуть ее в болото, шевелилось в Николае чутье, а вдруг и мы с Сережкой к утру, как крысы - лапки кверху! И осторожно взяв игрушку-убийцу, памятку серого капюшона, Николай вышел на улицу. К изгороди он шел тихо-тихо, мечтая забросить опасную вещь подальше, в самую топь, зыбун.

А навстречу от болота двигался серый балахон. Николай, занятый железкой, увидел его только за пару шагов. Встречный - лица не видать, будто и нет его вовсе - неуверенно, точно слепо, тянул когтистые клешни - вот-вот вцепится! Отпрыгнув, Николай крепко сжал свою ношу и размахнулся: только бы долетела она до болота! Но ломнуло спину, скрючило, и Николай упал на четвереньки. О Боже! Вместо рук - страшные уродливые лапищи! И он взвыл так надсадно и жутко, что почти каждый спящий домишко вытаращил испу-

ганно желтые глаза.

Где балахон?! Зверь вертел ужасающе громадной, обволоселой кабаньей чушкой с большими клыками: растерзать врага, растерзать в клочья, но никого вокруг, только трусы, лопнувшие по швам, свои же, валяются. В припадке ярости он разодрал их, вбил в землю и трехметровыми скачками понесся к дому, а увидев себя в стекле, при отблеске луны, взвыл еще жутче! Нельзя! Нельзя! Сережка испугается! Сынок! И зверь понес свое медведеподобное тулово не разбери куда, лишь бы подальше от дереvушки! Ноги принесли его на кладбище. Взрычав и хрюкнув обиженно, он от отчаяния начал разрывать отцовскую могилу когтями и клыками. Он выл и урчал, бешено трудясь, а в ушах - голос, совсем как мамин, не вой, не вой! Сбегутся люди, начнут охоту!

Крышку гроба он сорвал с гвоздями. Отец, словно живой, только лицо бледно - голубое да глаза закрытые, сел и коснулся ласково мохнатой чушки ладонями:

- Тяжела ноша, сынок? Да лучше уж звериное обличье, но нутро человекье... - и отец лег, крышка гроба захлопнулась, яма начала осыпаться, и зверя выкинула из нее неведомая сила. А через пару минут могила восстановилась в прежнем облике: столик, крест на месте, будто никто и не разрывал ее только что. Чудовище, урча и всхлипывая на человеческий манер, подползло к материнскому холмику и зарылось чушкой в дерн, и слезы, крупные и горькие, как луковицы, кропили землю. Зверь не видел, что от родительских могил медленно отделились два прозрачных розоватых облачка. Они покружились, соединяясь, а потом укрыли бедолагу, окутали его.

На востоке зарозовело небо. Хрипло дыша, роняя обильную слюну, зверь поднялся, он понял - что нужно, и опять большими скачками, напрямик по кустам, помчался к реке.

Он выталкивал из себя воздух и пробовал уйти под воду с головой, но река, бурля, не принимала зверя, она, захлестывая волной, водоворотом, выбрасывала его на отмель. А он бесился снова и снова, он бросался с разбега, он пытался утопить свою голову, но она, точно выполненная из пробкового дерева, постоянно торчала над водой.

Зверь изнемог и в очередной раз не сумел подняться. Он выполз на песок и забылся.

Очнулся он от жгучего, калящего солнца и, взглянув с тоской на темнеющий поодаль лес, где предстояло теперь ему жить, медленно пополз к спасительной прохладе в тень.

И вдруг не поверил глазам своим: песок загребали не лапы, а руки! Человеческие руки, его, Колькины, мускулистые, красивые! Он сел. И ноги - человечьи! Он бросился к реке... Зеркальная гладь отражала человеческое лицо, но он, еще не веря, ощупывал его ладонями и вдруг - в чем мама родила - завывлясывал на песке дикий, неопиcуемый танец неумного восторга...

## ЛЮБИМАЯ ИГРУШКА

### 1.

Из автобусной толчеи я вырвался с помощью локтей, и вслед мне матюги летели. А на остановке - Надя! В моей замусоленной брезентухе, которую я, кроме как в лес, никуда не надеваю. В брезентухе прямо на домашний халат да еще в добавок вся растрепанная! Надя никак не похожа на аккуратистку себя.

- Какие люди в Голливуде! - я беру Надю под руку, я доволен: мне не придется ее сегодня будить, не будет недовольных охов.

- Соскучилась по мне, встретить решила? - игриво спрашивал я.

- Лешка пропал! - меж бровей у Нади вертикальная складка.

Такая складка бывает у Нади, когда я что-нибудь делаю не так или не вовремя. Надя, без охоты - мне уступки ради - занимаясь ночным делом, этой складкой меня убивает! Мне, бывает, хочется заорать, не делай, мол, такого страдающего лица, а то у меня желание на тебя пропадет. Сегодня у меня приличное настроение. Полный ажур на работе и вообще...

- Так это, выкуп надо готовить,- ерничая, обнимаю я Надю в подъезде, заметив на свету, что она замерзла, ее колотит.

- Какой выкуп! - Надя обиженно высвобождается.

- Не слыхала разве, ребенка уворуют, а потом выкуп у родителей требуют... - я улыбаюсь и жду: Надя тоже улыбнется, но она нахмурилась сильнее.

- Только у тебя и просить выкуп! - она уже злится. - Едим не каждый день досыта! Савельев, я говорю: сына дома

нет, а ты в ответ ерунду мелешь!

- У соседей была? У близнят? - только в квартире, такой пустой и невероятно чистой без Лешки, я начинаю беспокоиться, до меня доходит, что парня действительно нету дома!

- Близнята сознались, что Алешка четыре дня в школу не ходит, а лазает по подвалам с Прыгуновым, ну, это который в специнтернате дважды уже побывал, - потерянно как-то сообщила Надя.

- Друга хорошего нашел! Ну, устрою я ему сегодня! Баню с предбанником! - разыскивая фонарик, плевался я. - Испорю! А ты не вздумай защищать! А то и тебе перепадет!

Подвалы - обиталище бездомных кошек и крыс. Они, кстати, довольно мирно существуют, без грызни.

К пяти утра я проверил и обыскал все раскрытые подвалы в нашем районе. Обыскав очередной, мы с Надей спешили домой, надеясь, что Лешка вернулся и уже дрыхнет. Но дома - пусто. А по Алешкиному дневнику я понял - в школу он не четыре дня не ходит, а все восемь! Утром мы звонили на работу.» Когда выйдешь?» - спросили Надю.» Как сына найдем, сразу,» - ответила она. То же говорил и я. А потом мы пошли в милицию...

## 2.

Трудно дышать. В горле сухо, шершаво. Спазмы. Кажется, вот-вот оторвется тело и рухнет, а голова зависнет - так ее, бедную, расперло. Повеситься или с балкона - враз...

Ну почему он так! Отказывал я ему в чем-нибудь, обижал? Да я только о нем и думал, для него жил! Ч-черт! Как трудно дышать. Сердце, как листочек желтый на ветру, чуть - и сорвется. Мама! Мама! Кажись, мне только раз было так худо. Пацаненком еще. Побили меня на улице, и, вернувшись домой, в кровати уже я ждал: папа с мамой подойдут ко мне. А они даже и не заметили, что я вернулся: у них в комнате скрипела кровать, папа бубнил, мама тихонько охала и смеялась.

Я лежал и зажимал рот: только бы не заорать, только бы не зареветь от обиды и жалости к себе. Крик я сдержал, но слезы - подушка к утру насквозь промокла, а мама подумала - от пота, на работу уходя, она голову мою ощупала, не

заболел ли часом...

Стоп! А может, а может я тоже обидел его нечаянно? Так же вот, как меня родители? Не-ет! Я не мог его обидеть! Лена! Ленушка! Ну зачем ты умерла?

И зачем я клялся мысленно над твоей могилой, что наш сыночек... Помнишь, Ленушка, я ведь желал его любить и за потерянную тебя! Разве что-то я делал не так? Разве...

- Саша... - я дергаюсь, я не слышал, как подошла Надя, я смотрю невидяще.

- Саша! - повторяет она. - Ты куришь десятую сигарету... Успокойся, найдет милиция...

- Найдет?! - ору я. - Милиция!? Хорошо говоришь! Хорошо тебе и говорить - не твой парень! Милиция! - я уже визжу, захлебываясь. - Ты вспомни, как они на нас смотрели! Из нормальных семей дети не бегают! Милиция... Да начхать им! Третья ночь идет!

Надя пятится, и я понимаю, что напугал ее - Надины плечи почти проглотили голову, а щеки ее враз намокли. Я срываюсь со стула, шагаю к ней, прижимаю лицо ее к себе:

- Поплачь, поплачь! Станет легче! У меня-то, видишь, и слез нету... - я глажу Надю, желая зареветь и сам, я давлю из себя слезы, я до рези напрягаю глаза. Но слез нет - вместо них слабость в ногах, дрожь кистей и горечь в горле.

- Давай поспим, - шепчет Надя, - меня ноги не держат, Сашенька, давай хоть часок вздремнем.

- Давай, - безразлично соглашаюсь я. Мне не хочется спать. За трое суток я позволял Наде отдохнуть всего два раза, а сам не закрывал глаз и на минуту, но мне не хочется спать. Ночами мы обшаривали чердаки и подвалы, сараюшки и другие всевозможные места, где можно укрыться от дождя и ветра, а днями бродили по улицам, расспрашивали детишек - знакомых и незнакомых.

Нет, надо и мне отключиться! Надо поспать. Я плотно сжимаю глаза и отчетливо вижу тот день. Батя неестественно веселый.

- И в кого ты такой, худоба! - он стаскивает меня с кровати и, схватив за волосы, тихонечко выталкивает в прихожую, к трюмо. - Глянь на себя.

- Иди ты! - я не сопротивляюсь, мне приятно - наверное, в сотый раз - пожаловаться: - Знаешь ведь, в армии я подцепил эту дрянь - чахну и весной, и осенью стабильно. Бать, а за клюквой Лену возьми.

- Я тебя больного не оставляю! - возражает она, но не наотрез, а неуверенно.

Ох, Лена, Ленушка! Если бы ты умела не соглашаться твердо!

- Алешка...

- Мне уже легче, - я перебил тебя, не позволив договорить, - и с Алешкой мы разберемся, он у нас большой! Поезжай, Лена. Одевайся поскорее, там мама в машине ждет.

Лена уходила за отцом неуверенно, а я ее успокаивал:

- Выживем до вечера как-никак, это же не долго. Не целуй меня, я больной...

Я проводил ее до порога... НАВСЕГДА! Они все- мама, папа, Лена - уехали. НАВСЕГДА! Я видел остатки машины - специально и то так не разбить. И не верилось мне, что за рулем был отец, он ведь всегда ездил осторожно...

Я бы, наверно, лег в могилу вместе с вами, но Алешка... И я клялся, глотая слезы, заменить ему маму, бабушку и деда вместе взятых. Алешка, разве я тебя обижал?

Надя спит. Она посапывает, уткнувшись мне в плечо. И у меня от этих негромких звуков горит душа: и как только она может дрыхнуть!?

Конечно, ей начхать! Поглядел бы я, как бы она завертелась, будь Алешка ее родным сыном. Алешенька! Голодный! И замерз, небось, ночи-то вон какие! Холодрыга!

С трудом сдерживая раздражение на спящую Надю, я встаю, иду на кухню, закуриваю и одеваюсь. Пробежусь еще разок по улочке, вдруг услышу чего...

Мне не жарко в теплой куртке, а каково Алешке, он ведь умотал в одной джинсовке и свитере. И опять у меня вялость в ногах. И опять на ум идут Лена и та осень. Тогда ветер тоже был влажный хлесткий, как сегодня.

Лена. Любил ли я ее? Не знаю. Пока жила, рядом была - не знаю! Я понял, что она значила, после. Четыре года я не мог смотреть на женщин. Почему-то я их ВСЕХ ненави-

дел. Знакомых - за сочувствие, незнакомых - за невнимание, непонимание. Лена, мама, папа, я вас помню! Я и об Алешке не забыл. Я ведь его не продал, не предал, правда, Лена. Но и без женщины плохо. А Надя хорошая!

Она любит Алешку. И Алешка ее тоже... ЛЮБИТ!  
Прости, Лена...

Алешка, Лексей! Я-то заменил тебе всех, я долгих четыре года никому не позволял дохнуть на тебя, а ты? Ты мне кого заменил? Чем ты мне оплачиваешь?

Надя. Надюша. Завтра отправлю тебя на работу. Достаточно, что я, как пес-гончак, рыщу по улицам день и ночь...

Надя вошла в нашу с Алешкой жизнь в день его десятилетия. А до этого сын и не подозревал о ее существовании. Мы с Надей крутились, как могли, лишь бы он ни о чем не догадывался. Я верил, что поступаю мудро! Но Наде надоело. Она устала играть в прятки, устала жить наспех.

- Конечно, Саша, я боюсь, что он меня не примет, он ведь уже очень большой - десять лет: возраст! Но попробовать нужно. Пусть он посмотрит на нас, а мы на него... - доказывала мне Надя.

- Давай, - согласился я, - приходи к нам в день его рождения. Принесешь в подарок танк на батарейке, ему хочется такой давно.

Помню, как несмело входила Надя в хорошо знакомую ей квартиру. Алешка с близнятами Лариком и Инкой (его одноклассниками из квартиры за стенкой) сидели на кухне и пили чай с тортом. Увидев танк, сын забыл про торт и про гостей. Кто скажет, что я поступил неверно? Алешка и к Наде сам подошел, когда она домой засобиравалась.

- Тетя Надя, тебя заругают, что поздно пришла?

- Некому меня ругать, Алеша, просто живу я далеко, а утром рано на работу... - ложь Наде давалась трудно, я видел, как деревенеет ее лицо.

- А ты где больше спать любишь, на диване или на кровати? - продолжал расспросы Алешка, оглядываясь на меня. Я поощрительно мигнул ему.

- На кровати... - выдавила Надя, а мне впервые! - впервые после катастрофы - стало по-настоящему смешно.

«Конечно же, на кровати - диван-то скрипучий!» В тот вечер я обнаружил, нечаянно взглянув на себя в зеркало, что стал меньше сутулиться.

- Тетя Надя, а у нас есть кровать! Мы с папой на диване посним! Правда, па? - уговаривал Алешка, взяв Надю за руку. Так он предложил то, чего желали мы с Надей.

Ночью я несколько раз пробовал перебежать к Надюшке, желая хоть бы шепнуть:

«Ты ему понравилась!», - но сын просыпался и хватался за меня: - Куда ты, па?

... - До чего же ты ненормальный, Савельев! - возмутилась Надя. - Понять не могу, зачем, для чего я тебе!? Для кровати? Только для кровати!? Ну скажи мне - нет! Соври по-умному, как ты хорошо умеешь, и я, может, снова поверю тебе!

- Не буду я врать! - решительно рубанул я. - Идем ко мне! Пора давно нам жить вместе. Да и пора и надо мне быть попроще. Никто, наверняка, так, как я, с детьми не цацкается, не валандается!

- Я слышу речь не мальчика, - грустно качнула головой Надя, но начала одеваться, - я хоть посмотрю, как твой сынулька встретит такой сюрприз.

- Моя забота! Но предупреждаю...

- Сто раз знаю - общий язык! А это уже моя забота...

- Алешка, - шепнул я ему дома, когда Надя ушла в туалет, - у тети Нади потоп! Помнишь, как у нас в прошлом году? Разрешим ей пока у нас пожить?

Алешка, сглотив, кивнул утвердительно - РАЗРЕШИМ! А у меня почему-то закралось подозрение: его кивок касается лишь потопы, ремонта. Но - так или нет, Надя осталась у нас. Черт возьми! Не худо все шло-то! Алешка неплохо к ней отнесся!

Я его спрашивал - он всегда соглашался, что тетя Надя вкусно готовит, и еще ему нравилось, что уборку его делать я не заставляю! Все эти дела и заботы Надюша добровольно взвалила на себя и никогда не жаловалась, но требовала помощи.

И никогда она - в крайнем случае при мне - Алешку не обнимала! Никакой неловкости, натянутости я не ощущал! Так в чем дело ?

**Я НЕ ПОНИМАЮ СВОЕГО СЫНА?** Неправда! Он не возражал против Нади! Потому и вещи ее незаметно переехали к нам, а комнату мы сдали в наем - материальное подспорье! Так же незаметно и спать я переместился на кровать, а сын остался в одиночестве, на диванчике... Ч-черт! Опять я думаю о том, о чем нельзя !

Приехал, как говорят, откуда выехал! Все! Хорошо!

Обойдя торопливо все знакомые - значные - места, я ни с чем побрел домой. Пинал густо засеявшую тротуар листву, зябко кутался, курил. Осень - мусорщица! Но еще больше мусорят люди, вон сколько насыпано около мусорных контейнеров! Неужели нельзя вывезти их вовремя? И из-за такой мелочи, а живем будто на помойке!

Бросив окурок в контейнер, я едва не сел с перепугу: оттуда вылетел ошалевший воробей и чуть не врезался мне в лицо. Меня аж в пот кинуло...

Ч-черт! мне отчетливо представился Алешка! Я сообразил, кого он мне напоминал мне последнее время - **ВОРОБЬЯ!** Нахохленного, зазябшего воробьишку! Меня раздражала его привычка прикрывать нос ладошкой! Родинка там, на кончике носа маленькая совсем родинка, и он ее стесняется! Дурачок! Да для меня он самый красивый ребенок в мире!

Не знаю, от чего мне стало легче. Дышать вроде могу и голове не больно.

Неделю или чуть больше Алешка подходил ко мне. Несмело, неуверенно, прикрывая нос ладошкой, кажется, он хотел о чем-то поговорить. Чем я занимался? Ничем! Просто сидел и думал. **ОТМАХНУЛСЯ** я, я занят! И поэтому он сбежал из дому? Но это же не причина! Может, права Надя, говоря, что лень виновата? Летом-то Алешка пропадал на улице до темна, и я его не ругал, но теперь-то - школа!

Ну, строжу я его, если после восьми не в хате, хожу, ищу, ругаюсь, загоняю в квартиру и оценок хороших требую. А однажды даже за ремень схватился! Правильно, не понравилось ему, но неужели из-за этого можно убегать из дому,

даже ночевать, есть, пить не приходиться? Что, с утра ему не нагуляться?

В школу к часу! Ради Бога, вставай вместе со мной, я на работу, ты дуй и гуляй! Но вечером - как штык! Да и чем заниматься на улице в темень? А чем занимался я в его годы? Бывало, и по подвалам шастал, и покуривал втихаря, но домой-то всегда являлся! Ну, час какой-нибудь еще туда-сюда, но никак не больше!

Я понимаю, Лешка, дружка твоего. Бардель у них, видеть бы тебе! Папа с мамочкой лыка не вяжут! Квартира перегаром провоняла! Насилу я добудился. Понял одно - чадушко ихнее бегаёт не в первый раз. Нагуляется, жрать захочет, придет, уговаривал меня пьяный папашка...

Милиция бездействует! Три раза звонил - никаких сдвигов.

### 3

Надя, думал я, спит, а она как, привидение, навстречу, едва я дверь открыл.

- Саша! Зоя приходила! Она говорит, что близнята сегодня батон украли!

Всухомятку они не научены. Так и врут, что собаку бездомную кормили! Врут! Явно врут! Если уж мать их так считает... - Надя сильно волнуется, у нее даже глаза слезятся, а я вдруг совершенно успокаиваюсь. - Саша, может, они беглецов наших кормят? Может, недалеко они? Живые?

- Может, может. Ты, Надя, ложись, поспи, а завтра иди на работу. Смысла больше не вижу, обоим нам мотаться. Кто знает, сколько этот олух пробегает... - я сажусь на пол и вытаскиваю из под кровати ящик с Алешкиными игрушками.

Я касаюсь их осторожно. И еще осторожнее - по одной - подношу к лицу. Я внимательно их разглядываю. Пытаюсь сосредоточиться. Я хочу понять сына.

Игрушки помогут. Любимые и нелюбимые игрушки. Попугай. Ванька-встанька. Самосвал.

Пистолеты, танк. Танк надоел ему за один вечер! «Зачем ты его бросил? - помнится, спросил я. - Он ведь такой дорогой! И тетя Надя дарила не для ого, чтоб ломать...» Он не ответил, только посмотрел исподлобья, хмуро.

У меня дрожат руки. Где же она - любимая игрушка сына?

- Сашша! - Надя вскрикивает, видно, думает, что я сошел с ума, раз роюсь в игрушках. - Саша! Делать что-то надо! Пойди в милицию и потребуй, чтобы допросили Ларика и Инку!

- Я, Надя, умнее поступлю, - продолжая разглядывать игрушки, возражаю я, - завтра я сам прослежу за этими кормильцами.

Напрасно я перебираю игрушки. Ничего они мне не скажут. **ВЕДЬ Я НЕ ЗНАЮ ЛЮБИМОЙ ИГРУШКИ СЫНА!** Я не помню ее. И, осознав это, я разбрасываю игрушки по полу, пинаю их, топчу.

- Саша! Сашка! - Надя пытается оттащить меня от игрушек, и я бью ее наотмашь по лицу. Раз и второй. Мне нравится ее немой испуг. Мне нравятся ее глаза! Еще никогда не было у нее таких красивых глаз...

- Я уйду от тебя! Уйду!

- Я убью тебя, - я говорю это ровным, спокойным голосом и по ее молчанию чувствую: она никуда не уйдет, даже если и не простила.

Слежка, оказывается, занятие нудное. Мне надоело сидеть в кустах и ждать, когда близнята выйдут из дому. Но я упорно жду. Я отчетливо представляю, как следом за ними подхожу к сыну. Я не стану его наказывать. Я даже ремень - приготовленный было - изрезал!

Я тщательно обдумываю первую фразу. «Здравствуй, беженец!» - плохо. «Привет, сынок!» - еще хуже! «Что ж ты, Алексей, гуляка...» - нет, голова моя сейчас просто не в состоянии мыслить. Все - слова! Да и что слова? Слова придут сами. На месте. Самые необходимые слова.

Не знаю, как я заснул: все ж таки - четвертые сутки на ногах. Спал я минут десять, пятнадцать от силы. И снилось мне: поздно ночью я шел к жене и сыну от родителей... Повторялась явь: так было, я и впрямь так шел. А когда заметил шагах в двадцати от меня нехилого мужика, почему-то решил его обождать.

Но он не пожелал сближения, а спрятался за угол. Вы-

ждав немного, я тронулся дальше, а он - за мной! Я припустил, он тоже! Он меня преследовал! Забеспокоясь, я повернул ему навстречу. Он - от меня. Он не хотел что бы я его разглядел! Мне стало страшно, и я помчался к дому, не разбирая дороги, а у подъезда заметил: он совсем рядом, позади! Кто ты, гад? Чего надо, хотелось заорать мне, но я слишком тяжело дышал. Сейчас этот маньяк вломится за мной в квартиру, а там Лена, Алешка... мама! Осенило меня возле двери. За ней я тебя обожду! Мы в темноте подъезда еще поглядим - кто кого! Я сам ТАМ начну тебя преследовать! Так было в жизни. Войти в подъезд мужик не насмелился.

Потоптавшись, чувствуя, что я затаился и жду, он ушел. Но во сне-то он меня догнал! Он бил меня молотком по голове! И кровь заливала мне глаза! Если бы не этот сон, я проспал бы близняшек...

Ларик и Инка вышли с портфелями, я успокаивал себя: кровь во сне к родне. Надя так говорит. Значит, я найду сегодня сына!

Близнята привели меня к дощатому забору, ограждающему больничный комплекс и парк, весь желтый и шуршащий от облетающей листвы. Нырнув за ребяташками в пролом, я увидел, что направляются они в глубь парка, к вагончику. Я перебежал от дерева к дереву, а подкравшись ближе, перестал дышать.

- Дюша, Лешка! - Инна стучала ладошкой по вагончику.

Вот стервозина, подумал я, ведь как допытывались, просили, а не знаем, и все тут! Больше ноги этих близнят в моей квартире не будет!

Алешка и его дружок появились, выползли, как ящерицы, откуда-то снизу. Грязные, с опухшими лицами. Они рвали на части батон и глотали не жуя.

- Леха, - Ларик взял моего сына за локоть. - Тетя Надя звала тебя домой. Батя не накажет, он переживает, не спит и не ест.

- Не пойду! - набитым ртом буркнул Лешка.

Мой сын! Ему начхать на меня! Он в гробу меня видел! Завтра ведь так и скажет!

- Ппайде-о-ошь! - я выбежал из укрытия и кинулся к сыну.

Если бы он не побежал. Если бы он не побежал!

Они все побежали, врассыпную бросились, но я увидел только белесый затылок сына.

Схватив за ворот, я бросил его лицом в траву.

- Бегать от меня , сучка! Моду взял! Я научу тебя вольготно жить! - разъярясь до ослепления, я бил его, пинал.

Опомнился я, когда он перестал охать. Сын мой! Сын-нулька! Лешенька, что я натворил? Я встаю на колени, переворачиваю сына лицом к себе, и на меня смотрят удивленные, широко раскрытые, неподвижные глаза, а к носу прилип грязный березовый листок...

# РЫЖИЙ

## 1

По возвращении из колонии Андрей поумнел настолько, что постоянно, дважды в неделю, посещал бюро по трудоустройству. Жить нужно честно! Надо трудиться, приносить пользу обществу.

Однако общество, благодаря которому Андрей сел, полиняло! Отсутствовал всего какие-то полтора года, а вернулся как на другую планету: оказывается, и такое возможно в Сэсээре - снующие деловитые мальчики в бобочках и вареных штанишках, со жвачкой, размалеванные тюлевые девочки. Город превратился в большую барахолку. Родной брательник - коммерсант! Ну брат, еще куда ни шло, в коммерческом отделе при госпредприятии пашет (или отдыхает?), а вокруг вон сколько самопальных - навывползали, черт-те!

«Лед тронулся!» - повторял Андрей знаменитую фразу, в очередной раз покидая бюро. Жизнь ему начинала нравиться: родная милиция бережет и не спрашивает, где ты берешь средства для существования. Трудиться никто не принуждает, никаких ограничений! А больше Андрею и не надо: квартиру брат сохранил, даже работу подыскал. «Дурак я, что-ли, горбатить?» - думал, отказываясь, Андрей. Ничего неохота просить у брата и обязанным ему быть тем более - не в жилу, а раньше-то в одной квартире обитали, чин-чинарем, Галсанна путноугодливой была, а племяша Андрей любил, да и любит как сына, а может, и сильнее. Теперь брат переехал, и зайти к нему нельзя! Галсанна выгнется, изведет ее, бедную, и зафурсит она, как печка-буржуйка! И брат недоволен. Один племяшка рад. Наплюнул Андрей ходить к брату, ну их, пусть фуфырятся. А Олежку можно и в детсаду навестить: высмотреть племянника на участке, когда малыши гуляют, подозвать

к решетке, по головке погладить, пару конфеток - обязательно! - в карманчик опустить и выслушать: «Пасипа, тетя Трюша...» И опять пойти по своим делам.

С крутыми ребятами, их главой Веней Лазером, свел Андрея давнишний приятель, друган-душа, Юраська.

Работа понравилась. Раз-два в неделю поторчал, где скажут, и после - месяц без проблем. Так что деньжата можно иметь, не напрягаясь. Другое дело запашок! Сидел Андрей не за воровство, не за грабеж. И сроду чужого не брал, но уж коли на то пошло, да ежели хорошо-то подумать, то эти денежки все равно трудяге не попали, и ничего страшного нету, если какой-то ярый торгаш отстегнет некоторую часть за ради собственного спокойствия Андрюхе!

И благословлял перемены и новую власть Андрей ежедневно и еженощно. Сомнения гнал - не баушку старую обираем, да и - сами дают! Долго думать - голова заболит, а головушку поберечь нужно - молодой еще.

## 2

Усталый народ тянулся к проходной и, делясь на три потока, скрывался из вида. Конец смены...

Отпустив секретаршу, Халиков сел к столу, вздохнул. Первую половину месяца пришлось побурлачить: ездил в Ярославль, Питер, выбивал для тружеников табак и, конечно, проворачивал другие - нужные и ненужные предприятию - операции. Контактировал напрямую, на интерес - пригодится. Отворотясь от окна, Халиков задумался: последнее время поднималось непонятное отвращение к должности. Порывало бросить все и вернуться в отдел, на худой конец - уйти в цех. Но понимал - это глупость! И бодрил себя, отвлекался: «На голом месте, ни связей, ни умения, а за год - миллион оборота! Кто бы больше-то смог? По трудам и почет! Кабинет, два телефона, секретарь-попочка... Кто к любому заму генерального дверь пинком открывает? Халиков. Кто, промежду прочим, любого начцеха послать может? Опять Халиков! Неинтеллигентно? Потому и хорошо - я не в чинах роюсь, мне что начальник, что уборщица - едино - все люди...»

Хитрит Халиков, перед собой и то хитрит. А как же иначе - должность обязывает.

Нужного человека Вадим Петрович отличить умеет и форму общения чувствует заранее - интуиция! Воспитан Халиков в духе атеизма, а тут вдруг суеверным стал. Боится утром - ни-ни, все равно что черная кошка дорогу перебежала. Вот и отпустил бородку, нельзя же, в самом деле, выглядеть помятым. Бородка, кстати, недурственно смотрится - скрывает второй подбородок, а к смуглой коже, черным, навывкате, глазам, темно-каштановой волнистой шевелюре, не худое дополнение. Мелочь, - а шагает Вадим Петрович на работу, больше всего заботясь, чтобы первым встречным был мужик. Если женщина попалась и в сторону увильнуть не получилось - ни одного мало-мальски серьезного вопроса в этот день Халиков решать не станет.

И еще - по вызову генерального Вадим Петрович идет в костюме при галстуке, а встречая посетителей, предпочитает предстать в неброском свитерке, куртончике. Обстановка должна и обязана располагать! Пусть собеседник видит - перед ним не кабинетная крыса, не акула какая, а простой и скромный советский труженик. Не место, мол, красит человека...

«Человека нужно чувствовать!» - подумал, но не сказал бы Вадим Петрович, спроси его об этом. И то правда, Вовик, к примеру, кем был? Гнить бы ему, пропадать, глядишь, и сел бы опять, а Халиков подобрал. И посылай Вовика к черту на рога, поедет и сделает все, что надо и как надо! А Жучков? Спец! Штуку вон изобрел: давани на кнопку, и Вовик с Жучком в шесть секунд в кабинете. С работы раньше начальника не уйдут... Ценные кадры! Языки к тому за зубами держать умеют...

Звякнул коротко внутренний телефон.

- Вадим Петрович, тут к вам, говорят, из Москвы...

- Пропустите, - распорядился Халиков, удивясь заинтересованно. Контакт со столицей не имел.

- Здравствуйте, садитесь, слушаю вас, - пригласил он посетителей жестом.

Тот, что помельче, юркий, незаметно так, вроде бы, сунул на стол визитку, а заговорил второй. Рыжий, коротко

стриженные кудри, красный цвет лица и глаз - выражение злости, растянутое в улыбочку.

- Просьба у нас, Вадим Петрович, махонькая, малюсенькая просьбочка, посодействуйте...

Халикову хотелось рассмотреть второго, мелкого, чувствовалось - главный он, но отвести взгляд от рыжего почему-то не удавалось.

- Пару недель назад вы получили импорт - магнитофоны... - рыжий замылся, точно у него истощился словарный запас.

- Вы что, хотите приобрести?

- Всю партию! - рявкнул рыжий.

Халиков расхохотался...

- Нет, ребята, весело с вами, - стирая с лица ладонью слезы, а вместе с ними и веселье, уже серьезно заявил он, - это же собственность предприятия. Один еще можно бы попробовать, но и то не за глазки-лютики, конечно...

- Тогда фирма требует завысить цену. Штука-полто...

- Работникам предприятия товар пойдет по госцене, с небольшой надбавкой за доставку... Все, товарищи... До свидания...

Интерес пропал, Халикову стало грустно.

- Ты! Пузан! - повысил до шипа тон рыжий.

- Вадим Петрович, - ласково, угрожающе-ласково, заговорил маленький, - мы же взрослые люди. Умные люди. И заботы у нас общие...

- До свидания, - устало изрек Халиков, - мне до фени ваши проблемы.

Рыжий вскочил и, оглядываясь на маленького, попер в лобовую:

- Пузан! А о сыне и женушке-красотке позабыл?

Халиков нажал на кнопку. В дверь тут же постучали.

- Ребята, - обращаясь к вошедшим Вовику и Жучкову, Вадим Петрович морщился, будто держал под языком ломтик лимона, - попросите товарищей покинуть кабинет.

- Оп-перативно... Сука... - засипел рыжий, но маленький потянул его к выходу.

Пронаблюдав, как отвели гостей за проходную, Халиков посмотрел на часы. Семнадцать двадцать - пора домой. Настроение, недавно игривое, испортилось. А в плохом настроении Вадим Петрович часто вспоминал о младшем брате, тяготясь виной перед ним. Какая же вина?! Своего ума, как известно, не дашь! Видит Бог, желал Вадим брату добра. Вернулся Андрюха со службы - все для него, работенку интересную, по профессии подыскал. А младший (это ягненочек-то!) - надо же за два года так поменяться, в кабаке вышибалой полез, здоровья накопил, ч-черт! Как ни уговаривал Вадим, как ни упрашивал взяться за ум, не ерундить - не помогло. Довышибался Андрюха, вышибли самого да напрямиком на лесоповал. Пусть и не вина, а неловкость определенная есть: Вадим считал, что мог повлиять положительно и должен был - не глупый же, в конце концов, Андрюха! Но вот теперь полгода уже, как, отмотав срок, Андрей вернулся, а заходил всего дважды, оба раза в дугу пьяный: дурная мода! Чем, понятно, и разолил, и настроил против себя Галину...

Решив навестить брата, Халиков достал из сейфа бутылку коньяка и защелкнул ее в чрево черного кожаного дипломата.

Шел, вдыхал полной грудью, щурился на августовское солнце - погодка шепчет... Но беспокойство терзало, и этому в себе - удивлялся! «Пустяк способен потрясти! Шалят, ой, шалят нервишки! Брошу к чертям работу адову...»

Андрей открыл, удивился, но виду не подал.

- Здорово. Проходи. Чай, кофе?

- Водка, пиво, бормота? - вопросительной скороговоркой ответил Вадим и, проходя, осмотрелся. Обстановка... Здесь выросли братья. Здесь умерли отец, мама... Но будто ничего не изменилось - тот же диван с неумело, вручную заштопанной прорехой на серой обшивке (это Андрюшка назло отцу разрезал), комод старенький, обшарпанный, маленькая закопченная кухонька. Какие, бывало, пироги пекла мама! А сколько раз набивал Вадик синяки и шишки, защищая брата! Вырос Андрюха, вон куб какой, втроем не сдвинуть.

- Давно не заходишь... Дай, думаю, проведею, - выставив коньяк, начал Халиков-старший.

- Хитришь, лис! - беззлобно, скорее с шутливой грустью, усмехнулся Халиков-младший, открывая холодильник. - У меня пусто. Помидоры, конфеты - устроит?

- Потянет, - успокоил Вадим.

Пили тихонько, много говорили, вспоминая родителей, детство, знакомых. Бутылка опустела, и Андрей изъявил готовность отыскать еще.

- Не стоит, - остановил Вадим. - Домой пойду.

- Постой, - не понял младший, - заходил-то зачем?

- Да соскучился. Ты забегай, брат. И вообще - не обижайся, - Вадим, отпустив пятерню младшего, вышел.

Андрей постоял, хмыкнул и, набросив куртку, выскочил вслед. Догнал.

- Провожу, пройдемся пешком?

- Пройдемся, - согласился старший. Коньячные пары не сняли его беспокойства, и Андрей чувствовал настроение брата, но с расспросами не лез, не имел привычки.

- Пуганули меня сегодня, - как о чем-то ничуть не волнуящем, постороннем, вяло обронил Вадим.

- Ну-у? Кто ж это такой смелый выискался? - недоверчиво спросил Андрей.

- Да вот, - Вадим выгнул из кармана визитку, - господ-товарищи с «Ииспо».

- Лапша! Серьезные люди не пугают, а сразу давят, - усмехнулся Андрей, разглаживая визитку.

- Согласен, - мотнул головой Вадим и спокойно добавил, - но карточку оставь себе, если что - все ориентир, откуда ветер.

- Ты... Ты что! - заволновался младший. - Тронулся или как? Полезли бы они с бумажкой...

- То-то и опасаясь. Верняк, «Ииспа» эта - козел! Для запаха, так скать... Но кому-то не по нутру коммерческий отдел. Цену поднять требовали. Ты понял? Сын, мол, у тебя, не понти...

- И ты их отпустил?! - при упоминании племянника Андрея затрясло. - Какая-то вошь...

- Отпустил. Всерьез не принял, а сейчас вот не по себе: визитку на стол и затявки... Не то... Ладно, давай забудем!

- Вадим засмеялся, заметив, что перепугал брата.

- Какие они из себя?! - схватив Вадима за грудки, скрипя зубами, бешено спросил Андрей. - Запомнил? Скажи - запомнил?

- Не дури, как в американском боевике, успокойся! - высвобождаясь, ругнулся старший. - И сказать-то тебе ничего нельзя! Рыжий один, кучерявый, глаза краснее морды, здоровый - тебя шире, а второй маленький, но какой - не разглядел...

Братья замолчали. У подъезда Андрей остановился, но Вадим потянул за собой:

- Давай еще по граммулке на сон...

- Галсанна с ума спятит...- засомневался младший.

- Пошли, говорю! Переживет, не миллион у меня братьев...

Устроились, войдя тихо, на кухне. Чистый, бледно-зеленый кафель, шикарная утварь - Андрей ничего не видел, в грудь его после рассказа вошло что-то горячее, шершавое: оно бодрило тело, но путало мысли.

- Вадим! - Галина как бы не заметила Андрея, - звонили три раза...

- Здравствуйте, Галина Александровна!- язвительно поприветствовал ее муж. - Олежка спит? А у нас - гость?

Олежка выбежал из спальни, взобрался на колени к Андрею, обнял за шею. Нежно прижав племянника и достав из пиджака конфетку, Андрей почувствовал, что в груди стало еще горячее.

Олежка, малыш Халиков, был точной копией отца. Природа распорядилась: общаясь с ребенком, Андрей улетал в детство, вспоминал себя, Вадьку. Вадик защищал не только от старших ребят, но и от отца с мамой: часто брал вину за Андрюшкины проделки на себя, за что и бывал бит. А когда мать хваталась за ремень, впускал Андрюшку к себе в комнату и, закрывшись, кричал: «Детей бить непедагогично!»

... Прощаясь, Вадим спросил:

- Работаешь где-нибудь?

- Ага, - соврал младший, - слесарю в автоколонне, - и,

помусолив пальцами, шепнул- мани-мани е? Подбрось, разбогатею, верну.

Вадим выразительно-вопросительно щелкнул себя по кадыку.

- Нет, - затряс головой Андрей, - женюсь вроде...

- На свадьбу позвать не забудь, - не поверил Вадим, но, не отсчитывая, подал пачку четвертных.

Выйдя от брата, Андрей поехал к Юраське. Внутри все прыгало, колотилось и горело, и Андрей не мог мыслить стройно, логично, но решил заняться вопросом вплотную, для чего и денег выпросил. Деньги имелись и свои, но на «закидон», о каком помышлял, могло не хватить.

Юраськи дома не оказалось, но именно он, Юраська, приступая к «работе», не курил, не пил, забывал о женщинах, и поэтому Андрей, прикидывая, где же приятель пригрелся, торопился от одной крыши к следующей. Отыскался у шлюшки Олюшки. Чертовка открывать не хотела, пришлось пригрозить.

Юрась, с перепоя и недосыпа, не врубился, зачем понадобился. Андрей намыл ему башку холодной водой под краном - не бирюльки! И среди ночи потащил к детскому саду.

- Брательника моего знаешь? Так вот, его сынишка сюда ходит, во-он то окно - его группа, а это - участок, гуляют здесь... Гляди в оба! Вот телефоны, говори от меня, если что! Зах�пают если, проследи: кто, куда. Сам не лезь, звони. Звони, понял? Я дня через три-четыре вернусь. Постараюсь вернуться, слышишь? Вот «полкуска», это плата, но гляди! Чего «не надо»? Бери, говорю. Я на тебя надеюсь...

Утром, тайком от брата и Галсанны, показал племяша Юраське и поехал по гостиницам. Сочинял на ходу, врал, не краснея, но те, кого он искал, нигде не засветились.

«Может, - прикидывал новоявленный сыщик, - свалили вчера, может, чего никак не хотелось, - кроме колес еще личная крыша.»

Так или иначе, а вечером Андрей лежал на второй полке скорого на Москву. Там в столице жил Женька Бусловец - вместе в армии трубили. Дембельнулись одновременно, ехали вместе, и Жека неделю целую не отпускал Андрея - гуле-

ванили. Много чего друг рассказывал и показывал, но Андрей хорошо запомнил только одно - с Комсомольской третья остановка и чуток на своих двоих. То, что Бусловец мог уехать-переехать, жениться, а то и валить лес под Архангельском, Андрея не беспокоило. Прикидывал он, как бы разыскать эту чертову шарагу «Испо», как половчее разнюхать, что почем, и, если понадобится, устроить «извержение вулкана», не подставляя при этом брата...

На звонок открыл Виктор Богданович, отец Жеки. Подслеповато сощурился, он все-таки узнал и крикнул:

- Евгений! Андрей приехал!

- Чертяка! Бичара! Шкаф трехстворчатый! - На радостях друзья толкались и тискались в прихожке.

- К завтраку, Андрюха, как раз. Садись, счастливце-ленивец, рассказывай! Три письма тебе отправил - ни на одно ни звука, сак ты формовочный. Не женился? Я тоже - баба на воз, мерин в стойло, и не ни жорева, ни пойла! - Жека любил поговорки. Он и в армии щеголял ими к месту и не к месту, а иногда, как теперь, разворачивал их на свой лад так, что становилось смешно.

- Как у вас в городе? Народ политикой доволен? - встревал то и дело Виктор Богданович, но его одергивала мать Жеки:

- Перестань! Одна политика на уме! Тоже мне деятель! Ты, Андрюшенька, не слушай... - Валентина Васильевна знала, что Андрей похоронил маму, когда в армии служил, а отца еще раньше, и поэтому сочувствовала.

Неловкость цаарапнула Андрея позже - шагали с Жекой по городу. «Вот, ввалился, как медведь в терем, переполошил, да еще и про «Испо» наляпаю...»

- Перестань! - обиделся Женька. - Андрюха! Черт возьми, я тебя не узнаю! Ты же наш, рабоче-крестьянский! «Неудобно»... Чтобы я больше не слышал! Ненавижу я эти интеллигентские выдрючивания! Ножкой еще пошаркай!

И Андрей поведал другу историю с шантажом, как представлял ее сам, но без некоторых моментов.

- Разберемся! - развеселился Жека. - Эх, пошурудим, Андрюха! Как тогда, помнишь? Капитан? Вырубить капита-

на! Морпех гуляет!

Вышли на Арбат. Потянулись вдоль улицы палатки и столики. Друзья замолчали. Андрей уже жалел, что поведал Жеке идиотскую историю, и думал, как бы отказаться от участия друга, не обидев его.

- Так считаешь, есть причина беспокоиться? А ну, по-кури, - Жека решительно направился к телефону и долго куда-то названивал. То весело и зло ругался, а то морщился и молчал.

- Нашлась твоя потеря у дедушки в штанах! - толкнул он Андрея, переговорив. - В понедельник вечером, если хочешь, познакомимся. Думаю, ничего серьезного, обыкновенные перекупщики. Всего скорее - рынок сбыта. Мальчики наверняка обиделись. Они же, ничем не рискуя, имели денежку: с одной игрушки пятьсот рэ. А твой родственник завалил, может, прилавки подобной продукцией по низкой цене. Кто теперь их погремушки брать будет? К ним не пойдут. Вот и зашебурились.

- Может, - согласился Андрей, - но ты ведь знаешь, я не терплю ходить в «мокрых штанишках». Попугали, значит? Ну, и я постращаю, чтоб впредь неповадно было!

- Всецело «за»! - засмеялся Жека. - В понедельник и устроим «шторм на берегу»...

Понедельник для друзей начался с сообщения о чрезвычайном комитете.

- Как же так? - недоумевал Жека. - Это что, все вспять?

- Хорошо-то как! - радовался Виктор Богданович, потирая руки. - Поприжмут теперь, давно бы пора, а то наплодили воря...

- Батя! - обижался сын. - Не понимаешь ты ничего! Это же опять в хомут. По одной досочке ходить...

Слушая их спор, Андрей думал: «Повеселились и хорош! Прощай, вольная жизнь, опять горбатить придется. Ну и хрен с ним, зато честным и чистеньким буду.»

Он почему-то поверил, что все это всерьез и надолго.

Жека вернулся с работы через три часа.

- Идем в город, Андрюха! Ельцин забастовку объявил,

народ волнуется, баррикады строит, а в центре полно танков и бэтээров. Нанести визит твоим друзьям можно прямо сейчас, война все спешет...

Друзья ходили по улицам, присматривались, прислушивались.

- В стране переворот! - тряся кулаками, кричал пожилой мужичок на Тверской. - Долой! Долой Янаевых, Язовых, Крючковых!

- Горбачев арестован! - перешептывалась небольшая толпа, читая листовку в переходе метро «Горьковская».

- Всем плевать! - петушился Жека. - Нас пока раскачаешь... Но смотри, есть и неравнодушные.

Андрей молчал. Внутреннее напряжение, заставившее ехать в столицу, достигло вершины. Раскальвалась, как с хорошего бодуна, голова, а тело то каменело, то рвалось в бой...

К вечеру друзья направились к Белому Дому, где заседало правительство России. Они слились с десятками, сотнями молодых и пожилых, с толпами девочек и мальчиков. Они, возможно, остались бы там до утра, но Жека заметил, что Андрей не в себе.

- Заболел? Пошли домой! Мы нужны здоровые. Отоспимся и придем сюда снова. Завтра!

Отец и сын снова ругались, доказывая каждый - свою правоту, и Андрей с каждым в отдельности соглашался - понимал. Но выпив чашку чая, он почти сразу уснул.

И снился ему настенный календарь-плакат с обнаженной женщиной, что висел в жекиной комнате. Календарь этот Жека нес на длинном шесте и, размахивая им, орал: «Время назад не повернуть! Свобода! Свобода! Свобода!» Потом снились какие-то люди. Они хватали малыша Олежку, заталкивали его в машину, куда-то везли. Андрюха кричал, бежал, торопился и не успевал догнать...

К Белому Дому друзья направились утром. Народу собиралось все больше и больше, к полудню многотысячная толпа заполонила все выходы и входы.

- А я говорю! - радовался Жека, называя Андрею фамилии ораторов. - Какие люди с нами! Вот и на Манежной

митинг, Шеварднадзе выступал - там народу море!

Друзья находились возле балкона, рядом с микрофонами, отчетливо видели и слышали каждого выступающего.

- Ель-цин! Ель-цин! Ель-цин! - скандировал народ, а по рядам уже полетел слушок - Борис Николаевич арестован.

И вышел Борис Николаевич.

Андрей не слушал, о чем говорит президент, слишком уж вид его за щитами и телохранителями, в отличие от предыдущих ораторов, действовал удручающе.

- Концерт, Жека, большой спектакль все это, прав твой батя, нам ли с тобой не знать, а? - неинтеллигентному Андрею стало тошно. - Зачем танки, зачем шум? Помнишь наш взвод? Припаши его на пару часов, и... Прав, прав твой батя, так и было, Жека. Один звякнул: вас-вась, а остальные подхватили...

- Плевать! Зато мы - защитники демократии! - вроде бы Жека говорит на полном серьезе, но в голосе его проскальзывает ирония.

Митинг закончился, и народ стал потихоньку расходиться.

- Останемся? Оружие давать будут... - Жека говорил что-то еще, но Андрей...

- Рыжий! - перебил Андрей.

- Тот самый? Не ошибаешься? - переспросил Жека.

- Если каждый рыжий разгуливает в разноцветном кожане и у каждого своя накладка - кот Леопольд на кисти, то, значит, другой, - Андрей и сам не знал, зачем он врет другу: ни о накладке, ни о кожане брат не упоминал...

Вряд ли кто обратил внимание - со стороны казалось: трое молодых людей вполне мирно, přátельски беседуют.

Зло, страх за племянника, кипящие в Андрее, нашли выход. От сильного, короткого удара локтем в грудь рыжий захлебнулся, а Жека приговаривал, внося назидательным тоном какой-то особый цинизм:

- Что ж ты, Вася, не бережешься? Врагов себе наживаешь? Нельзя так, милый, разве не слышал - мир тесен!

- За что? - хлюпнул рыжий после очередного удара. - Я! нико...

- Маленьких не нужно обижать, Вася, - настойчиво

уговаривал Жека. - Ты вон какой большой, а глупый. Ну объясни мне, голубь мой, как ты до жизни-то такой доехал?

- Я никого не... - рыжий опять задохнулся. Бить Андрей уму.

Избитого «вусмерть» рыжего бросили в каком-то подъезде, потом долго бежали. Наконец Андрей плюхнулся на беседку. Силы оставили его. Холодный пот пробил виски, подглазья. Перед глазами поплыло красное...

- Ну, Андрей Петрович, идем демократию защищать? - тормошил Жека.

- Да паш-шел ты... со своей демократией! - и Андрей выругался, как только умел.

### 3

Домой Андрей вернулся опустошенный, сам не свой. Худо было потому, что понял - катался в златоглавую напрасно. Чертову «Ииспо» они с Жекой все же накрыли, но оказалось - однозначно - никто из нее брата и не думал беспокоить, даже близко к городу не подъезжал: профиль другой! После чего Бусловец - Женька, Жека, Джек, Джон, друг лучший, и, наверное, единственный - заволновался и предложил Андрею руку. Мол, беру отпуск и еду с тобой, надо же разобраться и отыскать настоящего рыжего.

- Нет уж, - сухо отказал Андрей, - это тебя... не должно колыхать! Это у тебя тут рыжих навалом, а у меня... Сам разберусь!

Жека обиделся. Андрей, не извиняясь за тон, уехал.

- ... Все тихо, полный спок, - отчитывался Юраська, - никем и не пахло. А тебя Лазер трижды спрашивал, что-то срочное. Олька на шпильках прибежала, а зря, сам знаешь, она на шпильках не побегит! Я передал, что ты гудишь с армейским другом, так Веня велел, чтоб сразу, как оклемаешься, к нему...

«Что за срочность?» - насторожился Андрей. - У Лазера народу хватает, и никогда он в свиданки не играл...»

- Андрюха? Живой? - голос Вени в трубке показался Андрею притворно-радостным. - Где пропал? Давай, дуй срочно

ко мне. Дело есть на пол-лимона. Рюрика и Ольгу захвати...

- Ну и видок! - плевался Веня, распаковывая пачку денег. - Ты, Аленка, что - без перекуров с мужиками спишь или выходные бывают? Бывают? Непохоже... Андрей, смотри и слушай сюда, спрашивать с тебя буду: Ольгу намыть, сводить в парикмахерскую - прическу, маникюр, все прочее! Одень ее, как в лучших салонах Парижа. Усвоил? На хате у нее навести интим-идеал. Если мальчик на нее не клюнет, шурупь, но в двадцать три ноль-ноль он должен быть на квартире у Алены. Большие деньги светят, понял, Андрюша? За все-то ничего... Слышишь, Олюшка? Вот и работай, не подводи ребят и запомни - двадцать три ноль-ноль...

- А если он в кабак не придет? - озадачился Юрась.

- Придет, Рюрик, он там прописан! - успокоил, криво усмехаясь, Веня. - Давай, орлы! Времени на все у вас - в обрез!

Ребята вышли, а Веня, посидев сосредоточенно несколько минут над калькулятором, набрал номер:

- Вениамин Сергеевич? - ответила телефонная трубка почти мгновенно, будто звонка на том конце провода усиленно ждали.

- Людей своих я не дам! - сухо и твердо, не отвечая на приветствие, сказал Веня. - И даже нейтралитет обещаю только до утра... Раньше шевелиться было нужно! И передай Малышу - в последний раз!

- Вениамин Сергеевич, так раньше не... - сипло заволновался голос, но Веня отключил аппарат.

Если несколько минут назад, при разговоре с ребятами, Веня выглядел молодцеватым, добродушным, не лишенным чувства юмора мужиком тридцати или тридцати трех лет, то сейчас он смотрелся лет на сорок с лишним и напоминал собой нахохлившегося филина, и даже нос его - прямой, правильной формы - вдруг стал как бы горбатым и похожим на клюв.

Телефон зазвенел снова, и, выждав несколько секунд, Веня снял трубку.

- Нейтралитет стоит дороже! - тем же непреклонным тоном ответил он на уговоры. - Это твои проблемы, Малыш! Сколько? Хорошо, милиции не будет... перед закрытием...

позабочусь. Это все!

Отказывая приятелю, можно сказать, другу детства, в пустяковой вроде бы услуге, Веня знал, что делает: Малыш, он скользкий, обойдется, для него не проблема найти трех-четырех «маховиков» прямо на улице. Ведь фактически словом «нейтралитет» услуга уже оказана! И при этом - за хорошие бабки! Малыш к утру свалить чуть ли не до своей Прибалтики - пойдя, найди, а потерпевшая сторона придет за помощью к Вене, а не придет, так помощь предложить можно! «Безвозмездно!» Сегодня - безвозмездно, а завтра эта безвозмездность окупится десятикратно! Хваткие, деловые, смекалистые мужики дороже денег - это уже не детские забавы, а серьезный бизнес, с хорошим прикидом на будущее! И жлобов-маховиков уличных, безкрышных, потрясти - незряшное дело...

«Крала!» - думал Андрей, сидя напротив Юрася, искоса наблюдая за Ольгой, всю стараящуюся закадрить «мальчика», точнее говоря, кавказца, которому переехало далеко за тридцать. - Королева бала! Вот что значит видуха при амуниции! И такая женщина спит за здорово живешь с Юрасем...»

- Юр, давай причесон тебе как у Малинина забацаем? - критически взглянул на длиннорукого длинноносого длинноволосого товарища Андрей. - А, Юр? А тебе Ольгу не жалко? Гляди, какой хмырина ее сегодня в будуар поведет...

- Отстань! - беззлобно отмахнулся Юрась, продолжая уплетать за обе щеки жарчку, поданную официантом.

«И на кой хрен мы тут торчим? Ольгу пасем? Продолжал думать Андрей. - Она и одна справится. Этот «мальчик», похоже, ни одной юбки не пропустил бы...»

- Мальчики, можно к вам? - к столу Андрея и Юрася подвалили (другого слова не подберешь) две жеманные размалеванные девицы.

- Угу, угу... - засуетился, сглатывая торопливо, Юрась, но Андрей неприветливо отказал:

- Мальчики на побегушках! А мы в вас не нуждаемся...

- Мы от Оли, - нимало не стесняясь, располагаясь за столом, бесконфузливо, уверенно сказал та, что окрестила Андрея и Юрася мальчиками, - ей нужна ваша помощь.

«Помощницы на халяву!» - разозлился Андрей, но заметил, как весело перемахивается Ольга с девочками, что сели так нагло за столик.

- Знакомьтесь, это Володя, - начала Ольга представлять кавказца, подводя его ближе, - а это Аня, Люба... Лучшие мои подруги.

- Андрей, - не понимая Ольгиных выкрутасов, мрачно представился Халиков.

- Не клеует, - пожаловалась Ольга, когда «лучшие подруги» увели на танец и Володю, и Юрку, - за город зовет на какую-то виллу.

- Пока есть время, старайся его накачать, раз он к тебе клеится. А там придумаем что-нибудь! - успокоил ее Андрей, а сам подумал: «Вот черт! Да за такие бабки я этого фрайера заломал бы и на хребте до Ольгиной хаты допер, так нет - Лазеру подавай по любви, по дружбе!»

Воротясь к столу, Юрась начал травить баланду, так называемые анекдоты с картинками. Девочки во главе с Ольгой хихикали и хлопали в ладоши, а Андрей мучительно сообщал - как доставить «мальчика» к Ольге?

Юрась на минуту умолк, и Андрей с больной головы, ни к селу, ни к городу, вдруг ляпнул:

- Я требую продолжения банкета!!

Девчата захихикали, словно что-то сверхстроумное услышали, а Юрась подхватил:

- Я тоже! И предлагаю всем от имени Любочки и своего, конечно, поехать к ней!.. Или к Андрею, он тоже один живет. Ко мне? Ко мне нельзя никак - семеро по лавкам, - забормотал он, смеша компанию.

- Лучше ко мне, - ненавязчиво вмешалась Ольга, - видик покрутим, у меня классная эротика...

- Юрась, тебе платить по счету, а я иду брать «мотор», - считая дело решенным, поднялся Андрей.

Девчата опять захлопали в ладоши. Уходя, Халиков слышал, как Ольга нашептывала «мальчику»:

- Ну, Володенька, ну, недолго, а потом поедem, куда захочешь, хорошо?

- Шеф, тройную таксу за шестерых до Архангельской!

- обратился Андрей к зевающему таксисту. - Едем?

Ольга устроилась на переднем сиденье на коленях у Володи, остальные втиснулись на заднее...

Отъехали совсем немного, когда Анна, попавшая в подруги Андрею, заблажила:

- Шампанского хочу! Какой видик без шампанского?

«Шкура!» - подумал Андрей, но тормознул водителя возле ресторана, в котором до тюряги работал раздевальщиком. Но направился не к парадному, а к «черному» входу - поздно уже было.

Собираясь посигналить звонком, Андрей обратил внимание на стоявший неподалеку автомобиль: «Лазеровская телега! Чо он тут оставил?» - и, не позвонив, толкнул дверь. Она оказалась незапертой. Странно. Андрей скользнул неслышно по ступенькам в кухню.

- Светочка! Солнышко мое! - обрадовавшись, облапил он, испугав, официантку, когда-то хорошую знакомую. - Срочно три шампанских и коробку конфет... - И вдруг подумал: «Раз машина рядом, то и Лазер в зале. Во! Сразу и доложу - господин полковник, дело сделано!»

Андрей сунулся в зал. И неожиданно глаза его встретились с глазами брата: Вадим неподалеку кивал, говоря что-то одетому в хиповый костюм мужику напротив... А дальше все понеслось, как в натуральном боевике: проходящий за спиной брата крепыш выхватил из-за полы куртона бутылку и хлестко опустил ее Вадиму на голову, выпнув одновременно из-под него стул. Андрей затряс головой, думая, что у него едет крыша, но разглядел, как из темного угла ломанулись на помощь брату Жучков с Вовиком... И тут же были встречены и сбиты тремя мальчишками с дубинками. И Андрей, будто посторонний, одеревенело наблюдал: лежащего, не видимого ему брата топчут, пинают двое, а недавний собеседник Вадима сидит, только голову обхватил руками, словно это об нее разбили бутылку.

- Уа! У-а! - точно проснувшись, Андрей рванулся, сшибая на пути столы и стулья, к брату.

Он не видел, как крепыши, все пятеро, переключились на него. Он прыгал, как лев, пытаясь достать ногой мурло

того, кто разбил бутылку о голову брата.

Он не замечал, что замахи его пролетают впустую, что мальчики тоже что-то могут. В запале он все же сбил с ног одного, а за ним и второго, но тут же поймал порядочную дозу из газового баллончика прямо в глаза...

Очнулся Андрей на улице и, разглядев слезящимися горящими глазами неподвижное окровавленное лицо лежащего рядом брата, вдруг завыл. Он выл все громче и громче, не видя, не слыша подкативших машин скорой и милиции...

# Я В КВАДРАТЕ

*Галине Щекиной*

Один мой знакомый - уже довольно известный писатель - общаясь, смотрит сочувственно и грустно роняет:

- Писать можно о многом, но ты сам понимаешь - наиболее ценно пережитое, пережеванное, переваренное и прочувствованное неоднократно...

Он прав, и я благодарен ему - несмотря на занятость, находит время прочесть очередной мой опус и сказать несколько, иногда и одобрительных, слов. Я и пишу о жизни, в основном, о своей собственной. И то, что поведано дальше, творится со мной уже четвертый месяц. И возможно, мне никто не поверит, что все это именно так, скажут: придуряешься! А может, и впрямь это происходит только в моем мозгу? Тогда мне место в дурдоме...

## 1

Очнулся я далеко за полночь - в голове звенело, слегка подташнивало. Щелкнув выключателем, я осмотрелся - бардак, ужасающий бардель. Комната, смахивающая на клетку для поросы, когда я займусь тобой? Все-то богатство: уписанный неоднажды детишками, изрядно продавленный, скрипучий диван, обшарпанный, подаренный братом на нищету, письменный стол, а на нем машинка. И бумаги, бумаги, бумаги... Доля человека, пожираемого муками творчества!

Ого, половина пузыря осталась... Ч-черт! Почему я опять ничего не помню? Пора, что ни говори, завязывать, менять подобный образ существования! Верно, первое время графомания спасала меня от дуростей, я жил на бумаге, но теперь палочка-выручалочка не действует, не спасает с той поры, как

вселился я сюда, а моя бывшая супруга вышла замуж! Подумать страшно: мои сыновья зовут папкой чужого мужика! Наверно, он в самом деле хороший мужик, раз зовут! А мне обидно! Не сержусь на младшенького, ему четыре года, но старший-то - девятилетний, а родного батьку знать не хочет... М-да-а-а...

Я глотнул из горлышка и глянул на себя в зеркало: видок! Действительно, помят, небрит и пьян... Сколько же мне дурить? Люди женятся по пять-шесть раз, а я? Да мне, если еще намоюсь, больше тридцати не дашь! Женщину заиметь? Всерьез! Бросить бумаготворчество. Без меня писателей предостаточно! Брат постоянно говорит: «Покинь графоматерь, и к тебе потянутся женщины...»

После глотка вина в голове зазвенело сильнее, и вдруг я ощутил сильное беспокойство, скорее даже приступ непонятного страха. Мне показалось, что в комнате кто-то еще есть! Я глотнул из бутылки снова и осмотрелся внимательно - нет, все тихо и пусто, дверь заперта, и в ней ключ...

Страх не отпускал - изморозь колотила спину, дрожали руки. И боюсь-то не знаю чего! Нет, надо идти к брату, авось переночевать пустит, пусть и поругается немного...

## 2

Я боюсь. Шестую неделю он преследует меня, говорю - он, но что это на самом деле - не знаю, с одинаковым успехом о нем можно сказать - она, оно... Я говорю - «он», в моем сознании это невидимка, мутант, существо мужского пола...

С той памятной попойки, когда я среди ночи приперся к брату, я не появляюсь в своей семиметровке, путешествую по знакомым. Брат терпел меня неделю. Но когда у него среди ночи заговорило радио и стало читать голосом Кашпировского дурацкие проповеди, а потом из закрытого крана потекла вода, а выключенный телевизор, где кончилась телепрограмма, показал какую-то белиберду... Брат не выдержал.

Я позвонил ему на работу.

- У меня тихо, ты носишь это с собой... Обратись к специалистам.

Это советовал родной старший брат! С таким же успе-

хом можно предложить лечь в психушку.

Маринка... Везет же мне на женщин с таким именем... Выгнала меня после трех ночей. У нее пропал сон, она принимала и димедрол, и более сильные таблетки, но спать не могла, с вечера до утра смотрела, как я дрыхну, изнуренный сексом с нею же...

У Шурика Козлова я не мог засыпать сам, мне все казалось - раскладушка брыкается подо мной и скрипает. Она скрипала и в самом деле - Шурик подтвердил, сказав: «Если маешься этим самым - могу дать адресок. Одинокая женщина, жадная до мужиков.»

Женщина довела меня до последней точки. Едва я засыпал, она кричала, как под ножом: «Володя-а! Володенька-а! Не убивай!» Я будил ее, она тряслась и сообщала, будто бы я крадся к ней с большим ножом, и у меня стеклянно поблескивали глаза. И у нее все прекратилось, едва я ушел.

### 3

Вернувшись в заждавшуюся меня комнатушку, я осознал: преследователь не желает мне зла. Он наглядно демонстрирует свои возможности и всегда, даже когда я на работе, а тружусь я токарем на заводе - всегда находится рядом, невидимый, бесплотный, неосязаемый. Он изучает меня, одновременно позволяя мне привыкнуть к его беспокойному соседству. И я, решив подстраховаться, отказался от употребления алкоголя, все же кто его знает, возможно, пьяная голова способна выдумать и почище... Перестал пить, перестал бояться!

...- Квадрат двучлена равен сумме трех выражений, квадрату первого, удвоенному произведению второго на первый и квадрату второго... Владимир, повтори...

- Я в квадрате равен сумме четырех измерений, первое - то, что мы видим - руки, ноги, голова. Второе - то, что хотим...

- Достаточно! - прервала Нина Клавдиевна. - Первое - мы видим два в журнале, второе - хотим видеть то же в вашем дневнике! Он еще утрирует! Проходим новую важную тему, а он... Вон! Вон из класса!

Я вышел в коридор, а за дверью еще долго хохотали ребята...

#### 4

Как сладко все-таки опуститься на привычный диван и моментально, ни о чем (впервые за последнее время!) не думая, заснуть.

Я видел темный квадрат на уровне четвертого этажа, рядом с балконом, я плыл к нему по воздуху. Я видел себя со стороны и одновременно, размахивая руками и ногами, как в воде, я продвигался к квадрату, как будто там мой берег! А воздух был густ, плотен и свеж, и я радовался, что плыву в воздухе, а не в воде, нет опасности захлебнуться, и каждый новый глоток прояснял мне голову, но туманил глаза. Вдруг я стал видеть все переливчато, предметы потеряли очертания, границы квадрата показались мне просто окном. Я растерялся. Сверкнула молния, я снова увидел себя со стороны - вот он я! - безошибочно, по крайней мере мне так мнилось, выбрал я один из четырех неясно светящихся силуэтов...

#### 5

...Мы поменялись ролями - он ходил на работу, встречался с моими друзьями, а я всюду волочился за ним, хотя обрел способность, от которой я мог появиться в квартире жены, запугать до смерти ее муженька. Но зачем это мне нынешнему? Он (я) увольнялся с работы, я требовал выдать мое тело. А он, стоя перед зеркалом, причесывая свои, еще недавно мои, волосы, только насмехался...

Я проснулся в холодном поту и, кинувшись к зеркалу, понял - сон! Всего лишь сон! «Кто ты? - хотелось закричать, - и почему ты прицепился именно ко мне?» - «Не пугайся, - скорее не он ответил, а подумал я сам, - сегодня впервые направление твоей мысли не контролировалось, и видишь ли, ты еще не освободился от страха, а страх - плохой советчик...» - «И зачем нужно меня контролировать или не контролировать?» - распаял я себя. - И кому это нужно?»

Зеркало затуманилось, и его поверхность... Боже!

Вывеска: гинекологическое отделение. Лица: женщины, женщины, женщины... Врач в маске укладывал каждую оче-

редную на рогатую кушетку и... И никто не замечал, как от тела матери в какой-то момент отрывалось что-то почти невидимое и летело к открытой форточке...

- Это невозможно... Возможно... Возможно...

- Я погиб, не родившись...

Неприкаянная душа моя взвилась над серым домом, над многолюдным трескучим городом. Вот она слилась с миллиардами себе подобных, блуждающих, опоясывающих грешную землю. Когда это было? Вчера? Полвека тому назад?

Я рос параллельно своим сверстникам, только быстрее их...

Кто моя мать? Почему она решилась умертвить меня, не узнавшего тепла ее рук, не увидавшего цвета ее глаз, не услышавшего ее голоса?

Ведь кажется, что я уже некогда жил: я отчетливо помню себя в детской кроватке и на руках у мамы. У нее полные, нежные, ласковые руки, она наклоняется надо мной и подмигивает мне. У нее огромные васильковые глаза. Я тону, захлебываюсь в этих глазах, как сейчас в синеве небес. Мама... Она достает грудь, и из припухшего коричневого соска струйка брызжет мне в нос, уши, глаза... Ма... Ма-ма!..

Призраки замков, черти, домовые, лесовые, гуляши - да мало ли как ни называли нас люди! И никому нет дела, что мы - произведение рода человеческого... Мы нерожденные и умерщвленные - и нет нам пути ни в ад, ни в рай... Мы заполнили околоземное пространство... Мы почти цивилизация...

Я очнулся, потому что понял - дальше так нельзя, нужно решиться на неожиданный, серьезный шаг. Долго перебирал свои рукописи, иные злобно рвал, некоторые складывал в папку. Я завещаю их детям, я твердо верю - сыновья прочтут и поймут: батяка хоть и подвинутый, но все же не худой, честный... Ну вот, теперь можно головой вниз, четвертый этаж - чмяк! И вечный покой... Неужели каждый самоубийца приходит к мысли о расставании с жизнью подобным образом?

## 6

...- Ма-ма! Мамочка-а!- надрывался ребенок, и я, подхватив его, спросил:

- Малыш, а как звать твою маму? И куда она пошла?

Ребенок перестал кричать, но хлюпал и показывал грязной ручонкой на раскрытую стекляшку универмага.

- Пойдем искать твою маму? Мы ее обязательно найдем, она, наверно, самая добрая, самая красивая. Значит, мы быстро и легко ее найдем...- шептал я, и мальчик успокоенно заулыбался.

Она ударила меня по щеке и закричала:

- Не смей трогать моего ребенка, алкоголик !

- Постой, так это что... я не узнал сына? - мне хотелось рассмотреть его получше, но она опять закричав:

- Милиция! Помогите! - вырвала малыша у меня из рук. Тот снова заплакал:

- Мама, дядя хороший...

- Ложь! Не было этого! - возмутился я.

- Конечно, не было, - легко согласился первый светящийся силуэт.

- Поэтому именно ты, а не кто-то другой пришел к нам... ты сам ответил на свой вопрос, - добавил второй.

- Но! - возразил я, - это довольно наивно и глупо. Вы имеете возможность познакомиться меня с человеком, который не узнал собственного сына?

- Хуже! - вмешался третий. - Мы имеем возможность познакомиться тебя с людьми, которые не узнают и убивают своих детей...

- Хватит! - заорал я. - Я решил уйти, и никто меня не остановит!

- Это непросто сделать - вздохнули разом все силуэты, и я, встав на подоконник, отчетливо увидел на асфальте темный квадрат.

- Мы можем многое, но не все... Я ищу свою мать: я хорошо ее помню - у нее родинка на подбородке и огромные голубые глаза. В них стояли слезы... Почему она решилась умертвить меня, не узнавшего тепла ее рук, не услышавшего ее голоса...

- Ты хоть знаешь, когда и где это было, как ее звали...

- Время не имеет границ. Это вы стареете, меняетесь, а мы... у нас все неизменно. Она переходила улицу, и я узнал

ее. Случилось несчастье- ее сбила машина. Я знал, ей суждена смерть, ни в коем случае не имел права вмешиваться, но это была моя мать, и я обрел плоть - совершил страшнейшее преступление. Я стал тем хирургом, который мчался по вызову, он должен был опоздать, а я успел, я ее спас, а испарившись, наблюдал, как удивляются медсестры - доктор требует подать больную в операционную, а она уже прооперирована... Доктор убедился в этом и подумал, что у него не в порядке с головой: хватил мензурку спирта и поехал домой. А я сообразил, какая беда прошла мимо! Ведь если бы он увидел себя, то есть меня в его обличьи, он бы, не сходя с места, умер... А это катастрофа, нарушение хода истории... И вот наказание - твоя комната, моя тюрьма...

- Ну и перевоспитывайся себе, зачем же меня-то преследовать?

- Мы оба перевоспитываемся. Я ищу свою мать, я не должен ее видеть, а тебе это можно...

## 7

Не поднялась рука порвать этот бред, и я, решив рано или поздно показать его знакомому писателю, попытался уснуть...

И снилась мне Нина Клавдиевна с темным квадратом в руке, она манила меня, приговаривая:

- Ныряй сюда, и завтра ты объявишь на весь класс, что в квадрате существует пятый угол...

И снилась мне бывшая жена с грустной миной на лице, и мне, откровенно говоря, было жаль ее - она никогда не увидит того, что видел я...

И снились мне сыновья, они баловались и кричали:

- Папа, а какой сегодня пароль?

- Я в квадрате, - говорил я.

- Папка в квадрате! - повизгивал младший, не узнавший около универсама, и показывал на мой портрет, который почему-то висит в их квартире на самом видном месте...

- Ты в квадрате - это мы! - поправлял старший, и мне очень хотелось, чтобы все это произошло наяву...

# ХОЛОСТОЙ ВЫСТРЕЛ

## Повесть

Они шли впятером, переговариваясь и смеясь, шли уверенно, будто ночной пост - не пост, а я не часовой с оружием, при исполнении... Патрон, подаренный Головкиным, - в стволе, предохранитель снят, переведен на одиночную, но я не хотел стрелять, не хотел шума - я думал, они будут вдвоем, в крайнем случае втроем, а их было пятеро, и я, вскинув АКМС, выстрелил Швабу прямо в лицо...

### 1

Мне нравится Серегина фамилия, и я частенько, имитируя кавказский акцент, повторяю:

- А что нам скажет товарищ Жюкав?

Сереге есть о чем поговорить, но он молчит, он в трансе.

Вчера ротный зачитал приказ комдива, из которого следует, что вместо долгожданных молодых на замену дембелям едет лахденпохская танковая рота, а вся молодежь с учебки направляется в Лахденпохья! Предпринято это в целях борьбы с неуставными отношениями.

-Хренов бобер! - закипятились мы. - Спятил! Разве так дедовщину изживешь?

Но ругайся, не ругайся - толку ноль! С генералами не спорят, приказы не обсуждают, а выполняют. Вот отчего Сереге в трансе. Мы, отбухав по году, стали «черпаками», и опять мы - самые молодые в роте! Пополнение на семьдесят процентов - деды!

Я поглядываю, как старички - Савва, Ашаич, Максим - радуются, лижутся с вновь прибывшими: нашего, мол, полку

прибыло!

- Не унывай, Серый, - толкаю Жукова, - переживем, не сорок первый!

- Дурак ты, Жорик! - сердится Жуков. - Думаешь об одном себе, но не все же, как ты, - бурые! А Лелика, Карима, Петруху совсем ведь задрючат.

- Товарищ сержант! - обижаюсь я. - Разрешите отлучиться в туалет?

- Товарищ младший сержант, пошел ты... - отвечает Серега матом.

Изобразив наплевательский вид, беспечно насвистывая, я выхожу из казармы.

«Эх, Серый! Не обзывай меня треплом, пойми, устал я, считай - доехал до конечной! Надоело, не могу я каждого чморя с нашего призыва уму-разуму учить! Если им нравится шестерить, я-то при чем? Далась тебе эта дедовщина!

Я два последних года школы провел в интернате, вот где - дедовщина! А здесь - курорт! Не для всех, согласен, но кто мешает тому же Лельке послать всех подальше, я-то ведь - за! И всегда готов поддержать и его, и Карима с Петрухой, но воспитывать - ребятки так, ребятки эдак, - не хочу и не буду! Что, Акмурадов здоровее Карима? Нет, а не шестерит! А сам-то ты, что ты сделал?

Ага, посочувствовал. Твое сочувствие хорошо для подтирания соплей, но его не загонишь в ствол пулемета!»

С Жуковым мы рядом с первого дня - плечо к плечу в строю, спим на соседних кроватях. После учебки вместе попали на пересыльный в Сортавалу, а с пересылки - сюда, в Петрозаводск, в танковую роту мотострелкового полка. Мы научились понимать друг друга с полунамека, с полукивка. А сегодня впервые не понимаем...

...Шваб упал, остальные застыли, как истуканы. «Почему он упал!? - стукнуло в голову. - Патрон холостой, расстояние выдержано...» Я шагнул к лежащему, друзья его попытались и рассыпались, а он, вскочив, закрывая лицо руками, бросился наутек.

Разбросать автомат, продуть газовую трубку, протереть

шомполом с тряпкой ствол, возвратный механизм... Потратил я от силы полминуты. Показались встревоженные начкар, разводящий, трое караульных с бодрствующей смены.

- Жерохов! Кто стрелял?

- Не знаю, - как можно спокойнее ответил я и махнул в сторону парка, - вроде бы там...

## 2

Мой завидующий взгляд заметил взводный.

- Жерохов, в увольнение хочешь? А залетов нет?

- Хочу, хочу, хочу, - зачастив, выпалил я. - Я чист, товарищ лейтенант, как ребенок в животе женщины.

- Как жаль, что она на аборт не решилась, - усмехнулся лейтенант кончиками жиденьких усов, но, забрав у Рыбака увольнительную, приписал: «С ним следует мл. сержант Жерохов Д.И.».

Тоха Рыбак - недедующий дед. Через полгода, возможно, и я буду таким. Толик, я вижу, не очень доволен, что меня пристегнули к нему, - одна бумажка, в центре не разбежишься, придется топтаться парой, а у него, видимо, были планы. Я собрался отвалить от него на остановке - думал покружить по окраине и вернуться в часть, рассчитывая таким макаром отдохнуть от Серого, «леликов», надуманных проблем.

- Жорик, - Толик заговорил первым, - я иду в общагу консерватории, там у меня землячка, Наташа. Хочешь со мной? Девчонок море - глаза вразбег. Но если на данный момент Натка окажется одна в комнате... Извини... Понимаешь?

- Ты че, - согласился я, - понимаю...

В комнате сидела мрачная девица с подсиненными веками и чересчур длинными ногтями. «Ничего себе! - подумал я. - Ну и вкус у Рыбака...» Он стусеивался не меньше моего и, тоненько здороваясь, закашлялся, но взял себя в руки, деловито спросил:

- Простите, а Наташу можно увидеть?

- Вы Анатолий? Лариса, - представилась размалеванная куколка. - Присаживайтесь, Наталка сейчас будет.

Пили чай. Подружка Рыбака оказалась симпатевой,

улыбчивой, с ямками на щеках блондинкой, малость полноватой, зато простой и зеленой, как три рубля.

Тоха рассказывал пошлейшие анекдоты, Лариса хмыкала, а Наташа заливчато смеялась. Шуровал Рыбак складно, без излишних подробностей - придраться не к чему, - и девочки ничуть не обижались. «Губа не дура! - думал я о Рыбаке. - Ишь, какую хохотушку подцепил...» И невольно я начал испытывать к Толику уважение, какого до сего часа не было ни к одному старику из роты.

После чая Тоха сманил нас в кинотеатр. Картина шла дрянная, я даже названия не запомнил, зато усмотрел в темноте: Толик и Натаха целовались! Что бы такого вроде, а у меня запокальвало внизу живота и вспомнилась Светка.

Светка - единственная моя на гражданке хорошая знакомая, не говорю - любовь, не знаю, люблю ли! Может, до любви не дошло, хотя и могло бы, но сначала мешал Женька Поспелов, я никак не мог его отвадить, а потом я расписывался, отстал от Светы сам и, уходя в армию, не пригласил ее на проводы, не попрощался. А теперь она выудила - наверно, у брата - мой адрес и бомбит письмами, грозясь выйти за меня замуж! Меня это бесит, а Жуков ругается: «Чайник ты, Жорка! Другой бы радовался, а ты...»

Не выворачиваться же мне перед Серым наизнанку! Не верю я Светке! Ей ведь нравилось, что нас - двое! Она, может, и Женьке так же пишет!

- Георгий, - шепнула Лариса, - подышим воздухом?

- В общаге будь, - оглянулся Рыбак, и мы с Ларисой покинули кинозал.

Она цепко держит меня под локоть, а я кошусь на ее лицо.

Правильный приятный носик, доверчивые глаза, хотя и слишком заштукатуренные, губы тонкие - целовать, наверное, неудобно, но все - и окончательно - портит подбородок. Он длинноват и не в меру остер. Да, до Светки ей как до луны пешком.

- Георгий...

- Меня зовут Дима, Дмитрий.

Она растерянно улыбнулась. Я тоже. Неужели? При

улыбке Лариса - то самое, нежно-воздушное, привлекательное существо, которое снится мне уже несколько лет. И ножки у нее - шик!

- Жора, - поясняя я угрюмо, - производное от фамилии. Я привык, целый год зовут Жоркой, но я не Георгий.

- Не нравится Жорка, - капризно тянет она, - не порусски как-то. Я буду называть тебя Димой, хорошо?

- А тебе не стыдно идти с солдатом?

- Стыдно? Почему стыдно? - улыбается она, и я ее почти люблю! Видела бы Светка - умерла бы, небось, от ревности! Вдруг мне захотелось похвастать Ларисе Светкиной фоткой, которую всегда ношу с собой. Фотку у меня, однажды увидев, надоедливо выпрашивал Аджаяев, предлагал пятнадцать рублей, но я не продал - не хочу, чтобы, глядя на снимок моей знакомой, кто-то там черт те что измышлял.

- Дима, - Лариса не сумела приноровиться к моему шагу и начала сдерживать меня, словно предлагая равняться по ней, - можно нескромный вопрос? Девушка у тебя есть?

- А ты разве не девушка? - Она покраснела, а я спохватился, сообразив, что ляпнул не то и не к месту. - Извини. Хорошо, хоть без матюгов глаголю! Привычка дурная...

- Вас ждут! Вам письма пишут, а вы... - Лариса завывала, и мне показалось, что она неспроста употребляет множественное число: как сапер выискивает мину, так она прощупывает меня.

- Я знаю одно! - мне захотелось ее позлить. - Нельзя врать девушке, женщине, с которой - а вдруг шагать одной дорогой долго! Нельзя врать по мелочи - запутаешься и потеряешь уважение, но по-крупному врать можно, даже нужно, если, конечно, уверен, что обман не всплывет, а польза будет верная.

- Стоящая философия! - язвительно засмеялась она. - Однако...

- Девушка мне писала! - перебивая Ларису, легко, не принужденно выдаю я. - Писала целых четыре месяца.

- А теперь? - она опять улыбается виновато, зубы ее влажно поблескивают, и мне так и хочется коснуться их языком.

- Не пишет, - вздыхаю я и торопливо добавляю: - Не умерла, не заболела, замуж не вышла - брат сообщил, просто не пишет, и все! И давай поговорим о чем-нибудь другом, например: о смысле жизни! Представляешь, год прослужил, ни о чем таком не думал, а тут - на тебе! День думаю, два думаю, думаю и три - и все о нем, о смысле! И кажется - все, что видел до сегодня, туфта! И нужно начинать жить заново, начинать так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитую юность...

- Конечн смазал! - почувствовав издевку, перебила она и кольнула: - Ты всегда такой разговорчивый или мое общество так негативно повлияло?

- Негативно? Я бы не сказал, - растерялся я, - но повлияло, это точно. Сердце остановилось, легкие вниз провалились, видишь, дышу одними бронхами, а язык мелет непонятно что, голове не подчиняется.

- Ладно, Дима, хватит издеваться.

Заморосивший дождь и хлесткий холодный ветер загнали нас в общежитие.

- Хочешь, спую, - предложила Лариса, указав на стоящий в углу комнаты рояль, а может, пианино - я в них ни бум-бум.

И, закинув важно ногу на ногу, сморозил я величайшую дурость:

- Предпочитаю гитару!

Она дернулась, как от удара, покраснела и стремительно вышла из комнаты. Вернулась с гитарой, но это была не та Лариса, что шла со мной под руку по улице, а скорее - утренняя, мрачная.

...И падали два башмачка со стуком на пол.

И воск слезами с ночника на платье капал.

И все терялось в снежной мгле, седой и белой.

Свеча горела на столе, свеча горела...

Как она пела!..

Я не различал слов, не слышал музыки, будто оглох, я смутно видел ее, мне хотелось встать и, обхватив ее плаваю-

щие щеки, целовать, целовать, но я боялся - мне казалось, шевельнусь - и окажусь в казарме.

- Ну, как? - отложив гитару, спросила она. Я молчал: мне виделся летний жаркий день, резиновая лодка на волнах, я лежал в ней, раскачиваясь, на ресницах - капельки, а сквозь них - солнце, небо, играющее всеми цветами радуги, сухой нежный ветерок обволакивал кожу, - и, стяхивая наважде-ние, я ответил не своим, хриплым голосом:

- Страшно! Я исчез, испарился, где-то был, а где - не знаю... Я нес тебя на руках по берегу, и ты мне улыбалась!

- Спасибо, - ответила она чуть погодя и грустно улыбноулась: - А был ты в Кижках...

Вернулись Наташа и Рыбак, в комнате стало шумно и тесно.

- Дима, а с тобой не скучно, интересно с тобой, - прощаясь, шепнула Лариса.

- И уходя с надеждой на свиданье, я жду от вас ответного признанья, - в духе Леньки Эгмана начал я и осекся.

- Приходи, - внимательно, будто стараясь запомнить меня получше, но очень уж серьезно и невесело посмотрела она. И я, быстро склоняясь к ее уху, добавил:

- Я приду! Улыбайся чаще, при улыбке ты неотразима...

- Как девочки? - тормозил меня Рыбак.

- Приятные... - все еще словно бы слыша ее пение, задумчиво сообщил я.

- Жорик, - Тоха зашептал, оглядываясь, будто в троллейбусе было кому-то до нас дело, - поворот на вахту засек? Желтая дверь на первом этаже - кухня!

- Понял? Звоню Натке, сообщаю, во сколько подойду, она тихо спускается, тихо открывает окно, и практически можно ночевать! Гениально, правда?

- Правда, - соглашаюсь я.

- Так это, может, на пару? Махнем после отбоя...

- Только не сегодня! - отказываюсь я.

...- Покажи автомат! - потребовал начкар, когда меня сменили. Он разобрал его, обнюхал - никаких следов. - Странно, Жерохов, ты не находишь? Магазины полные, автомат чистый, а выстрел был!

- Был, товарищ лейтенант, - подтвердил я, - а может...  
- Не может! Не может, Жерохов! Иди пока, бодрствуй...

### 3

В самоход Рыбак ушел один. Он дважды подходил ко мне перед отбоем, но я отказался - накатила тоска: через месяц мне исполнится двадцать лет, а я - Серега сказал бы, как фраер, - кидаюсь в крайности. Ларису обидел, зачем? С Серегой молчим, а почему? Год душа в душу. Нет, пора взростеть, Дмитрий Жерохов, - еще год, и прощай служба! А там и... Опять чушь в башку полезла! И все из-за Серегина.

- Серый, а Серый, ты спишь? - толкаю Жукова.

- Почти что, - не поворачиваясь, лениво отвечает он.

- Курнем? У меня «Золотое руно», - я уверен, что Серега откажется, он, в отличие от Леньки Эгмана, «душных» терпеть не может.

- Пошли, - соглашается он и встает. Надеваем сапоги прямо на кальсоны и топаем мимо дневального под лестницу.

- Как тут «новье»? Привыкают? С нашего призыва есть стоящие пацаны? Или все - «лелики»? - раскуривая, спрашиваю я. - Ты за день-то, поди, со всеми ознакомился?

- Ознакомился. Лелика и Карима слегка побили...

- Савва? Максим? За что?

- И Шваб! А за что, у них и спроси, - плюется Серега.

- Шваб? Новенький дедок? Дурацкая фамилия.

- Герман Шваб, немец с Семипалатинска, - Серега с явным нажимом произнес слово «немец».

- Немец, татарин, - бурчу я, - какая разница...

- Все! Пошел спать! - непонимающе и зло глядя на меня, топчет вдруг Серега едва начатую сигарету.

- Погоди! Дурдом в натуре! - цепляю я его. - Объясни...

- Дундук! - срывается он. И язвительно передразнивает: - «Объясни...» Дед мой погиб на войне, понял?

- Серый, успокойся, ну? - прошу я. Его психоз всегда действует мне на нервы, а сейчас особенно пугает. - Ну, хочешь, возьмем у дневального штык-нож и приткнем твоего

Шваба? Делов-то...

- Хорошо чесать языком, Жора.

- Дневальный! - ору я. - Лелика и Каримова ко мне!

- Заткнись! - Жуков успокоился быстрее, чем взъелся.

- Договоримся так: я перебазарю с ребятами в последний раз, а ты подойди к Ашаичу, он все же старшина. Не понти, попробуй по-человечьи, у тебя иногда не хило получается...

- Согласен! - тороплюсь я. - Слушай, Серж, раскрутим Эгмана, у меня скоро юбилей!

- Будет день, будет пицца! - легонько толкает меня Серега, и я радуюсь, что есть у меня понимающий друган.

Месяца три назад Ленька Эгман здорово вырос в наших глазах. Он примчался, как обычно, взбалмошный, болтливый, размахивая газетой:

- Во, траки, что творится, видали? На третьей странице - большая статья «Как тебе служится?», а подпись - Леонид Эгман, сержант медслужбы.

- Ты чего, написал и в редакцию отправил? - изумился я.

- Перестань! - торжественно отмахнулся Ленчик. - Я из госпиталя вырулил, сел в троллейбус, гляжу, мам, - ОНА! Вы же знаете мою слабость, сидит такая - молодая, интеллигентная, миниатюрная. Я поближе и давай ее клеить, радуюсь, идиот, разговорчивая попалась, за словом в очередь не встает. Я ей - то, а она - это... И не допер, что - журналистка! К себе приглашал, номер части, как проехать - все выложил! Каморкой хвастал. А в гости-то набивался! Стыдоба...

Я расхохотался, а Серега глубокомысленно произнес:

- Гонорар дадут, во напьемся.

Вскоре мы позабыли о статье, но Ленька оприветился: купил вдруг толстенную записную книжку и стал в свободное время строчить. Нам с Серегой было интересно, чего ж он там сочиняет, и мы постоянно пытались достать ее и вывести об этом, только Ленька не позволял.

Но однажды мы прицепились до того неотвязно, что Ленчик не выдержал и протянул книжку. «Неписаная история части» - гласил заголовок, а под ним шли всевозможные бай-

ки о выкрутасах «дедов», которые обычно передаются из призыва в призыв.

- Делать больше нечего? - удивился я. - Кому нужны эти анекдоты?

- На память пишу, - пожал плечами Ленька. - может, лет через десять-двадцать интересно будет...

- Так и писал бы со смыслом! А чего перечислять-то? Рядовой Киркин обрюхатил дочку замполита, сержант Садыко, уволившись, оставил (по непроверенным слухам) в городе четырех детишек, и все от разных женщин, ефрейтор Симаков увез на дембель жену старлея Стуликова, рядовой Овчаров, спасаясь от патруля и наряда милиции, выпрыгнул с третьего этажа и сломал ноги, рядовой Бабенко пропил тент и подрался с капитаном Букиным, за что схлопотал два года дисбата...

- Это - история! - перебил Эгман, забирая книжку. - А в ней должно быть все как есть! Как было! Какой еще смысл тебе надо?

- Жора! - попер Жуков в защиту Эгмана. - Не трогай его, пусть пишет что хочет и как хочет! А то насочиняли сказок: ефрейтор Збруев, Иван Бровкин - ни слова правды! А представь, прошло двадцать годиков, Ленькин сын собирается в армию, и папа Леня предложит парню почитать! Он будет знать, куда идет!

От Серегиной поддержки Ленчик смутился больше, чем от моей критики.

- Я записываю общеизвестные факты, Жора, а те, о которых офицеры не знают, не беру, пока просто запоминаю, - и виновато скатал губы в трубочку: - А может, и вы с Серым сюда попадете.

- Мужики, - засомневался я, - че, и через двадцать лет все будет идентично? Ничего не изменится? Вот же коммунизм строили...

- Строитель! - взбеленился Ленчик. - Построили уже. Коммунию с зоновскими порядками, понял? - и, постучав книжкой мне по голове, он зашагал прочь.

- Придурок! - крикнул я.

- Замолчи, Жорка! - обиделся Жуков. - Шути, но знай меру! Эгман прав - порядки-то действительно зоновские...

- Не знаю, я там не был! - буркнул я и, стараясь смягчить концовку, сменил тему.

- Серый, а может, мы и впрямь попадем в его «Историю...»?

- Очень даже может быть... - нараспев, но серьезно ответил Жуков.

Обычно я засыпаю с лета: лег и - аут, а тут, после культпохода с Рыбаком, после примирения с Серегой лежу и верчусь. Сон не идет. «Лирика наехала», - говорит Эгман, когда я вспоминаю о доармейских похождениях. Вроде и понимаю - хвастать нечем, а все равно вспоминаю и рассказываю...

...- Слабо! - повторил Бубякин, протянув мне свой клетчатый кепарик. Взяв его и взглянув на Кольку - до сих пор мне представляется: высокомерно, даже уничижающе, - я шагнул за угол. И начал кривляться: «Подайте что-нибудь на пропитание будущему профессору, чемпиону по прыжкам в сторону!»

Леспромхозовские - народ веселый, добрый. Особенно - в день полочки.

Выходя из магазина, они, видя мои кривляния, смеялись, а те, что помоложе, бросали в кепку мелочь, а то и рубли. Вино, купленное Колькой на эти деньги, мы пили тут же, за магазином на ящиках.

Распив одну бутылку, заспорили: кто из нас трезвее.

- Во! - Колька выволок из-под ящиков длинную узкую доску и бросил ее поперек дороги через лужу. - Кто на этом мостике меньше раз оступится, тот и трезвей!

За этим занятием и заловила нас пионервожатая. Кольке было наплевать, он второй год как в городе учился, в речном училище, а меня, школяра-девятиклашку, назавтра вышибли из школы.

Плохо помню, что говорил, как оправдывался дома, однако отчетливо врезались в память перепуганные братишкины глаза, мокрое лицо мамы: отцу от расстройства стало худо, его увезли на «скорой».

В поселке нашем второй школы не было, и я надумал в город, в какое-нибудь училище, но мама не позволила. Чувств-

вужа себя виноватым, я послушался и согласился в интернат. Там я познакомился со Светкой и нажил себе врага из местных - Женьку Поспелова. Эх! «Веселая» была жизнь! А вообще - не жалею. Там я все же научился держаться в коллективе. В интернате, как в армии, мамы с папой рядышком нету, и рассчитывать лучше только на себя...

...В казарме после караула устроили великий шмон. Перетряхивали подушки, матрасы, одеяла, выгребали содержимое тумбочек. У нас в танковой ничего не нашли и взялись за первую мотострелковую роту. И почти сразу в футляре зубной щетки, принадлежащей молодому, обнаружили два боевых патрона. Парня повели к полковому дознавателю. Примчался перепуганный Головкин:

- Жорка! Мать твою, знал бы...

- Тиха будь, Коля! - успокоил я сержанта. - Друзей не продаем.

- Балда! - Головкин был готов сожрать меня, не запиная. - По твоей милости гильзы стреляные сдавать придется, ротный сказал! Тупарю ясно - кроме как у нас, в первой патроны утаить негде! А если швабские бухарики заложат?

- Не заложат, Коля! Я бы мог запросто перестрелять их всех! Нападение на пост, верно? И ничего бы мне за это не было, - горько пошутил я.

- Ты даешь, - побледнел Головкин, - а я из-за тебя трясись!

И заволновался:

- У меня шесть боевых, ты и храни, раз по твоей вине рыщут! - и засунул патроны в мой карман.

«Зачем мне боевые?» - думал я, пряча патроны за щит с надписью «Будь готов к обороне Родины!». - Боевыми не попугаешь, убить можно сдуру-то...»

#### 4

Выполнить Серегину просьбу - переговорить с Ашаичем на тему мира - я не успел. Составили новые штатные списки экипажей, и комполка срочным порядком отправил роту в командировку в полном составе - понятно, за исключением старшины. Выезд на учебные и проверочные стрельбы, во-

ждения... Иногда я думаю, что служба меряется не днями и месяцами, а выездами - от раза к разу мы увереннее и спокойнее чувствуем себя в машине: за пультом стабилизатора, прицелом, рычагами... На выездах «старики» не дедуют. А почему?

- Некогда с устатку! - кашлянув для солидности, сказал «дедушка» Озерцов. Эгман и Жуков захохотали, улыбнулся и я.

- Митька, ты-то чего ржешь? - обиделся Сашка, единственный человек в роте, принципиально не желающий называть меня Жоркой. - Ладно эти, - требовательно глядя на меня и сделав жест в сторону Сереги с Ленчиком, - городские - гаврики неразумные, а ты - из поселка! - добавил он.

- Ну и что? - пожал я плечами. - Разве дело в этом?

- А как же! - выпятив грудь, Озерцов постучал по ней. - Чему вот я полезному в армии научился? Рычаги дергать? Так я и до службы умел! Сачковать я научился! Вот! Домато, в колхозе, день ломишь да в своем хозяйстве что-нибудь сробишь. Сосед позовет - и ему еще поможешь. А здесь? Пока молодым был - от «стариков» прятался, как бы не припахали, сейчас сам «дед» - от ротного прячусь, как бы работу какую не подкинул, а подкинет - растягиваешь до упора, как бы другого чего не заставили! Лентяи мы! Вот!

- Жерохов! Что за галдеж? - на пункт боепитания, где мы сидели, снаряжая пулеметные ленты патронами, заглянул ротный.

- Опять посторонние у тебя! - ругнулся он, заметив Эгмана.

- Мыслим, товарищ старший лейтенант! - не растерявшись, брякнул я. - Мыслим о путях борьбы с дедовщиной...

- Мыслитель! - взглянув на меня ошарашенно, не повоенному, звонко рассмеялся ротный. - Вот уж никак не думал, что именно у тебя в голове такие грандиозные проблемы! И что вымыслил, а, Жерохов?

- Да Шурка вот говорит - лень во всем виновата...

- Точно он говорит! - подняв указательный палец до подбородка, словно грозя, снова засмеялся ротный. И закрыл за собой дверь, так и не выгнав Ленчика. А у меня в голове мелькнуло: «Лень ленью, а дослужились! О тревоге и то со-

общают за неделю, называют день и час, толково объясняют, что хватать, куда бежать...»

Помню я одну только неожиданную тревогу - в городе случился пожар, и подняли нашу, свободную от наряда, роту. На том пожаре отличился Серега Жуков. И обскакал меня в звании - за проявленные находчивость и геройство ему кинули лычку и объявили десять суток отпуска. Я нисколько не завидовал, я был рад за него, хотя и мне побывать не худо, но не поджигать же ради этого какой-нибудь сарай!

- Погоди, Озерков, - словно проснувшись, нарушил тишину Жуков, - город ты к чему ввернул? В чем город перед тобой провинился?

- Почти все городские - «сачки» и мамочкины сынки, - ни минуты не раздумывая, ответил Сашка, - а деревенские у вас учатся. Митька вот работающий был, помню, а сейчас уже филонит, а еще через полгода, гарантирую, обоих вас в три раза переплюнет!..

Отстрелялись без приключений. Ротный выстроил нас, толкнул речь, что не ожидал высокого результата, все же первая стрельба в новом составе, слаженность отсутствует.

- Но вы же народ бывалый! Молодых, неопытных нет - вот и вся причина. Поздравляю и благодарю за службу!..

На обратном пути в часть Шваб отчебучил номер: снюхался на станции, пока ждали поезд, с какой-то рискованной бабенкой и затащил ее в вагон. Как он умудрился обдурить и проводника, и ротного, я не знаю. И если бы по составу не ходил пограннаряд - сошло бы. А пограничники прицепились к женщине - у нее не оказалось документов, дамочка ухватилась за Шваба, а он полез с кулаками, ему захотелось выяснить, а какого же призыва эти двое таких бурых погранцов. Довыяснялся - роту сняли с поезда в Суоярви и отвели в спецпогранкомендатуру. Валяясь на жестких нарах, мы проклинали и Шваба, и бабенку, и погранцов.

Через сутки прибыл замполит и уладил конфликт, для начала выматерив ротного и всех нас. а Шваба по прибытии в часть пообещал сгноить на гауптвахте. Ленька Эгман стоял в строю пришибленный, сам не свой, а Серега толкнул его и засмеялся:

- Лень! Пиши: по вине Шваба роту арестовала пограничная застава!

...В мотострелковой роте объявили о предстоящей учебной стрельбе, и Головкин потребовал патроны назад - подвернулся удобный момент сбыть их, ничем не рискуя. Я ненадежный хранитель. Патроны я вернул без сожаления, оставив лишь один, на всякий случай...

## 5

Капитан Кириленко из тех офицеров, что хотят понравиться сразу всем: и командованию, и подчиненным, и поэтому чаще всего не нравятся никому. Кириленко обожает плоские шуточки, любит щегольнуть соленым анекдотом, причем каждый раз невпопад, и всегда имеет цветущий вид. Наверняка это от должности - Кириленко начальник вещевого службы полка. К нему меня направил ротный, освободив от нарядов и всяческих работ. Да, именно работ, это в учебных частях сержант царь и бог, а здесь он такой же пахарь, как и рядовые, и впридачу - спрос с сержанта больше.

Капитан выдал мне папку с десятком пронумерованных отштампованных листов и предупредил:

- Дело ответственное, отнесись со всей серьезностью. Есть подозрение - начсклада прапорщик Лысов проворовался... Тебе, сержант, и этому рядовому - он поступает в твоё распоряжение, - Кириленко ткнул пальцем в сторону, и я увидел молодого с первой МСР, - предстоит выступить в роли ревизоров. Никаких разговоров на эту тему с личным составом, тем более с прапорщиком, понял?

- Так точно! - вытянулся я.

- Тогда вперед, на мины! - сыто скривился капитан. - Возникнут трения, обращайся...

Прапорщик Лысов - за глаза просто Кузя - мне нравился. Полгода тому назад прямо с плаца, с занятия по строевой, ротный отдал - желающих было много - именно нас: меня, Жукова, Леньку прапорщику Лысову. Мы недавно пришли с учебки и чеканить шаг не разучились - ротный сделал нам поблажку. Шагая за Кузей, мы предполагали, что нужно

разгрузить машину, всего скорее с простынями, но... По загону носился свинарь, пинками загоня свиней в садки.

- Истребитель! - окликнул его прапорщик и подтолкнул нас: - Помогите ему, отвезем шесть голов на мясокомбинат, и шабаш.

В учебке у нас был лейтенант по фамилии Балаган, и с той поры я не удивляюсь самым странным фамилиям. Но - Истребитель! Смешно. Немцы называют самолеты по фамилиям, а мы и наоборот можем.

Мы помогли свинарю загрузить поросей в кузов машины. Он давился от смеха, глядя, как мы стараемся не запачкаться, осторожничаем - сам он был засален, вонюч, немыт и небрит: позор Советской Армии! На комбинате, помянув и кузькину мать, и заболевшего пищевода, обязанного решать свинячьи вопросы, и договор, который нарушать никак нельзя, Лысев заторопился куда-то с бумагой, а мы тем временем повыгоняли свиней. Жуков и Ленка остались в кузове, а Истребитель, закрывая борт, шепнул мне, подмигивая:

- Пошли, колбасы возьмем...

- Можно? Не заругают?

- Не-а, я всегда беру, женщины сами дают... - И он повел меня куда-то вглубь, где воняло и было так грязно, что я ужаснулся... Но в колбасном цехе было чище. Люди - в большинстве женщины в белых халатах с оранжевыми клеенчатыми передниками - смотрели на нас приветливо и сочувственно, особенно на Истребителя...

Никогда я не видал такого разнообразия колбас - нам совали всякую, мы брали, брали и скоро обвешались ею, словно гирляндами.

- Прячьте... Не показывайте, - шептали женщины, - увидят - отберут!

Мы неслись из цеха в цех - Истребитель, видать, заблудился, а сзади - погоня!

- Выход? Где выход?! Забойный где? - кричал Истребитель. Нам указывали направление, и мы сломя голову мчались дальше, не бросая колбасу. Вахтер - пожилой дяденька - отстал, а может, его задержали рабочие.

- Гони! Гони за проходную! - крикнул Истребитель во-

дителю, едва мы перевалялись через борт. Машина сорвалась к проходной, но нас не выпустили.

- Поезжай туда, к центральной, - махнул человек в фуражке с зеленым верхом. Там уже ждали.

- Входите, - поманил страж ворот с красной повязкой на рукаве. - Краденое не забудьте прихватить.

Я успел сунуть палку ветчины за сиденье в кабину.

- Итого, семнадцать кило триста восемьдесят шесть грамм! Неплохой аппетит, ребятки! Батальон накормить можно. - Взвесив запашистые круги и связки колбасы, начальник охраны схватился за авторучку и чистый лист. Лысов стоял рядом с непонимающим видом, медно-красный...

- Фамилия?

- Рядовой Дубатов, - невозмутимо ответил Истребитель, и я мучительно начал соображать, кем же назваться мне.

- Ваша, младший сержант?

- Анохин Павел Иванович.

Нас выпустили, а Лысов остался у начальника охраны и отсутствовал еще минут пятнадцать.

Припрятанную мной палку ветчины Истребитель, Жуков, Лелик рвали грязными руками и чавкали. Мне их чавканье казалось до того громким, что я не слышал ни шума ветра, ни работы двигателя.

- Ешь, Жорка, - предлагали ребята, а меня едва не тошнило, наверно, от повышенной брезгливости на нервной почве, и протянутый мне кусок я выбросил за борт.

- Ты! Баран! - заорал Истребитель. - Добро переводить! Не хошь - не жри!

- Дубатов! Дубанутовым или долбанутым бы назвался! - разозлился я. - Ис-с-строб-лятель! Да ты... Да ты - Юнкерс поганый!

- Я т-те дам истребителя, салабон! - схватил меня свилярь за ворот, и я сообразил, что Дубатов - настоящая фамилия, и замолотил кулаком по кабине.

- Товарищ прапорщик! Наврал я! Жерохов моя фамилия! - Меня здорово трясло...

Из окна кабины Лысов протянул мне «беломорину»;

- Покури, может, и пройдет. И забудь! Все забудьте!

Ничего не было! Считайте - повезло... Начальник охраны в прошлом - капитан, командир вашей танковой роты. Лет семь назад травму получил, теперь вот работает в охране.

Прапорщик извлек подписанную нами докладную, прочел: «Анохин», - хмыкнул и порвал ее на наших глазах.

Я уперся взглядом в папиросу, тупо разминая ее, и увидел детство...

...Колька Бубякин учил меня курить.

- Тяни, вот так, ап-те-ка... Уже здорово! - хвалил он, не обращая внимания на мои чихание и кашель, слезы и сопли...

Через месяц я отменно затягивался и выпускал дым через нос. У отца с мамой совпали отпуска, и они, оставив братишку на бабушку, поехали в деревню, на родину папы, к его матери, взяв меня с собой. Два дня я терпел, не курил, но, заметив, что бабка принесла из магазина несколько пачек «Беломора», не выдержал и украл одну. За огородом, в уютной колдобине, я выкуривал папиросу за папиросой, рассчитывая, верно, детским умишком накуриться впрок, на весь отпуск... А потом не понимал, отчего кричит мама, почему дерется отец - он ведь никогда еще не бил меня ремнем, и зачем бабка, закрывая меня, обзывает отца иродом.

Назавтра папа извинялся, осторожно касаясь исполосованной моей спины:

- Терпи уж, Митяйка... Удумал-таки, в семь-то годов дымить! Меня, Митяйка, тоже били... Не кури уж...

Слушал я и не верил - как можно бить папу? Такого большого? Курить я не перестал, но научился осмотрительности - отжимал уголок пачки и аккуратно, иголкой, выковыривал одну-две папиросы. Отец не замечал, но маму-то не обманешь, она по запаху догадывалась.

- Ребенку в школу через две недели, а ты! - кричала она отцу. - Повлиять не можешь! Какой же ты...

Папа отмалчивался, но однажды пригласил меня в лес за грибами. Шли просекой, он закурил, я, уловив дым, жадно потянул воздух.

- Закури... - отец подал мне папиросу, я схватил ее, прикурил от зажженной папой спички и зашагал, блаженно

затягиваясь. Отец отстал, и, оглянувшись, я увидел чужие, наполненные влагой глаза. Папа горбился и казался очень старым.

Бросив едва начатую папиросу, я стал ее яростно топтать.

- Скоро ты... - будто бы удивился батя, подходя.

- Невкусно, не буду больше, - не зная и сам почему, твердо пообещал я. Слово я держал до девятого класса. Закурив потом, курил уже стабильно, и напрасно воевала мама; я ухитрялся добывать и спички, и сигареты - да и нельзя было иначе, в интернате некурящий считался чуть ли не вторым сортом, ребята курили поголовно, даже девчонки некоторые баловались. Курить «Беломор» не могу до сих пор - сразу вижу лес, отца на просеке... Прапорщик Лысов чем-то напоминает батю: такой же медлительный и так же, забываясь, начинает напевать вполголоса что-нибудь душещипательное:

И прошел только год, закружилась метель,  
Но дружок-коневод молча вышел за дверь...

Подозреваю - под затасканную мелодию слова Лысов (после истории на мясокомбинате я даже в мыслях не могу назвать его Кузей) берет с потолка. Я сам такой ерундой занимался в школе, возьму, бывало, стихотворение Блока или Есенина, навставляю своих слов, оставляю одни окончания - рифму и отправлю девчонке - у нее и глаза на лоб! Митька прислал объяснение в любви да еще и в стихах! Почему дальше шуток-записок я не шел? Хвастал бы теперь, как Ленька Эгман, о своих победах! А может, и не хвастал бы... Не зная, как, но я намеревался помочь прапорщику.

В складе полутемно и затхло, остро пахнет лежалым неношеным тряпьем и кирзой. Лысов указал мне на стеллажи, объяснив что где, и уселся у зарешеченного окна, защелкав костяшками счет.

Молодой шерстил котелки, фляжки, а я полез в темный угол к сапогам... Какой срочник не мечтает иметь новые добротные кирзачи? Сапоги положено менять раз в восемь месяцев, и нам должны были выдать новые летом, но старшина показал дулю, пояснив, что снабдит обувью, как обвыкнемся,

а то снимут, мол, «старики». И временно тем, у кого скороходы были в явных дырах, выдал «колеса с капремонта», и вот, мои - того: пооткрывали пасти, пить, есть просят.

У меня дрожали руки и ноги, вылетели все благие помыслы, я не мог спокойно смотреть на это кирзовое богатство и не выдержал - сдернул свои, сбитые, натянул новые! Счастье - это новые сапоги...

- Не рота, а похоронное бюро, - ворчал Головкин, облачаясь в парадку, - то лейтенант с Байконура, теперь майор из Воркуты.

- Коль, - поддакнул я, - вообще наша часть идиотская какая-то: шифоньеры незнакомым полковникам на восьмой этаж затаскиваем, на общеармейских складах ломаемся, вагоны разгружаем.

- Не могу я, Жорка, на мертвых смотреть, мутит...

- Откажись...

- Здесь что - детский сад? Смешной ты.

- Коль, а залп прощальный будет?

- А как же... Постой, ты опять? И не думай! Хватит!

- Коль, в обмен на боевой...

- Я сказал - нет!

## 6

Красивое Серегино лицо озверело, еще никогда я не видел друга таким хищным.

Его глаза так и сверлят мои сапоги, того и гляди пробурявят кирзу!

- Разувайся! - приказываю я, а Серый будто и не слышит, только зрачки наливаются!

Я снимаю новые сапоги и протягиваю Жукову, он еще не верит, он держит их, наглаживая голенища, и вдруг начинает спешить, точно боится, что я пошутил...

- Привет, траки! - Ленчик в своем репертуаре: степенно жмет Сереге руку, меня бьет по протянутой пятерне и вскидывает к виску два пальца. - Карнэт Эгман к вашим услугам!

- Курочкина нет? - спрашивает Жуков.

- В госпитале, - поясняет Ленчик и ведет нас в личную при санчасти каморку, вечный предмет нашей зависти.

- Вещь! - Серый стучит пальцем по сумке с крестом, с которой Ленка расстается разве когда спит. - Лева, а у Жорика юбилей! Предлагаем это прошпринцевать! В твоём сундуке, - Серый снова стучит по медсумке, - можно пронести водяры на всю роту!

-Привет! - решительно кричит Ленчик, но я не врубаюсь, согласен он или нет.

-Посидим втроем, тихо, мирно, чинно, важно, - настаивает Серега.

-Вход после отбоя через форточку со стороны туалета! - высокомерно, но соглашаясь, рубит Ленчик, и я подаю ему двадцать рублей, ровно половину маминого перевода. Они обсуждают детали, а я бегу на склад - обеденный перерыв закончился, нужно продолжать ревизию. На этот раз я не тороплюсь, сапоги вытираю дотошно - прапорщик не видит, он занят делом. И я окончательно борзею - выбираю себе новую высокую шапку и думаю - Серый тоже захочет! Да и Ленчик, черт возьми! Мимо взгляда Левы в новой шапке не пройдешь! И я прячу под шинель еще две новые шапки.

- Жерохов, если ты надумал переодеть всю роту, то меня точно привлекут! - не глядя на меня, говорит прапорщик.

- Товарищ прапорщик. - теряюсь я, застигнутый врасплох, - я только другу...

- Ну, если другу, - вздыхает Лысов, - то возьми...

...Не отметить приказ министра обороны запахло! Можно не праздновать Новый год, Восьмое марта, ноябрьские, но по отношению к приказу мы люди суеверные. Мы - «старики»! А через месяц-полтора, когда начнут разъезжаться дембеля, мы станем полновластными хозяевами в полку!

Организацией пикника я занялся лично. Вытряс из парней деньги - кто сколько смог дать - и, прихватив парочку пустых вещмешков, рванул тайной тропкой мимо ТЭЦ в лавочку. А на обратном пути встретил Ленку.

- Ж-жуков м-меня п-прислал, - заикаясь с перепугу, сообщил он, принимая вещмешки, - р-ротный тебя ищет...

...-Нес службу бдительно, - упрямо повторил я, - ничем не отвлекаясь...

- Пшел вон! Разгильдяй! - рявкнул ротный, и я, четко повернувшись, рванул с места строевым галопом, грянув во всю мочь:

- Броня крепка! И танки наши быстры!

- Кругом! - скомандовал ротный, и я вернулся на исходную. - Когда? Взрослеть когда начнешь, Жерохов?

- Прямо сейчас, товарищ старший лейтенант! - бодро ответил я.

- Пойдешь в караул! Под мое непосредственное начало, я научу тебя прикидываться Иванушкой-дурачком... - устало подытожил ротный.

## 7

Проставив карандашиком в ведомостях общее количество вещевого имущества по каждому виду, я подошел к Лысову.

- Товарищ прапорщик, взглянуть не хотите? - Лысов сравнил цифры и вздохнул.

- Большой разрыв? - спросил я.

- По ремням, пилоткам, флажкам - ощутимый. Полк разворачивался, спишут.

Ерунда! Мелочь! Остальное целехонько. Просто Кириленко мечтает пристроить сюда своего родственника. Ну, и бес с ним!

- Сдам вот и уйду! Ерунда, - утирает мгновенно выступившую испарину Лысов.

- Подправлять не будем? - по виду прапорщика я догадываюсь: не такая уж и ерунда!

- Ни в коем случае, сынок! Иди, сдавай документ...

...Ротный не пошутил - действительно, весь мой призыв шел в наряд по столовой, а я, один, - с «дедами» в караул!

«Хорошо хоть в парк, а не к знамени части...» - мрачно подумал я.

## 8

- Серый, а мы не худо припухли! - талдычил Ленчик. - День рожденья у Жорки, а подарки нам! Во, шаптон какой! Припухли. Серый, скажи - согласен... И пьем на Жоркины, а, Серый, и не стыдно тебе?

Заметив, что начмед капитан Курочкин ушел, мы вло-

мились к Ленчику - ждать до отбоя терпения не хватило. И вот уже раздавили один пузырь, и Серега полез за вторым, но Ленчик воспротивился и вздумал выпроваживать нас на вечернюю проверку, повторяя, наверное, в десятый раз, что вход через форточку. На проверке Рыбак встал рядом со мной.

- Жорик, Лариса передает тебе большой привет.

Хмель слегка туманит мозги, и я охорашиваюсь:

- Ты идешь сегодня? Возьми меня с собой...

Пока дежурный по части находился в казарме, мы усиленно укладывались спать, но едва он, погасив освещение, вышел, мы оделись, и обнадеженного моей болтовней Рыбака мне пришлось пригласить к Ленчику.

Санчасть напротив штаба через плац. Над парадным фонарь. Из окна дежурки обзор полнейший, поэтому мы потрусили к туалету. Зайдя с тыла, один за одним нырнули через форточку в Ленкины апартаменты... Эх! Разгуляй!

Неважные из нас алкоголики - на столе еще две непотчатые бутылки, а Серега ищет место спиной, а Ленька накрывает кружку ладонью и твердит, что он не свинья, и лишь Рыбак стеклянно-трезвый.

- Жора, пошли, а? Поздно же будет.

- И так уж поздно! - пьяно маракую я.

- День рожденья веская причина, - твердит Рыбак.

И мы помчались, если можно называть мчанием мои зигзаги. Голова работа чисто, и я тщательно прокручивал в ней каждое слово, которое обязательно нужно сказать. У переезда Толик попинал покрытую тонким слоем первого снежка насыпь и хватанул в карман горсть гравия.

- На закусон? - поинтересовался я, но Тоха не ответил, а побежал еще ретивее.

Бутылка булькала у меня за пазухой, мешая бежать. Вот уж совсем неподходящий момент для воспоминаний, а они рухнули, как весенний снег с крыши.

В первую после учебки стрельбу я, можно сказать, опозорился. Ротный, загрузив на башню нас, пятерых мазил, завез километров за двадцать, а может, и больше, в лес.

- К машине! - скомандовал он, и мы выстроились около танка. - Неуважаемые товарищи двоечники, у меня свой ме-

год воспитания. Я не лишаю увольнений, не объявляю нарядов - вторым вы сыты, а первым голодны! Потому - кросс! Время засекаю по последнему - не уложится в час двадцать, забег повторим ночью. Для того чтоб успеть, нужно просто не отстать от машины. Вперед!

Механик по команде тронул с места. Я бежал и не верил, что бегу, а не ползу: пересохло в горле, краснело в глазах, я ничего не видел, кроме идущей впереди машины, ротного на башне, ничего не слышал, кроме стука сердца, бешеного стука - сердце колотилось и прыгало - я поддерживал его рукой. И думал об одном - только бы не я последний.

Мы пришли первыми - я и Озерцов. Сашка повалился на землю, у него скрючились ноги, закатились глаза. Над ним склонился Эгман, вроде колот иглой и тер нашатырем, а я сидел, ничего не соображая, и все вокруг странно раскачивалось.

Последний и самый хитрый, сержант Белоконь, пришел через полтора часа после нас! Забег у него был не первым, и он твердо знал - в любом случае повторных забегов ночью ротный не объявляет.

И вот опять я тороплюсь, как в том забеге, вон впереди спина Рыбака, и мне нельзя отставать.

Подойдя едва живой к общежитию, я увидел - Тоха бросает камушки в оконное стекло. Вспыхнул свет, из-за шторы показалась голова Наташи.

- Признаюсь, уже и не ждала, - сказала она, пока мы усаживались к столу. Рыбак отдышался, а я все никак не мог.

- Жорке двадцать стукнуло, - раскупоривая бутылку, пояснил Толик, - вот мы и решились. Ларис, стопочки есть? А занюхать, если можно, чисто символически.

И лишь тут Лариса пошевелилась, зная, мое появление ночью на «хорошем весело» шокировало ее.

Девушки поздравили меня, пожелали «долгая лета» и выпили по чуть-чуть во здравие.

Мы чадили с Рыбаком на лестничной площадке, он заговорщицки шептал:

- Я забираю Натку и сваливаю в 301, там наша почи-

нальня. Ни пера тебе! В пять будь готов обратно, я стукну.

Наташа и Рыбак обнялись, пошагали лестницей наверх, а я переступил порог и - черт меня дернул - повернул дверной ключ.

Лариса, сидя на кровати с ногами, молчала, и я вдруг понял: мне совершенно нечего ей сказать! Пьяная удаль, благодаря которой я летел сюда, исчезла - я почти протрезвел, и заболела со страшной силой голова.

- Приступай к тому, за чем пришел! - окинув меня тяжелым, исподлобья, взглядом, сказала, словно зачитала приговор, Лариса.

У меня хватило ума молча взять шинель, шапку и выйти. Оделся я на площадке. Неторопливо шагая вниз, я думал, что никогда больше сюда не приду, и не жалел.

- Дима! - она догнала меня, повернула к себе и посмотрела жалобно, сквозь слезы: - Прости меня, пожалуйста, - и прижалась лицом к шинели...

Она стояла с полотенцем, а я «лечил» голову, окуная ее под струю холодной воды.

- Бедненький, зачем пьешь, если так мучаешься? - я не понимал, Лариса ли это шепчет, или вода журчит...

В комнате было темно, и я неловко затоптался у двери.

- Закрой... Разденься... Иди ко мне...

...Колючая проволока. Невозможно забыть собственную наивность в первый день службы. Нас, гололобых и еще не перезнакомившихся, разномастных в гражданской одежде, вели строем к складу с обмундированием.

- Смотри, колючка, как в тюряге! - громко изумился я, толкнув шагающего рядом крепкого широкоплечего парнишку, ставшего впоследствии моим лучшим другом.

- Разговорчики в строю! - одернул меня лейтенант. Этому ему показалось мало. Он остановил нас и вывел меня из строя.

- Фамилия?.. Так вот, товарищ Жерохов, в непоказушных, технически оснащенных частях без колючей проволоки не обойтись, она ограждает военные объекты, - нудно и протяжно говорил лейтенант, будто лекцию читал, - парки боевых и учебных машин, артсклады и склады ГСМ, другие... Все

они сдаются под круглосуточную охрану караулам. Часовой должен зримо схватывать границы поста и подступы к нему. Это вам еще предстоит узнать, а то, что в строю разговаривать не положено, - вы должны усвоить с первого дня! Вам ясно?

- Да, - ответил я, слыша не лейтенанта, а хихиканье ребят.

- Не да, а так точно! Встать в строй!

...Отрапортовав Рыбаку: «Пост принял!» - я двинулся по маршруту. Хорошо, когда разводящий - Рыбак. Он меняет посты вовремя. Максим Озерцов обычно «рисуют», задерживают смену на двадцать-сорок минут. Но сегодня мне - плевать!

Темнело медленно. Нависала какая-то ядовитая фиолетовая серость, прозрачная, как жидкий папиросный дым...

## 9

- Жора! Ты далеко пойдешь, если милиция не остановит - смеется Жуков, и он, наверно, прав! В увольнение ротный меня не пустил, я ведь ходил в прошлый раз с Рыбаком. Не думая долго, я соврал Ашаичу, что отпущен, переоделся быстренько в парадку и подождал на КИП Серегу с увольнительной. Вписал своей рукой: «С ним следует...», и мы покатили в город. Я решил познакомить Серого с Ларисой. Это самые близкие мне люди, и я захотел узнать, как они оценят друг друга.

Лариса опять пела, но то ли она была не в ударе, то ли присутствие Жукова сковывало ее, но на этот раз в душе моей ничто не шевельнулось. Потом пел Серый, он пел тюремные песни, которых знал множество и мог бы распевать до ночи, не мешай да слушай.

Серега Ларисе понравился, я это понял без слов.

- Как она тебе? - спросил я, когда общежитие осталось далеко позади.

- Ты топор? Вот и будь топором! - напустил тумана Серый и, заметив, что я не понял, пояснил:

- Выбирать и рубить дерево нужно по себе! Напиши-ка лучше что-нибудь хорошее Светке, судя по ее весточкам, она тебе больше подходит.

- Ты чего? - обиделся я. - Считаешь, я для Ларисы худ?  
- Не худ! - поморщился Серый. - Сколько ей лет, знаешь? У нее вот-вот будет специальное, заметь, высшее, музыкальное образование, а у тебя - десятилетка в коридоре! Сам мозгуй, а я свое мнение, раз оно тебе нужно, высказал.

Замолчав, задумавшись в обиде, я отчетливо представил недавно проведенную с Ларисой ночь.

...-Какая нежная кожа, - шептала она, поглаживая ласково ладонью мою грудь. - Дима, ты не спишь?

- Нет, - ответил я, и вдруг мне захотелось увидеть ее не в полутьме, а при свете, увидеть всю - от головы до ног, захотелось так сильно, что я, пугаясь, отодвинулся, прикрыл ее ладонь своею и попытался думать о чем-нибудь другом. На минуту мне показалось, что рядом - Светка! И даже - как бы опахло хвоей! Так пахло в избе Светкиных родителей в тот единственный раз, когда я там был.

- Дима. Дима, - затормошила Лариса, - о чем ты думаешь?

И мне стало стыдно за свои мысли. В лицо бросился жар, и непонятно почему, потекли слезы... Лариса, видно, почувствовала неладное, не одеваясь, встала и включила свет.

- Смотри сюда! - требовательно шепнула она, видя, что я не смею. - Какой ты еще ребенок, - улыбнулась она, вытирая полотенцем мои слезы, а когда я успокоился, добавила: - Даже не верится... Расскажи о себе... О чем-нибудь, о сокровенном.

Я долго собирался с мыслями, хотя у меня всегда наготове несколько историй, где я если не герой, то - кавалер ордена Славы! Но отчего-то мне расхотелось врать и выказывать себя хвастуном, и неожиданно я поведал ей историю годовалой давности.

- Ты ведь знаешь, в прошлом году в Афганистан ввели наши войска. Я был курсантом в учебке, и вот у нас объявили - нужно каждому написать заявление: «Прошу направить меня в ДРА на защиту Апрельской революции...» Заметь, не приказывали, не просили, просто объявили. Мне хотелось накапать заявку, я уже и видел себя - там! Говорят, там - горы.. Весь взвод схватился за авторучки, схватился и я, но заметил

- Жуков, мой новый друг, не пишет... «Ты чего?» - спросил я. «Я - пас!» - ответил он. «Почему?» - «Там - чужая страна, что мы знаем о ней? Пошлют - поеду, придется воевать - буду воевать, но напрашиваться сам не стану!» Я знал, что Серега не трус. В учебке первое время часто разборки случались, потому что собрались кто откуда, кто какой. И однажды четверо товарищей из солнечной Грузии потащили меня в умывалку. Думаешь, во взводе кто-нибудь, кроме Жукова, заметил? А он, один, пришел туда, хотя и понимал: южане - ребята хлесткие, носом разбитым не успокоятся. Драка не состоялась, пожалуй, благодаря Жукову. Поговорили и разошлись. Грузины уверенных в себе уважают. И, не захотев, чтобы Серега оказался единственной «паршивой овцой», я тоже не стал писать заявление. Ни один человек из роты в Афган не попал, но мне все равно иногда бывает хреново. И я начинаю видеть окровавленную ногу...

- Ногу? - удивилась Лариса.

- Был у меня на гражданке один приятель, из дому пишут, сейчас в Афгане служит. Повздорили мы как-то, и я нечаянно пырнул его перочинным ножичком в ногу, повыше колени. Ты даже не представляешь, как я испугался, увидел струю крови. А притащив его в медпункт, испугался еще сильнее, подумал, что он расскажет, а он сказал: «Упал с велосипеда на стекло...»

- Хороший ты человек, Димка Жерохов, - звонко сказала Лариса, - искренний! Но иногда становишься ускользающим, непонятным и чужим. Держись проще - и к тебе потянутся люди!

Самые хорошие слова, сказанные подобным тоном, можно истолковать превратно. Что же меня насторожило? Чрезмерная громкость после недавнего шепота или слепая ее уверенность? Я понял, что Ларису совсем не знаю и, скорее всего, воображаю ее такой, какая меня устраивает, а она не хочет вписываться в придуманные мной рамки...

Вспомнив это, я опять прицепился к Сереге, требуя объяснить, по-русски объяснить, почему мы с Ларисой не пара! Да, она старше на три года, так моя-то мать тоже старше отца, аж на целых пять лет, а по внешнему виду об этом вряд

ли кто догадается, особенно теперь. Они прожили с отцом двадцать лет с гаком, и я ни разу не слышал, чтобы батя назвал маму старухой.

- Серега, не темни, скажи честно, чем она тебе не нравится, - наседал я, - пойми, не ради любопытства пристаю.

- Успокойся, Жора! Думай лучше, что ротному говорить, если он тебя хватился... - отказывался объясняться Серега.

«Ротный тоже человек - не машина, - думал я, - у него жена, дети. Вряд ли он в воскресенье торчит в казарме. Раздал увольнительные, оставил ЦУ старшине и урыл домой».

Я оказался прав, и Серега, смеясь, высказал, что дома за меня сильно молятся, вот и сходит все с рук.

Ашанч протянул мне письмо от Светки. Я решил прочесть его вечером, не торопясь, но Жуков качал головой слишком осуждающе: он, человек женатый, серьезный, готовый письма жены оборвать у почтальона с руками, не переваривал такого моего отношения пусть и к незнакомой ему Светке, - и я вскрыл конверт.

Светка писала, что любит и ждет, что готовит приданое - обычные для нее вещи, но в конце почерк сломался, будто писала не она: «Женя Поспелов погиб в Афганистане. Вчера привезли гроб, весь запаянный. В маленькое окошечко видны только нижние зубы, заплывший, вроде и не Женькин подбородок, да тапочки, как у тебя, на воротнике. Он писал мне письма каждый день, а я не отвечала. Я думала - это перед тобой нечестно. Он погиб, а если бы я писала, может бы, остался живым...»

Виски заломило нестерпимо - будто меня стукнули по голове кувалдой! Я скомкал письмо и побрел не зная куда: «Женька погиб! Мой заклятый враг-соперник... Сколько раз я грозился его прирезать, и вот его нет! Он не встанет, не загородит дорогу к Светке, не приведет с собой двоих, троих пацанов... Он погиб, его нету, а мне...»

Мне хуже не бывало! Я хотел зареветь, но глаза были сухи, было сухо, шершаво в груди, я шагал, куда ноги несли, и оказался в санчасти. Наверное, вид мой был понятен - Эгман, без обычной суетливости и страха быть уличенным, вытащил оставшуюся со дня рождения бутылку и протянул мне.

Я разгрыз пробку, хлебнул, сунул бутылку в карман и вырлил на плац. Я шел в одном «хебе», ничего не замечая, не ощущая мороза.

Дежурный по КПП Коля Головкин, обычно приветливый и разговорчивый, обозвавший сегодняшней визит мой в город «верхом борзоты», словно онемел и растерянно раскрыл передо мной задвижку, преграждающую выход на улицу.

Я шел к перекрестку, зачем-то к перекрестку, мимо офицерских домиков, время от времени прихлебывая из горлышка. Я никогда не пробовал водку из горлышка, из стакана и то - противно, а тут хлебал, не чувствуя ни запаха, ни вкуса.

Светофор казался мне поджавшим окровавленную ногу человеком, моргающим огромными глазами, роняющими горькие слезы, и я стремился до него дойти, я хотел ему помочь...

Откуда-то вывернулся ротный со смешной кошелкой в руке, он схватил меня за плечо, а я, глядя слепо, подал скомканное письмо. Ротный не помешал мне глотнуть при нем, он не тронул бутылку, он только прочитал, очень аккуратно сложил листок и, опуская его в мой карман, подтолкнул:

- Иди в казарму, Жерохов, простудишься. «Простудишься... студишься... студишься...» - застучало в мозгу, и я хотел объяснить, что от простуды не бывает цинковых гробов, но молча повернулся и пошел. Я видел зареванную Светку, живого ярого Женьку. И я вспомнил Ларискину улыбку и заорал:

- Не смей! Я запрещаю тебе так улыбаться! Нельзя улыбаться!

Поскользнувшись, я упал, но продолжал орать, я уже крыл всех матом, я бился лицом об укатанную ледяную корку.

Поднял меня Головкин и куда-то повел, и лицо его лоснилось. Потом меня били по щекам, потом тащили за ноги, я не сопротивлялся, я задыхался, было очень трудно дышать, на меня набросили вонючий мешок, я хотел освободиться, но пришел Жуков в кальсонах и бушлате с автоматом и выстрелил мне в живот, мне было не больно, и я хотел расхохотаться, но увидел чудесные огромные ромашки-одуванчики и попытался понять, а где я видел их раньше, я их точно видел, но они были больше и светились, и я подумал, что это ночные

фонари возле кинотеатра «Калевала». Они закружились, начали взрываться, поднялась пыль, и мне опять стало трудно дышать. Из пыли появились комполка, замполит, начштаба, и все они кричали непонятно что и тянулись ко мне руками. И я возмущенно выковырял из живота пулю и отдал им. Они не уходили, они все кричали, и вдруг появилась Лариса, голая, она закрыла меня собой и заплакала, а потом сказала:

- Это вы сделали его таким!..

Очнулся я ночью, в ящике для шинелей. Выбрался, голова не болела, но во рту будто стадо козлов отдыhalo. Я побрел в умывалку и долго там булькался, прополаскивая горло. Воротясь, стрельнул у дневального сигарету. Дневалил тот самый молодой, с которым мы склад ревизовали.

- На проверке меня не спрашивали, братан?

- На проверке за тебя стоял свободный дневальный.

«А может, - осенило меня, - приснилось?! Нажрался и приснилось это чертово письмо?»

Я схватился за карман. Письмо было там, аккуратно разглаженное, сложенное в четвертушку.

Утром объявили баню. Серега матерился, он ненавидел мыться по утрам в понедельник, а мне так все равно когда - лишь бы чистому ходить. Мы получили полотенца, портянки свежие, чистое нательное и скучились на выходе из казармы, и я вдруг обратил внимание: Лелик, Карим, Петруха и Сობоль держат по два комплекта.

- Давайте сюда! - потребовал я. Еще вчера я не заметил бы их рабской услужливости, но известие о Женькиной гибели перетряхнуло мою душу. Белье я отнес старшине, наказав ребятам, раз трусят, валить на меня... Савва, Шваб, Максим, ошарашенные моей наглостью, примчались следом.

- Жора, ты не слишком деловой?

- Хватит искать сынков! Наш призыв больше не шестерит! - разозлился я.

- Жорка, - шепнул в бане Рыбак, - они этого так не оставят, постарайся не расслабляться.

...Неожиданные проверки постов редки - разве начштаба, подполковник Меркин, поругавшись среди ночи с женой, иногда нагрянет, а дежурный по части проверяет караул с

двадцати двух до двадцати четырех и с шести до восьми: график это или неписаное правило - не моего ума дело. Наверное, дежурному так удобнее: подышал свежим воздухом, проветрился, взбодрился, шагая от штаба до караулки, рог-пись поставил - и в казарму, производить отбой вечером, а утром подъем. Всем об этом известно, и нас, часовых, такое устраивает!

Самая нелюбимая стариками - третья смена: приходится ходить в столовую с термосами за пищей для состава караула, а по окончании трапезы мыть эти бачки. Зато третья смена почти никогда не проверяется на постах...

...Волнение колотило меня: черт возьми, почему так светло, кажется, еще никогда не было таких светлых ночей, как эта! Раздвинув колючку, я осторожно вышел за пределы парка - в двадцати шагах столовая, и меня там ждут! Вот сюжет, достойный книжки Эгмана, подумалось мне, - ну кто когда-либо пробовал волочь службу на посту под кайфом? История такого не знает!

Ребята встретили меня гамом. Не было только Ленки Эгмана, но его и не приглашали - он противник таких вот, коллективных, сабантуев. Расселись мы чинно в поварской. Разливал Серега. Лелик подносил бутылки - все скопом нельзя, а мало ли что? - ведь там их пара вещмешков, по три надежнее.

- Орлы! - обратился Жуков. - Давай дрогнем все, как один, за приказ! И за то, что дембель неизбежен, как крах капитализма!

Мы пили за прошлое и будущее, за всех стоящих на постах и пашущих в столовках. Пили за отцов, матерей, сестер и братьев. Пили вместе - за общее, и каждый в отдельности - за свое. Лелик объявил, что вина больше нету.

- Как? - не поняли мы с Серегой. - Должны быть еще четыре пузыря, ищи.

Лелик принес пустые вещмешки...

## 10

Подозреваю - до службы Жуков работал сапожником, но, стесняясь, скрывает это и говорит, что пахал на комбинате

дежурным оператором.

У моих новых сапог он нарастил каблук, обточил подошву, и я их не узнал: прицепить шпоры - любой гусар позавидует!

- Джерри! - с наглой ухмылкой подвалил Шваб. - Махнем «колесами»...

- Помашаи чем-нибудь в туалете... - посоветовал я.

- Пошли выйдем! - побледнев, схватился за ремень Шваб.

Моментально рядом оказались Максим и Савва, и я приметил, как напрягся Жуков, и как торопится, сообразив, на подмогу мне Акмурадов. Это мне добавило уверенности. Акмурадову за его жест я простил даже, что он молится втихаря своему Аллаху.

- Пошли. - согласился я, подав Сереге знак невмешательства. «Деды» двинулись за мной.

- Саватин! - крикнул Акмурадов. - Што, Жора такой страшный, да?

- Оставайтесь! - открестился от корешков Шваб.

Завернув за угол казармы, я спросил как можно развязнее:

- Ну-сс, так какие у вас претензии, господин «канцлер»?

Шваб размахнулся, мне ничего не стоило увернуться, но я знал - этого делать не надо. Интернатовская привычка - всегда ведь, если имеешь отметину, можно сказать: защищался, не я первый начал. И совсем необязательно налетать на прямой - достаточно маленькой ссадины.

Кулак скользнул по щеке, пролетел за ухо. Почти одновременно нашарил я его солнечное сплетение, ударив отработанно, мощно. Он осел, задохнулся и согнулся, и мое колено с силой впечаталось в его лицо. Пока Шваб падал, я успел пнуть его два раза и, уходя, наступил ему на руку.

- Жорка, они будут мстить, берегись... - испуганно шепнул Рыбак, когда Ашаич, Максим и Савва умчались подбирать Шваба...

Я чувствовал их все нарастающую ненависть, но так или иначе служба шла, будничная армейская жизнь, в которой хающего не меньше, чем плохого, а веселого и смешного больше, чем откровенно мрачного.

Мы обслуживали технику, стоящую на хранении в парке, выезжали на полигон, ходили в караулы, другие наряды и работы. Явных стычек не было, и я успокоился...

С Новым годом Лариса поздравила меня открыткой, где попеняла, что я ее совсем забыл. И мне захотелось ее увидеть.

Рыбак предлагал свалить, как обычно, после отбоя, но я, узнав, что дежурным по части заступил майор Карамян (он приходит на проверку с безразличным видом и, выслушав рапорта старшин: в строю столько-то человек, незаконно отсутствующих нет, сразу объявляет отбой, не стараясь проверять лично каждого), уговорил Тоху смотаться сразу после ужина.

Лариса плакала, называла себя старой бабой, говорила, что хотела бы на миг стать министром обороны и продлить срок службы с двух до пяти лет, тогда бы мы уехали из Петрозаводска вместе, она твердила, что может работать где угодно, хоть в школе, хоть в детском саду, лишь бы я был рядом.

Я целовал ее и, поддразнивая, сообщал, что в детский сад меня не возьмут, в школу тоже - я вышел из такого возраста, говорил, что нравится ее целовать, что хочу целовать ее всю жизнь, и сознался, что при первой встрече она мне сильно не понравилась.

Она опять плакала и смеялась, говоря, что первое впечатление всегда ошибочно. Мы проговорили бы так, ни о чем, долго, наверное, до утра, словно позабыв, что кроме разговоров можно еще чем-то заниматься, но оконное стекло глухо звякнуло. Внизу стоял Жуков.

-Жора! Роту подняли по тревоге! Вас ищут!

Лариса понеслась за Рыбаком, я торопливо натянул шинель. Серегу мы не догнали и от этого спешили еще сильнее и строили догадки - то ли случайная тревога, то ли на проверку пожаловал ротный, а то ли - самое худое - нас заложили.

Безвыходных ситуаций не бывает. Я предложил Рыбаку, перескочив забор, нырнуть к Эгману - пусть он нас госпитализирует на эту ночь, может, и вывернемся.

Рыбак отказался, направляясь к КПП, а я рванул в

форточку санчасти.

- Ленчик! Выручай! - орал я. - Болею! Болею с обеда и тут лежу, лечусь!

- Твое счастье, - спокойно сказал Эгман. - Кровать свободная есть. Вон, рядом с кацо ложись, не шуми. Но учти, Курочкин предпочитает работающих больным, зафилонишь - выгонит!

И Ленчик вытолкнул меня из вместительной прихожки в единственную при санчасти трехместную палату.

Разделся я до плавок в шесть секунд, нырнул под одеяло, пот еще катился по мне, я слышал: щелкнул замок каморки, Ленчик улегся. Какая тишина...

Забухали шаги у парадного, в прихожей вспыхнул свет, и я услышал голос Ашаича:

- Жора! Выходи, не прячься!

Они стояли вчетвером: Савва, Шваб, Максим и Ашаич. Я почему-то был уверен, что в казарме ждет ротный и они пришли меня звать. Я шагнул к ним, как был - в одних плавках, собираясь спросить, в чем же там, в казарме, дело?

Инстинкт самосохранения отключился: не опасаясь, я подставил Савве и Швабу спину. Шваб ударил меня по левой почке, шарахнул так, что я с перебитым дыханием полетел вперед, и лишь неосознанное усилие качнуло в сторону, к тумбочке. Я видел ноги - восемь сапог, четыре пары. Они будут пинать, подумалось мне, и значит, нужно, по возможности, прижаться спиной к стене, лечь на бок, подтянуть ноги, прикрыть руками голову.

Они не пинали, они похохатывали, хвастаясь друг другу, как ловко только что попинали Рыбака. Своего-то, «дедушку»...

Они ждали, пока я встану... Я медленно распрямлялся, скользил рукой по тумбочке, мне надо было оторваться от нее и достать до стены. В ладонь попало горлышко стоящего на тумбочке графина. Жизнь продолжается! Ашаич от моего - пяткой в грудь - удара проломил дверь шкафа, хранящего белый халат Курочкина и еще какое-то тряпье, графин раскололся на голове Максима, который от такого подарка завалился, подминая брыкающие ноги Ашаича. С обломанным ост-

рым горлышком в руке я шагнул навстречу онемевшим Савве и Швабу...

Стукнула дверь, в проеме возник майор Карамян.

- Эт-та еще что?! Самосуд?!

- Самовольщик, товарищ майор, в санчасть спрятался, - вытянулся, наконец-то с трудом покинув шкаф, Ашаич.

- В казарму бегом, урш! Всем отбой! - скомандовал старшине майор, и «деды», гуськом за Ашаичем, вышли на улицу.

И тут явился из каморки непохожий на заспанного Этман.

- Крепко спишь, товарищ медбрат! - ядовито произнес Карамян. - Или ты нейтрален, как Швейцария? - Ленчик раздувал щеки, собираясь рапортовать, но майор, обращаясь ко мне, заключил: - И-эх! Люблю таких! С тобой, Жерохов, ротный разберется... - И, уходя, обернулся и, охватив руль воображаемого велосипеда, дернул его пару раз на себя, - не было, сержант?

- Не успел, товарищ майор...

- Ну и молодец! - засмеялся майор. - Хоть заразы в полк не принес. Или честная девочка?

- Честная, товарищ майор!

- Ну и правильно, Жерохов, - и дежурный прикрыл за собой дверь.

- Жора! - испуганно уставился на меня Ленчик. - Ты свихнулся! Это же любимый графин Курочкина! Он завтра с ума сойдет! А шкаф? Вот и пускай таких больных!

- Что, я виноват, - оправдывался я, хватая метелку, - если деревянная башка Максима крепче графина?..

- Шас шкаф пачиним! - из палаты колобком выкатился кацо, вид его в полосатой больничной пижаме до колен с чалмой на голове был до того нелеп, что я расхохотался и лишь тут заметил - стою на стеклах босиком.

- Вэй! Маладэц, Жорка! Я болной, жалка, а то бы памог тэбэ. Какой плахой графин, какой крэпкий, дубовый башка, - твердил кацо, колдуя над шкафом.

Утром, воротясь в казарму, я во всеуслышание заявил, что ни один ярый «дед» не уедет домой без синяков. «Старики», подобные Рыбаку, не обратили внимания на мои слова -

их это не касалось, а компашка Саввы подвалила ко мне в парке, на обслуживании техники.

- Жор, даже так?

- Даже так! - жестко ответил я.

- Гляди, Жора, до дембеля нашего можешь не дожить!

- пригрозил Савва.

- Есть гарантии, что доживешь ты? - спросил я, и они отошли, поняв - разговор пустой, ничего не дающий.

На следующий день начальник штаба зачитал приказ командира части: «Младший сержант Жерохов снят с должности командира танка, переведен в наводчики орудия и разжалован в рядовые».

- Вот и произвели тебя в «крайние», Жора, - утрюмо, но громко, не стесняясь ротного, сказал Жуков.

Я содрал лычки, думая, что рядовым-то служить легче, но ротный вдруг раскричался:

- Устава не знаешь, Жерохов?! Пришить немедленно!  
Приказ отправили в дивизию на утверждение, а до той поры - ты сержант!

- Что, в дивизии могут не согласиться?

- Могут, - неуверенно добавил ротный.

...Темнело. Ориентироваться на трассе стало трудно, и ротный объявил отбой...

Мы мерзли еще с полчаса, но третьей машины, которую должен был пригнать Максим, все не было, и ротный погнал нас пехом. Морозило, мы куржавели и леденели, и когда подкатила дежурная шестьдесят шестая, а из кабины вывалился Максимов, ротного едва не хватил удар.

- Где техника?! Отвечай!

- Там, в ручье... - съежился Максим. Из окаменевшей уже, перемешанной со снегом грязи торчала башня, напоминающая задранной пушкой выкорчеванную, но не упавшую на землю березку.

- По кой тебя туда понесло?! - заматерился ротный. - Ничего доверить нельзя! Вот брод, Максимов! Ты у окулиста когда был? И упражнение из-за тебя не сделали, и техника в болоте! Останешься здесь до утра! Гуски крутить, а иначе

вмерзнет - до весны не достать!

- Не останусь!.. - затравленно оглядываясь, завыл Максим. - Лес, волки... Не имеете права!

- Как миленький останешься!

- Никак нет, товарищ старший лейтенант, что хотите со мной сделайте...

Мне вдруг стало до того тошно, что я, не сдержавшись, шагнул вперед и сказал:

- Разрешите остаться мне... Ничем сильнее удивить ротного было нельзя - отрицающий любую, за кого бы то ни было пахоту Жерохов собрался добровольно мерзнуть всю ночь.

- Еще один! Желательно механик! - обрадованно крикнул ротный. Строй молчал, лишь фурычил слабо в стороне двигатель шестьдесят шестой да трещали от мороза лесины.

- Добровольцы есть? - невесело спросил ротный.

- Каримов, - окликнул я, - иди сюда.

Карим встал рядом со мной.

- Греть двигатель, по тридцать, сорок минут крутить внатяг гуски, - торопясь, повторял ротный, а когда последний солдат забрался в фургон, толкнул в плечо, - спасибо, Жорка! Тягач придет утром.

И я вдруг подумал: ротный совсем еще молодой, обряди нас в гражданку, поставь рядом, никто не скажет, что он - командир, он даже бреется раз в неделю, а я каждый день.

...Никто, кроме меня и Жукова, не обратил внимания на Лелика с пустыми вещмешками. Ребята разогрелись, поплыли, скучковались по два-три человека, делясь захлеб чем-то, видимо, очень важным...

- Строиться! - заорал я, забываясь, что у меня нет никаких прав, ведь я даже не сержант.

Они построились, еще не понимая, зачем, и лишь Жуков стоял за моей спиной, как Борман возле Гитлера.

Кто-то из них испортил такой день! Украл то, что принадлежит всем!

- Кто?! - заорал я. - Убью!.. - и передернул затворную раму. - Ты?! - ткнув стволом в грудь узбеку, угрожающе

прохрипел я.

- Не-эт... - отшатнулся он.

- Ты!.. Ты!.. Ты!.. - беснуясь, бил я стволом каждого очередного, но все отказывались и, падая, отползали.

- Ты?! - подцепил я стволом снизу вверх яйцевидную, выкаченную пузеню Каражана...

Казах ухмылялся и молчал.

- Пристрелю, сука!

- Не вистрелишь, - прошепелявил казах.- Я, но не вистрелишь...

Я потянул спуск...

- Жора охрендел, - недели две спустя скажет Эгману Жуков, - построивши пацанов, он начал их торцевать. И сам-то я готов был растерзать ворюгу, но не всех же подряд! А тут еще казах сказал: «Взял я!» Я надеялся, что, передергивая затворную раму, Жорка шутит, он всегда ведь не помному шутил. Но грохнуло, будто обвалился потолок, а в кафеле возле ног Каражана образовалась ямина. Казах затрясся и сказал: «Жора, не я...» Ребята завизжали и поползли кто куда, а Жора целился в них и выл. Я выбил у него автомат и схватил за горло. Придушил немного и поволок на пост. Автомат нес Каражан. «Цел?» - спросил я. «Цел», - ответил он почему-то шепотом. И я подумал, что Бог и вправду есть, хотя бы для Жорки. И надавал Жоре пощечин и впихнул его за колючку, Каражан закинул туда же «ружжо». Мы видели, как Жорка нагибался за «калашником» и падал, а когда изловчился наконец, то побрел к вышке, таща автомат за собой за ремень, как собаку... А все же хорошо, что столовка далеко от караулки и штаба - иначе Жорке светило бы небо в клетку. А вора я нашел - Лелька эти четыре бутылки «дедам» отдал. Говорит - приказали! А мы с Жоркой из-за Дольки и таких, как он, защищая, с этими «дедами» цапаемся, отношения портим!

Серегиным рассказом Эгман не насытился. Он насел на Рыбака с расспросами, а слушал его с таким видом, будто и впрямь собрался писать повесть или инструкцию по несению караульной службы для будущего сына.

- Мы искали его минут сорок, обшарили каждую машину, каждый закуток - не нашли и собрались идти докладывать ротному, как вдруг Жорка вывалился навстречу нам из-под забора. Это надо видеть - пьяный в дымину, слабо сказано!

Я забрал у него автомат, а Шваб и Озерцов подхватили под руки и потащили в караулку. Пользуясь тем, что ротный спал, мы забросили Жору на топчан. Я надеялся, что он отрезвеет за три часа.

Толик рассказывал не бесстрастно, как Жуков, а выразительно, можно сказать, с душой, помогая себе мимикой и жестами:

- Когда подошло время снова заступать на пост, Жору разбудить я не мог. В комнату отдыхающей смены зашел ротный и закричал: «Хреновы «деды»! Один черпачишко в карауле, и того поднять не могут! Жерохов, подъем!» Жора дрых. Ротный опрокинул топчан, Жора - ноль вниманья. «Да он нажрался! - унюхав, заорал ротный. - Шваб - воды!» Жора не шевельнулся, и ротный - таких матюгов слышать от него раньше вряд ли кому доводилось - бросил пустую кружку и побежал за ведром. Холодную воду из ведра он лил медленно, рачительно, тонкой струей на лицо, шею и грудь Жоре. Шваб зажимал рот кулаком, я тоже еле сдерживался от смеха. Жора не просыпался, и Савва принес крупитчатого снега. Ротный натер им Жорке щеки, и наконец, Жора открыл красные, безмозглые глаза. Мы стащили с него ремень с подсумком и штык-ножом. «Присмотри за этим ошметком!» - приказал мне ротный, а менять часовых пошел сам. «Дедушка» Морозов из-за Жоры простоял, не меняясь, четыре часа...

## 11

Склад обокрали ночью. Вор перелез через забор, выдавил стекло, взломал монтировкой решетку. Долго перед строем возмущались зампотыл и начвещевой. Обвинили наряд по КИП - де, ротозеи! Вор унес два полушубка и два новехоньких офицерских комбеза. Вот уж чего я там не видел! Ведь недавно я пересчитал на этом складе каждую тряпку. Может, завезли позднее?

Странно... Подозрительно... Откуда «обыкновенному»

ворюге знать, что это вот вещевого склад и - он не сдастся под охрану! Если бы прапорщик Лысов не уволился, я бы с ним поговорил об этом, но он уже не служил, а нового начсклада я не знаю.

Вообще - многое странно. К примеру, охраняемый круглосуточно склад НЗ. Однажды мы привезли туда с перевалочной целую машину зашитых бумажных кулей. Любопытство раздирало меня, и я тайком распотрошил один куль. В нем оказался обыкновенный засушенный черный хлеб! Попадались даже обкусанные ломтики. А здесь - вещи, и не охраняются.

Черт с ним, я не дознаватель, и мнения моего никто не спрашивает. В связи с кражей караул усилили - ввели ночной пост по военному городку, и я опять подумал - филькины потуги. Маршрут установили такой, что, пока идешь, склад опять-таки можно распаковать пять раз...

...- Жора! - разорался Жуков. - Ты обурел, как не бурел ни один «дед»! Савва только и ждет, на чем бы тебя подловить, а ты уходишь с поста спать! И куда?! В казарму! Сопрут автомат - ищи потом! Это тебе не вино жрать да по самоволкам шляться, разгильдяйством не назовешь! Тут зонной пахнет!

- Не ной! - окрысился я. - В караулке слышно.

Серегин страх меня насторожил, да еще подлетел, будто ненароком, Рыбак и сообщил скороговоркой, что Шваб и Савва пожаловались на меня Бабенке, только что вернувшемуся из дисбата.

И я вырвел у Головкина холостой патрон и, заступая на этот чертов пост - по военному городку, загонял его в патронник и ходил по посту со снятым предохранителем.

Замечая бредущих в темноте «дедов», я напрягался и устраивал поудобнее автомат. «Деды» частенько путешествовали по ночам после отбоя по своим делам: в наружную каптерку или к свинарю, в теплицу или к хлеборезу, повару, в столовку, а иногда и в самоход группой, а мне стало казаться - крадутся по мою душу, и я начал жалеть, что разжалован - не пришлось бы стоять на посту, ходил бы разводящим.

...На первое - суп с перловкой, на второе - перловка... Я выпил компот и вышел на улицу. Закурил. Почти следом за мной из столовой вывалился рослый незнакомый солдат и попросил:

- Зема, дай табачку...

Бросив ему, не сходя с места, сигарету, я понял - это Бабенко! Он был раза в полтора меня шире, и от его фигуры веяло какой-то дикой, скрытой, но готовой в любую минуту вырваться жестокой силой. Лицо с выдвинутым вперед мощным бульдожьим подбородком выглядело неестественно смуглым при светло-курчавых волосах, прищур колот льдисто. Я никогда не видел такого жестокого взгляда. Да, тут интерна-товскими замашками не возьмешь, и, наверное, впервые за службу я по-настоящему испугался, почти струсил.

- Слышал, молодых вам не дали... - медленно и четко выговаривая слова и щурясь, произнес он.

- А мне побоку! - неожиданно для себя развязно и нагло ответил я.

- Другим не побоку... - выделяя первое слово, значительно посмотрел он, и я словно прозрел - у дисбатовца седые ресницы! Так вот отчего у него такой злой, морозящий взгляд! И я сразу вроде как успокоился, точно за мной стояла целая армия.

- А мне до фени другие!

- Зёма, зачем грубить? Ты меня не знаешь... - взгляд его похолодел еще больше.

- И хорошо, что не знаю! И будет лучше, если не узнаю. А если узнаю, я тебя просто пристрелю! - бросив окуроч, я заметил, глаза его дрогнули, и взгляд напомнил мне удивленное выражение здорового бульдога, случайно обратившего внимание на тьяканье щенка.

- Передай привет Савве! - не дожидаясь роты, я повернулся и пошел в казарму.

-Зёма! - крикнул он вдогонку. - Кто много базарит - долго не живет!

Перетянул, перетянул Жорка, подумалось мне, рисоваться можно перед Серым, обещая проткнуть Шваба, перед Рыбаком, Эгманом, но не перед этим льдистоглазым. Но -

поздно! Слово не попутай, в клетку не засадишь!

Бабенко повел себя непонятно, он будто забыл обо мне. А неделю погодя нагрубил дежурному по части, капитану Букину, за что загремел на «губу». О нашем разговоре прознали ребята, и я попал в герои дня. Вот это Жорка! Самого Бабенко приструнил! А Головкин решил, что Бабенко струсил, потому и спрятался. Лично мне Бабенко трусливым не казался, но много ли я понимаю в людях.

«Деды» от меня отстали вовсе, и я, махнув на все, решил служить в свое удовольствие.

...Ротный называл меня скотиной и подонком, обещал при случае удобном набить морду, но когда позвонил дежурный по части и сообщил, что наряд по кухне перепился и передрался - даже завтрак задержат на целый час, - икнул, словно и сам был с дикого похмелья, и побежал в штаб.

- Жерохов, - сказал он, воротясь, - Жуков арестован. Тоже мне - боксер! И надо же избить всех до одного! Наряд отстранен, завтра разбор, и ты, как единственный у нас «незалетчик-трезвенник», выступишь общественным обвинителем Жукова и других от лица комсомола роты! Посмотрю я, с каким мурлом ты будешь обвинять и требовать справедливого наказания.

Лицо ротного было спокойно, но в голосе слышалось столько сарказма, что я опешил:

- Товарищ старший лейтенант, что хотите, хоть туалет вычищу, только не это...

- Жерохов, вино покупал ты?

- Я, товарищ стар...

- Вон! - сорвался ротный и вытолкнул меня в комнату бодрствующей смены.

- Влип, очкарик? - засмеялся Савва, но все остальные «деды» смотрели сочувственно.

Вечером, сдав в оружейку автомат и боезапас, я побежал к Эгману.

- Лева! Выручай!

- Жукова видел? Он просил тебя не пылить... - оби-

женно выдавил Ленька, - как же ты его подставил-то, а, Жора?

- Лева, положи меня на сутки, двое.

- Спятил, Жора? - словно позабыв обиду за Жукова, расхохотался Ленчик. - Да Курочкин после того графина до сих пор на тебя тошнотой исходит. Изжога у него на тебя, понял? Приспичило чего?

- Ротный ставит меня обвинителем, хочет, чтобы я обвинял Серегу и других ребят, как незалетевший.

- Так это же хорошо! - обрадовался Ленчик. - Выступишь, Серого по мере возможности поотмажешь...

- Пошел ты! - хлопнул я дверью. Куда, к кому идти? К командиру части! Я расскажу ему все честно, и пускай меня судит трибунал!

Я побежал к штабу. Потянулся к двери, она распахнулась и больно стукнула по руке. В проеме стоял ротный.

- Куда, Жерохов?

- К командиру, товарищ старший лейтенант, я расскажу...

- С-сучо-ок! - ротный схватил меня за ворот, развернул и поддал пенделя. - Я тебе покажу командира! Бегом в казарму!..

И впервые за службу я заревел! Слезы затопили глаза, я ничего не видел, я опять шел, не зная куда.

- Сюда! - подправлял ротный. - Шагай, шагай, ничего с тобой не случится.

Он говорил грубые слова, он колотил меня то по шее, то по спине, но в голосе его я не слышал злости, в нем явно прорывалось сочувствие.

За полчаса до разбора обвинителем ротный назначил Ашаича, а меня и Шваба присоединил к команде молодых из первой роты, убывающей под предводительством Головкина на перевалочную разгружать вагоны.

- Жора, ты понял? - вполне мирно спросил Шваб.

- Проще пареной репы! - ответил за меня Головкин. - Вы же оба в штабе на заметке, при виде ваших рож у «полкана» тик, а ротному лишние оплеухи не нужны... Потому он и «выкидон» твой в карауле скрыл, соображаешь, Жора? Жуковскую бы кашу расхлебать! Мировой мужик ваш ротный,

нарвись вы на нашего, он отправил бы вас не на вагоны! В «Артек под Вологду»!

Жукову командир полка объявил семь суток.

- Не кисни, Жорка! - тряхнул головой Серега. - Бывают в жизни огорченья! - И, прощаясь за руку, пытаюсь меня успокоить и развеселить, добавил: - Я там от тебя привет Бабенко передам, скажу, ждешь не дождешься его возвращения.

Голос молодого наверху, в расположении первой МСР, тоненько выводил: «Старикам спокойной ночи...» И мне, непонятно отчего, вдруг до одури жалко стало наших «дедов», теперь дембелей: Рыбака и Морозова, Савву и Максима, Шваба, Озерцова, Ашаича - даже Ашаича! Им никто не подшивал воротничков, не стирал «хэбэ», никто не драил за них технику, и, кроме того, я постоянно в течение полугода отравлял им жизнь! Они платили мне тем же: из-за них я разжалован, из-за них не заслужил отпуска, перестала писать Светка - все из-за них! Ведь если бы я больше думал о Светке, а не о том, как установить справедливость в роте, я и письма бы слал настоящие, умные, любовные... А Лариса? Я бы мог встречаться с ней до сих пор, не будь у меня проблем!

Все из-за врагов моих, сослуживцев. Спит рота. И наверху уже утихло, давно отбой.

И вдруг меня будто током дернуло, ни с того ни с сего во всю ивановскую я ору:

- Дембелям спокойной ночи! Пусть вам снится мирный дом! Баба с пышным хохолком!

Очумело, как по тревоге, вскакивает Ашаич, дневальный включает свет, все поворачивают ко мне головы, а я ору:

- Дембелям спокойной ночи! Пусть вам снится мирный дом...

- Баба с пышным хахалком!.. - подхватывает шепелявящим визгом Каражан.

Подхватывают Петруха, Соболь, Акмурадов, Карим, Лелик - подхватывает весь наш призыв, даже огнеупорный Жуков орет и как орет! Громче всех! Дембеля стоят на кроватях, они еще ничего не понимают, думают - мы сдурели, но вот подпрыгивает Рыбак и толкает Мороза, и все остальные

начинают прыгать, толкаться и орать: не поймешь что! Савва стоит на голове, Шваб обнимается с Ашаичем, Максим пляшет - и все орут, орут!

Дежурный по части - опять майор Карамян, везет же мужику - успокаивал нас больше часа, и мне казалось, Карамян вот-вот пустится в пляс, начнет дробить какой-нибудь армянский танец! И вот опять - тишина. И все спят. Не сплю я, но я еще не знаю - что только что сделал...

Не знаю я, что Савва не упадет со стены бокса, как Аджаев из первой роты, что Ашаичу не проломают черепушку, как Макарову из роты связи, что Шваб уедет домой без синяков.

Не знаю я, что завтра меня арестуют по подозрению в грабеже пресловутого склада как соучастника, а выпустят, признав невиновным, только через пять недель, но перебросят далеко на север, в танковый полк. Не знаю я, что Женька Бабенко просидит на «губе» до самого дембеля. И что именно он будет подбрасывать сигареты мне в изолятор гарнизонки, а я пойму: и в эгмановской истории не все «как было»! Тента Бабенка не пропивал. Не знаю я, что Наташа бросит консерваторию и уедет с Рыбаком - Тоха похвастает в письме, которое получу уже на гражданке, его перешлет Серега Жуков на мой домашний адрес. И буду я смотреть на фото Наташи и гражданского, незнакомого мне Рыбака и завидовать, и жалеть, что не сумел, не решился дойти до такого же логического конца с Ларисой.

Не знаю я, что домой попаду в день Светкиной свадьбы. Что буду глядеть на пустой рукав опаленного войной жениха и начну тревожиться за молодую пару - а вдруг у Светки это несерьезно? - и проклинать Афган.

Не знаю я, что через два года встречу в Ленинграде ротного - уже капитана, и он будет приглашать меня на должность старшины батальона. Я ничего пока еще не знаю, но сегодня мне не надо это знать - достаточно удовлетворения, какое испытывает школьник, решив самостоятельно непомерно трудную задачу...

# ГЛУХАЯ ЗАЩИТА

## Повесть

Она ждала этого дня долго, кажется, всю жизнь! Дождалась. Вот она - подборка стихов! Ее подборка. С фотографией и вступительным словом. Вроде бы радоваться нужно - успех ведь. Но не радость, а какая-то непонятная жгучая тоска внутри: радостью-то делиться нужно, только тогда она - настоящая радость. А Томке поделиться не с кем. И она опять смотрит в газету, перечитывает свои строчки и с досадой отмечает: здесь вот неловко и тут вот поглядить бы... И она идет, ноги несут на вокзал.

На вокзал Томка с недавних пор ходит постоянно и просиживает там часами. Ей верится, что Витя вот-вот вернется. Выйдет он из вагона и улыбнется виновато. И не надо слов - она ни о чем его не спросит, а просто молча обнимет.

«Витя, Витя, Витенька, - думает Томка, - обидела я тебя, со зла, милый, сама теперь не пойму, что со мной было... Я город теперь ненавижу! Витя, а представь, моя мамочка - педиатр. И у нее муж - на десять лет моложе, пупсик такой, кубочный король! Не едкий дым вчерашнего костра - без перехода вдруг Томка начинает шептать строки своего стихотворения, - в твоих глазах осадок лютой боли! Я не смогла проснуться до утра, и ты мне преподнес оковы воли...»

Она стояла возле фонаря, ловила губами медленно падающие снежинки, наблюдала за военными, которые выгружали из вагона в кузов автомобиля какой-то большой, наверное, очень тяжелый деревянный ящик и опять думала о Викторе - будто бы только сейчас поняла насколько он был нужен и дорог... В армии служил, письмами заваливал, а теперь, как

уехал, ни звука...

В задумчивости она не заметила, как к ней, внимательно глядя, направился военный.

- Здравствуйте, все-таки встречаете?

- Нет, я никого не жду, - почему-то смутилась Томка.

- А это, - военный расстегнул планшет и подал ей снимок, который она когда-то подарила Виктору, - разве не ваша?

- Витя! - обрадовалась Томка. - Нашелся...

## 1

Кипит работа, название которой - дембельский аккорд. Шевелись, орлы! Дембель светит!

И носятся, как угорелые, по плоскости крыши бокса дембеля: Витя Четвергов, Славка Пацук, Алешка Марков. Поливают горячим битумом крышу, размазывают и раскатывают, накрывая рубероидом, а по верху - еще раз битум.

Горячо. Ветрено. Весело. И голубеет бездонное небо - весна!

Далеко видать с крыши: вон ведет парком ротный - отец родной! - капитан Лагута. Он, наверное, молодых, прибывших недавно на замену дембелям, с техникой знакомить будет.

- Здравия желаем, товарищ капитан! - кричит перепачканный, взлохмаченный, прокопченный и черный как черт, Пацук, зубы которого так и сверкают, брызжут белизной!

- Пацук! - грозно, но шуточно вопрошает Лагута. - Что за форма одежды? Спустишься с небес, на губу упрячу вместо дембеля.

- Никак нельзя! - распахивая драную испачканную куртку еще шире, выставляя вперед бугристую, обтянутую грязной, дырявой тельняшкой, грудь, звонко кричит Пацук. - Мамка бражку уже заварила, товарищ капитан! - И вдруг, без всякого перехода, начинает выплясывать то ли барыню, то ли лезгинку. И сапоги липнут к битуму и отрываются от него с бесноватым, сумасшедшим треском!

Это было вчера, а сегодня провожает Лагута дембелей к эшелону, вышагивают они, все трое, такие серьезные и воинственные, точно на спецзадание следуют, а не к поезду



Пацана Виктор усадил рядом с собой, тут же примостился и Пацук, загромоздив собою пространство от стола до прохода. Пока Алешка перебирал, подтягивая и ослабляя, струны, подстраивая гитару под себя, Пацук успел выпить парнишке пару доз и подарить (утром обязательно отнимет, скажет, что пошутил) свою беретку, а обнимая, называл гостя лучшим другом после Гитлера.

Коробила неловкость: парень-то ведь может и не понять пацуковских шуток, и поэтому Виктор услали Пацука еще раз в ресторан.

А Марков запел. Поющий Алешка, вид его и переливы голоса всегда тревожили Виктора, задевая душу, шевеля в ней что-то давно забытое или совсем незнакомое, но такое волнующее, желанное и ожидаемое... А сегодня Алешка пел, как никогда чувственно, даже надрывно.

- Любимая! Специально для лучшего друга и лучшего в мире старшины! - в передышке после нескольких дембельских песен, шутовски ухмыляясь - точь-в-точь Пацук, - забалаболал Марков.

Облетают листья с тополей,  
Повторилась в мире неизбежность.  
Не жалея ты листья, не жале-эээй,  
А жалея любовь мою и нежность...

Скоро Пацук и парнишка упились и уснули, сидя в обнимку, а Марков, отложив гитару, смотрел на Виктора посоловело, слезно.

- Пока мы здесь, в вагоне, все вместе, Витя, - хрипло - сорвал-таки голос, пока пел, очень уж старался - заговорил он, мы - одно целое, одна семья, одни организм, а утром Славка выйдет... Еще через сутки сойдешь и ты. Увидимся ли когда? А может все же ко мне, а? Предки у меня мировые!

- Спасибо, Леха, - накрывая задрожавшей ладонью кулак другу шепнул Виктор, - сам знаешь - мне к Томке надо. Два года не видел. Я напишу тебе, сразу напишу! И увидимся...

Колеса выстукивали заунывную песню, и баюкала она,

усыпляя. Поддывал за окном встречный ветер, и капли первого весеннего дождя катились по стеклу.

## 2

Хлесткий ветер ломится в окно, пузырит шторы, и кажется на улице не май-месяц, а конец сентября.

Томка сидит не оборачиваясь, уткнувшись в тетрадку, словно и нет в комнате Виктора, Томкина спина обтянута бордовым джемпером горбится, а то распрямляется, как бы выражая полнейшее равнодушие.

Ветер все буянит, и Виктор, почувствовав себя человеком не первого сорта, отчетливо припомнил, что впервые ему это дали понять - конечно же, не стараясь обидеть или унижить - в такую же ветреную погоду. А до той поры Виктор ни разу всерьез не задумывался о делении людей - знал: есть учителя и ученики, начальники и подчиненные, различные национальности, интеллигенты, рабочие, колхозники, но оказывается, людей можно поделить и на сорта, как чай, к примеру...

... - Четверг, - окликнул, сократив фамилию, Вася Клубков, старший ученик, - порядок требует с тебя два рэ.

- Зачем? - не понял Виктор.

- С первой полочки положено отстегивать на шнапс наставнику, понял?

Виктор не возразил, но, подумав, решил не давать двух рублей. Нет, не из жадности. Можно, конечно, и отстегнуть бы, но за что? За месяц Макарыч ни разу не показал Виктору, как правильнее и скорее затачивать и менять резцы, да и мало ли других хитростей в токарном деле!

Отказ наставника удивил и, подойдя в конце смены, но не взглянув, как ученик управляет станком, он сказал:

- После работы не убегай, проведем собрание на свежем воздухе...

Холодный ветер продувал насквозь, Виктор мерз, но терпел.

Наставник и ребята не спешили: чинно устроясь в кустах неподалеку от завода, они раскладывали прямо на землю нехитрую закуску, и Макарыч (стаканы были приготовлены,

видимо, «увели» в столовке) плеснул каждому ученику, не обнеся и Виктора, понемногу, а себе налил до рубчика.

- Ну, ребята, за ваши успехи на трудовом фронте, так сказать, - в стакан, словно с трибуны в микрофон, говорил Макарыч, - с сегодняшнего дня вы - трудяги! Нарекаю вас рабочим классом, так сказать, ну, значит, со вступлением! - И наставник резко кинул водку в рот и не поморщился.

Выпили и ребята, а Виктор замялся. Он только тогда и сообразил, куда нужны были два рубля, и сожалел, и злился на Васю Клубкова, так непонятно попросившего их. Ребята, заметив, что Виктор не пьет, накинулись с упреками, а Клубков схватил за ворот, но Макарыч остановил:

- Четвергову, я полагаю, надо простить, он же из детдома, верно, Витя? - прикурив, Макарыч подергивал верхней губой, точно она зудела, кашлянул, высморкался. - Н-но ничего, Витя, маленько погоди, и сделаем мы из тебя работягу, человека первого сорта!

Сразу-то Виктор пропустил фразу наставника мимо ушей, а вечером, вспомнив, задумался: ведь выходило, что он - Виктор - непервосортный! Обидно!

Повысить свою сортность с помощью Макарыча Виктору не удалось - призвали в армию. А служба сложилась так, что зловредную, липучую мысль о собственной неполноценности Виктор напрочь забыл: содействовали этому, может, сами того не ведая Пацук, и Марков, и прапорщик Качан, а особенно - капитан Лагута.

А сейчас мысль эта не без помощи Томки и ветра выплыла из глубины памяти, и невозможно ее отогнать...

Томка сидит молча, не оборачиваясь, только худенькие плечики нет-нет да дрогнут. Злится Виктор, но вида - до службы не удержался бы - не подает, понять старается. Но понять не так-то просто! Ждала, письма писала. И какие мысли! Не пять-шесть дежурных слов, а целые страницы мелким, уписистым почерком, почти в каждом письме - стихотворение. Ее личное - Томкино. Она в детдоме этим славилась: к праздникам в стенгазету сочиняла чего-нибудь. Может, поэтому Виктор и выделил ее. Красавицей Томку не назовешь, видал Виктор подороднее, поядренее, сказал бы Пацук, но есть в

Томкиных испуганно-распахнутых глазах, по-детски припух-  
лых губах что-то такое, чего ни у кого больше нету!

«Холодная мудрость в бестрепетном теле.  
Коварная хрупкость утрами в апреле.  
Роняют березы замерзшие слезы,  
Морозы рисуют хрустящие розы...  
Но я без тебя прошлогодней травинкой  
Склонилась на лугом, над стылой тропинкой.  
С людьми без тебя, как на льдине среди моря -  
Сломаться и мокнуть, и сохнуть от горя.»

Надписано это на Томкиной фотке, а ниже: «Тебе от  
меня!» Стихотворение это Виктор затвердил наизусть. Алешке  
Маркову показывал, просил подобрать на гитаре.

- Чудик! Это же только тебе предназначено и никому  
больше! - отказался Алешка. - Нельзя хвастать! А девка -  
ничо. Глазастая и чувственная. Повезло тебе...

Повезло! Встретила Томка вроде радостно, даже расте-  
рялась: обещался-то в июне, а нагрянул до середины мая.  
Вера - соседка Томкина по общежитской комнате, понимаю-  
ще, заговорщицки подмигнула Виктору и, как только распили  
шампанское, умчалась, предупредив, что явится завтра к вече-  
ру.

И вот подрагивают Томкины плечи, и непонятно Вик-  
тору, на что она обиделась. Заторопился с «этим»? Так со-  
скупился же за два года - козе понятно! Обижайся - если бы  
«этого» никогда не было, но ведь до службы-то весь чердак  
исползали, и ей нравилось! А может - ляпнул что? Нет, гово-  
рил вроде все умные вещи, все по делу. И заявился - как  
белый человек - с цветами, конфетами, шампанским. Больше  
у меня запрашивать рано, я же прямо с поезда. И кому, как  
не Томке, это понимать?

И хочется Виктору, развернув Томку, прижаться лицом  
к ее груди и вдыхать, и вдыхать ее запах...

- Витя, послушай, - повернувшись, Томка, как ни в чем  
не бывало, взглянула, готовясь прочесть только что написан-  
ное. У Виктора бухнуло радостное сердце, он сразу позабыл

сомнения и шепнул: «Читай».

«Земля становится теплей,  
И красота стучится в окна.  
Ты только сердца не жалея  
И не спеши душой оглохнуть.  
Ты только вызволи меня  
Из плена легкости крылатой,  
Из чаши горечи горбатой  
И негорящего огня.  
Ты только выведи меня  
Куда-нибудь: к истоку лета,  
К началу верности и света,  
К прозреньям завтрашнего дня.»

Виктор попросил прочесть еще раз, но все равно ничего не понял и, стараясь не смотреть Томке в глаза, сказал:

- Вот будешь великой поэтессой и не захочешь знать какого то Витьку Четвергова.

- Шутишь? - радостно выдохнула Томка, приняв слова Виктора как наивысшую похвалу. - К стихам ревнуешь, глупый мой!

И наступила ночь: штора пузырилась еще сильнее, и дребезжало оконное стекло, словно ветер стремился всей силой ворваться в комнату и разъединить обезумевших людей, и кто-то громко разговаривал за стеной, а коридор стучал дверьми и шагами, но в комнате полновластно хозяйничала ослепляющая и оглушающая страсть...

Когда Томка уснула, Виктор, поглаживая ее по плечу, все напрягался, ему казалось - забыл что-то, самое важное сегодня. И он, как во сне, встал и, раскрыв дипломат дембельский вытряхнул на стол письма. Томкины письма. Все до единого. Каких ухищрений стоило сохранить их, особенно на первом году службы.

- Тома, Томка! - позвал Виктор, щелкнув выключателем.

Она, не открывая глаз, потянулась на голос вспухшими от поцелуев губами и все шарила ладошкой по постели в поис-

ках его плеча. Ищущая ладонь показалась Виктору такой трогательной и настолько жалобной и незащищенной, что подхватив Томку на руки он сжал ее до хруста.

- Медведюшка, - приоткрыв один глаз и поглядывая хитро и лстиво, полусонно высвобождалась Томка. Но вот она увидела письма...

Сколько же всего может в один миг отразиться на человеческом лице! Глаза Томки излучали и удивление, и восторг, и такую - можно сказать, собачью - преданность, что Виктору стало не по себе. А Томка разрыдалась:

- Витенька, счастье ты мое, родной мой, спасибо, Витенька, - всхлипывала она.

- Тебе спасибо, - растерявшись, пробовал успокоить Томку Виктор, - ты писала, тебе и спасибо!

А после долго сидели, вдвоем перечитывая письма, а некоторые Виктор рассказывал по памяти. И опять Томка прижималась лицом к плечу, и Виктор кожей ощущал ее слезы...

Утром едва не проспали, и Томка, торопясь на работу, наказав никуда не уходить, никого не впускать, ни с кем не развлекаться, оставила ключ на столе.

Полежав, от нечего делать, с полчаса, Виктор поднялся, умылся, отмечая, что представлял себе Томкину общагу совсем другой: она рисовалась в воображении многолюдной с предлинным коридором, общими туалетом и умывалкой, и с обязательно злющей вахтершей на входе, - точным подобием той, в какой пришлось пожить самому до призыва на службу. А здесь - иначе: комнатка, конечно, не в меру тесная, метров семь от силы, но зато - вода, туалет, электроплитка - полный комплект удобств, а главное - никакой вахты! Приходи в любое время!

Около раковины Виктор усмотрел авоську с картошкой и загорелся желанием пожарить ее по-пацуковски. Славка Пацук отменно умел жарить картоху: сытый не откажешься, а голодный - и говорить не стоит - вместе с ложкой проглотить. Картошка у Славки не разваливалась, не слипалась, не пригорала, а получалась золотисто-поджаристой. Искусство

Пацука Виктор перенял: просто надо сковородку сперва раскалить, а после уже засыпать в нее хорошо промытую и подсоленную картоху и жарить небольшими дозами, не шевеля слишком часто. Вот и весь секрет. Времени потратишь чуть больше, зато - вкуснятина! И красиво смотрится. А красивое и хавать приятнее...

До прихода Томки недалеко, с картошкой спешить незачем, и Виктор, желая хоть чем-нибудь заняться, потянулся к книжной полке. Есенин, Маяковский, Ахматова, Брюсов - стихи. Стихи - это хорошо, но хотелось фантастики - волшебной, завораживающей, как прошедшая ночь! И увидев надпись на переплете: «Японские сказки», Виктор, не раздумывая, снял книгу, а едва раскрыв, подскочил: прямо на него с фотографии смотрела Томка. Сидела на коленях незнакомого - с улыбкой во всю физиономию - бородатого мужика. Щеки их соприкасались, и - мало того! - Томка обнимала этого цветущего «делавара». Взгляд Томкин, устремленный в объектив, буравил гневно, осуждающе.

Желание читать сразу пропало, Виктор захлопнул книгу, сунул ее на место, но спустя полминуты сдернул снова, точно хотел удостовериться, а не примерещилась ли фотка, ведь целых два года он верил в Томку и верил больше, чем в себя! На снимке ничего не поменялось: продолжал улыбаться бородач, и обнимала его гневная Томка. Смотреть на ее глаза Виктор не мог, он разглядывал, как что-то существенное, занесенное снегом кусты, на фоне которых позировала пара. Белый, белый снег...

Намного белее и искристее был снег в Липецке, куда привезли их выпускной десятый класс в новогодние каникулы на экскурсию. А дня за три до этого Виктор с Томкой здорово повздорили и не разговаривали... Но снег был таким пушистым и белым, а экскурсовод - нудным и скучным, что Виктор и Томка, не сговариваясь, отстали и нырнули в какие-то дворы. И радовались оба солнечному свету, а больше - миру, наступившему так внезапно без извинений. Томка шутливо толкнула Виктора в сугроб, и он валясь, потянул ее за собой, а она, уже смеясь, бросила снег ему в лицо. Но вдрут, с обратной, не видимой ими, стороны сугроба, взметнулись

два голубя и, не сумев взлететь, упали на Томку. Она, испуганно взвизгнув, отмахнулась и отпрянула на порядочное расстояние, а птицы, захлопав крыльями, опять попытались взлететь и упали рядом с Виктором. Он, еще не понимая, потянулся к ним и обнаружил прочную шелковую нить, связывающую птиц, не позволяющую ни улететь, ни покинуть друг друга. Виктор, схватив нить, поднялся из сугроба, голуби повисли головами вниз.

- Негодяй! Живодер! Подонок! - закричала прохожая тетка.

А чуть позже, в квартире этой тетки - она жила рядом - освобождали птиц. Одну выпустили сразу, а со второй пришлось повозиться: нить так сильно врезалась ей в лапку, что у Виктора дрожали от жалости руки. А когда тетка, обработав ранку йодом, выпустила голубя, Томка закричала:

- Смотрите! Смотрите! А первый не улетел! Вон - ждет!

Птицы парой взвились в высь, а Виктор смотрел и смотрел а Томку: никогда еще он не видел ее такой счастливой!

Вот так, бывает, вспоминается человеку как раз то, что нужно! Иначе говоря, память дает хитрую подсказку, и твоя беда, если ты не поймешь и поступишь неверно!

Виктор, конечно, об этом не знал, даже никогда не думал, да и прошлому не придавал слишком большого значения: было так и было, но и прошло же! И сейчас, лежа на кровати, забросив ноги на спинку, поглядывая с тоской на переплет злосчастной книги, он размышлял: «А чего я задергался? Томку разве не знаю? Она врать не станет! Скажет, если что... А снимок, сам по себе, ничего не значит: запечатлелся же Пацук 23 февраля в ритме танца с женой замполита, ну и что? И я мог запросто и ...»

... - Не кипешишь, Четвергов, - шутливо говорил прапорщик Качан. - Перекладина, она - как девка с норовом, подхода требует, ее нахрапом не возьмешь! Ее мало разок погладить, ее каждый день щупать треба да поуверенней, поспокойнее, без спешки - и она тебя признает, любить начнет!

Ребята смеялись, а Виктор гадал, что их насмешило: балясы прапорщика или его, Виктора, хоть и удачный, но

неуместный пилотаж с верхотуры.

Валяясь на кровати, вспоминая и раздумывая, Виктор понимал, что его умозаклучения довольно хрупки и зыбки, они проблему не снимают, и горечь сушила ему горло.

- Отпросилась я, - обрывая раздумья Виктора, вошла в комнату Томка, - сказал, друг из армии вернулся.

- Всего лишь друг? - поднимаясь ей навстречу, переспросил Виктор.

- Тебе не нравится «друг»? - обдавая запахом завода и табака обнималась Томка. - Ладно, в другой раз скажу: вернулся этот, как его...

- Секслопух! - уточнил Виктор.

- Ты не лопух, ты хороший, ты даже не представляешь, как я рада тебе! - заторопилась Томка. - Ты мой! Правда? Скажи, ты только мой!

- Ничей! - кивая согласительно, но говоря обратное, поддразнил он ее. - Ничей, ничей, ничей!

- Мой! - требовательно глядя в глаза, вспыхнула, повысив голос, Томка. - Говори - мой, а то - укушу!

- Ничей! - упрямылся Виктор, и Томка впилась зубами в тыльную сторону его ладони.

Боль судорогой пробежала по предплечью, дернула подмышку, кольнула шею, но Виктор, не стараясь освободиться, будто боль была необходима и доставляла наслаждение, смотрел удивленно на затрясшуюся в исступленном порыве жестокости Томку.

Она, не почувствовав сопротивления, остановилась, повела лицо кверху, и с полуоткрытого окровавленного рта ее поползла к подбородку розовая слюнка.

- Теперь моя очередь, - веско шепнул Виктор и, обхватив Томку за голову, не замечая выступившей из ранки крови, пачкая ею воротник красного Томкиного плащ-пальто, хищно клацнув зубами, потянулся к лицу. Томка пыталась освободиться, но не смогла, и Виктор, достав губами кончик ее носа, поцеловал раз, другой, третий. А затем, усадив ее на стул, грозно сдвинул брови:

- Куришь?

- Немножко, - безвинно глядя, созналась она.

- Чтоб я не видел! А то руки отломлю!

- А! - сказала дитя, но его никто не услышал... - вкладывая огромный, но понятный только ей смысл, произнесла Томка и, вдруг заметив кровоточащий укус, бросилась к тумбочке за бинтом...

К центру шли пешком, перебрасываясь ничего не значащими фразами, и Виктор, все еще под влиянием того, с фотографии, колючего Томкиного взгляда, предложил:

- Хочешь, стихотворение расскажу?

- Хочу, - доверчиво прижалась Томка, ожидая свое, стоящее похвалы.

«Глупая! Ты снова тянешь губы.  
Хоть себя немного пожалей!  
Я тебя целую, стиснув зубы,  
Сам все время думая о ней.  
Что глядишь побитой собачонкой?  
Дура ты! Но славная девчонка,  
И бросать тебя, конечно жаль...  
Не грусти, другую - тоже брошу!  
Может, не пробуду с ней и дня.  
Не одну из вас еще я брошу,  
За одну, что бросила меня.»

- Сильные, - минуту помолчав, признала Томка.

- Что сильные? - не понял Виктор.

- Стихи, - задумчиво и грустно глядя куда-то вдаль, шепнула Томка, - безыскусные, слишком простые, но искренние и поэтому - «забористые»...

Виктор рассмеялся. Ему и в голову не приходило, что и стихи - точно так же, как и людей на сорта - можно делить на сильные и бессильные, забористые и подзаборные, что ли... Он считал, кстати, Алешка Марков говорил то же самое - стихи - это всего лишь складные строчки и читать их нужно только под настроение. Другое дело - песня! Музыка...

- Чьи это стихи, автор кто? - недовольно оборвала его смех Томка.

- Не знаю, - успокаиваясь, ответил Виктор. - Славка

Пацук их постоянно декламировал, когда писем долго не получал...

- Нельзя смеяться над стихами! ... - громче и громче, неизвестно на что обидясь, начала твердить Томка. - Это отдушина! Понимаешь, отдушина! Может быть, - спасение автора от обиденной серости, которая его, нас окружает!

Виктор оглянулся, но серости не увидел - наоборот: начинала зеленеть трава, деревья кое-где, пока несмело, точно клювики спешащих на волю птенчиков, высывывали из почек листочки, увереннее и ярче светило солнышко, и пахло вязким тополиным ароматом - и, не желая спорить, промолчал.

В универмаге Томка преобразилась - грусть ее как рукой сняло. Затащив Виктора в отдел «Мужские сорочки», она, довольно поблескивая глазами, чересчур громко командовала, заставляя то нагнуться, то повернуться, и, наконец, отобрала две рубашки. Виктору было неловко, но Томка не захотела слушать его возражений и увещеваний и направилась к кассе. Краем глаза Виктор заметил - денег в Томкином кошельке кот наплакал - и начал снова уговаривать ее, чтобы не шикovala, но она рассердилась. Купили и башмаки, пошитые из коричневой джинсы под кроссовки.

А на улице Томка направилась к телефону, попросив минутку обождать.

- Женья? Привет! Успехи как? Поздравляю... Нормально. Да, Анютку прочла. Неважное, говоря открыто! Лепет детский! А я и не собираюсь ей так говорить, придет время, сама поймет. Согласна... Женья, дело есть! Витя мой из армии вернулся! Спасибо, спасибо. Джинсы импортные сможешь? Пятидесятый размер, рост четвертый, пятый, примерно... Сам ты дубина! Сто пятьдесят? Устроит. Пока! Спасибо, Женья, ты настоящий друг.

- Кто этот Женья!? - напустился, изображая ревнивца, Виктор, хотя и беспокоило его больше то, что Томка раскручивается за здорово живешь еще на полторы сотни.

- Успокойся, - поняв уловку, Томка положила ему на грудь руки, - Женья - корреспондент газеты: «Новый путь», у него полно знакомых. Он купит тебе хорошие штаны по госцене. У спекулянтов дешевле двух с половиной на найдешь, да

еще и подделку всучить могут... Денег зайдем у Верки, она - богатенькая, а в получку - отдадим. Хватит пускать пузыри, кому сказано! - и, взяв Виктора за ухо, она добавила: - Деньги - дело наживное!

Не согласиться, конечно, было трудно.

- Веруня, - всласть нахваставшись покупками после возвращения в общежитие, спросила Томка, - Вите негде упасть, примем его к нам на некоторое время?

- Что я - комендант? - обиделась Вера. - Естественно, примем! И спрашивать нечего!

Виктор угощал девчат картошкой по-падуковски. Томка ела вяло, думала о чем-то. Зато Вера уплетала за обе щеки и ахала:

- Том! А Том! Все думаю: почему везет не мне? Витя твой - сокровище! Не пьет, не курит, готовит! Тебя ждет райская жизнь! - и, как-то фамильярно, словно знала Виктора много лет, она положила руку ему на плечо. - А ну, сознавайся - что еще умеешь?

Виктор, собираясь напугать, широко раскрыл рот и резко повернул голову к ее руке, словно грозя укусить, - куснула же Томка, вдруг это модно, - он почему-то думал: Вера отдернет ладошку, но она не поняла, не убрала, и его губы коснулись ее запястья. Оторопело как-то ощутил Виктор тепло, нежную гладкость, вмиг осознав привлекательность и красоту женской кожи. Ладонь Веры значительно отличалась от Томкиной, угловатой и грубой, с коротко стриженными ногтями, больше напоминающей мальчишечью, а не девичью. Словно заклинило: он сидел, касаясь губами руки, а рука не торопилась отрываться от губ! Томка, глядя на них, но ничего не видя, будто они находились вне досягаемости ее взгляда, нашла на ощупь забинтованную кисть Виктора и не к месту, невпопад, громко сказала:

- Это тебе на долгую память! Будешь снова со мной спорить, откушу тебе все, что можно и нельзя!

Только тут Вера плавно и незаметно отняла руку и засмеялась. Засмеялась и Томка, точно очнулась и наконец вернулась оттуда, где витала, в комнату. Девчата смеялись так заразительно, что Виктор рассмеялся тоже, хотя смеяться ему

совсем не хотелось.

Спать в одной кровати с девушкой, не имея такой привычки, непросто - не спится и все тут, хоть лунать! Виктор и предположить не мог, что решится при Вере лечь с Томкой: он начал было устраиваться на полу, но девчата высмеяли его и в голос посоветовали занять коврик возле двери в коридоре - и он, не желая выглядеть идиотом, лег с Томкой, а уснуть никак не может. Во - дожил! Девчатам хоть бы хны: спит Томка, посапывает Вера, а ты - лежи и не рыпайся! А как бы повел себя Алешка Марков, окажись он в таком положении? Не представить! Да Алеха никогда бы и не оказался в подобной ситуэйшен!

Зато отчетливо представился Пацук: он обнимал обеих девчат одновременно, попеременно чмокал их щеки и, похихатывая, рассказывал язвительную байку о жизни важных персон. Баек Славка знает, наверное, с тысячу и блеснуть красноречием перед девчатами ни за что не откажется...

Спустя три дня, заключив трехгодичный трудовой договор, Виктор оформился на ЗМИ «Коммунар» стружечником.

### 3

Получив в кассе подъемные - пятьсот рублей, Виктор задрожал: таких денег не в руках держать, ни в глаза видать не доводилось. И сразу прикинул: сто двадцать вернуть Вере, пятьдесят Томке, плюс шестьдесят, даже семьдесят, отложить на куртку - останется ровно половина! Пятьдесят - на обеды, а две сотни - на поездку в Розаново! Хватит в оба пути ему и Томке...

Небо хмурилось и побрызгивало дождем, северный ветер рябил и разгонял по асфальту лужи, а Виктор - нелепый, одетый далеко не по сезону, шагал от магазина к магазину. Невезуха! Ноги сбил, промочил, а куртки подходящей не нашел: или слишком дорогие, или невзрачные. Вот и соображай: куртка, пустячок вроде, а настроение портится. Да и Томка наказала без куртки не возвращаться.

Упав духом, уже без надежды, скорее для очищения совести, Виктор заглянул в ателье. А куртка-то висела здесь и ждала! Походил вокруг нее, приценился, осмотрел, ощупал:

плащевка прочная, дымчато-серая, вроде не мнется. Подкладка, молния, кнопки, карманов аж восемь штук! Мечта! Самое то - не марко, дешево и сердито! Примерил - как влитая. Заплатил - и к выходу, не снимая. Томка будет довольна! На радостях, приметив вывеску: «Книга», зашел - Томка книжки обожает.

- Мне бы книжку... Стихов... Хороших, но не очень известных, - переминаясь стеснительно, насмелился Виктор потревожить продавщицу.

- Все что есть - перед вами, - презрительно взглянув, отвернулась продавец.

«Не уйду без книжки!» - решил Виктор и, наверное, назло заносчивой торговке, старательно слюнявя пальцы, не спеша перелистывал страницы. Сложно выбирать, если кумекаешь в стихах, разве что два белых, а третий как снег, но Виктор наткнулся на фамилию Марков, рассмеялся, радуясь, что у лучшего друга есть тезка - поэт, и купил, не заглядывая вовнутрь: Томка поэтка-стихоедка, она разберется!

Выходя из магазина, Виктор улыбнулся собственному отражению в стеклянной двери: все при всем! - и джинсы сидят как надо, и куртончик по размеру, а уж тельник в голубую полосу из-под ворота клетчатой рубашки - пестрота, лепота!

Плач ребенка доносился из оставленной без присмотра коляски. Ухватив за ручку, Виктор начал ее покачивать, но подсемила шустрая бабулька и истошно закричала:

- Ма-ма-а! Где вы - ма-ма! Чей ребенок плачет?!

Ребенок после крика заплакал еще горше, а Виктор вспомнил собственную мать: где-то она теперь? Жива ли? И что же все-таки заставило ее оставить его, Витюшу?

... В детдоме почти всегда и все знали. Как ни старались директриса, воспитатели, няня Маня скрыть тот или иной факт, рано-поздно он все равно всплывал.

Витю нашли на столике возле столярки полуторагодовалым в приличной, можно сказать, шикарнейшей одежде, с привязанным к запястью оранжевым кусочком клеенки, на котором было написано: «Витюша. 6.05.66».

Фамилия и отчество у Вити появилось спустя год - столь-

ко длился безрезультатный розыск родителей. Видимо, рожден он был нелегально и из соображений известных только маме и, может отцу, вскормлен грудью и оставлен.

Фамилию «Четвергов» выдумал столяр, Павел Прокофьич, а отчество - Павлович от него же, это ведь он, дядя Паша, нашел Витю, он и называл малыша, чаще всего, крестником, выделяя так из общей массы, что порождало лишние хлопоты: ребята ненавидели любимчиков.

Если Томку ее малолетняя мамочка просто-напросто оставила в роддоме, отказавшись от материнства и всех прав на дочку, то у Виктора существовала тайная надежда, и он, лет в шесть, выдумал историю, будто его у мамы украли, и мама умерла от горя, а то бы непременно забрала его домой. Над ним смеялись, издевались, и лишь няня Маня соглашалась:

- И верно, милок, и верно. Милицея с ног сбилась, никто не приметил, таились, знать. А коли скрытничали, и верно - украли! Только живая твоя мать, чует мое сердце, тайком, а ищет тебя. Жди...

И Витя ждал. Лет до семнадцати надеялся - найдется мама. А теперь? Она обошлась без него. Обойдется и сын: руки, ноги на месте, на хлеб с повидлом заработать можно...

«Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом», - почему-то Алешка Марков любил эту песню. «Спасибо матери с отцом! - улыбался Виктор, торопливо шагая к общежитию, помня, как перепугалась забывчивая мамочка, увидев его с бабушкой около коляски. - Спасибо матери с отцом! И пусть даст им Бог, если он есть, здоровья и веселья!»

Девчата дружно загалдели: Вера, одобряя покупку, Томка - хуля цвет куртки, полгорода, мол, в таком, сером, щеголяет, но когда Виктор протянул ей книжку, она забыла о куртке и, благодаря, чмокнула в щеку.

- Пять минут, как поужинали, - потянула к столу Вера, - садись, давай, невезунчик, пока совсем не остыло! А мы ждали тебя, ждали и устали, подумали, не придешь.

Томка уткнулась в книжку, словно ничего важнее уже не было. А Вера - напротив, подпирая остренький, с маленькой мушкой возле ямочки подбородок кулачками, довольно

наблюдала, как Виктор пожирает ее варево. И от ее радостного взгляда возрастал аппетит.

В ответ на предложение Виктора съездить в розановский детдом Томкины глаза наполнились слезами.

- Ты серьезно? Долго думал? Ты потащишь меня туда, откуда я всю жизнь мечтала вырваться? Туда - где мне все твердило: ты брошенная, ты никому не нужна, слышишь, Витя, никому! Ни-ко-му! Ни отцу, ни матери! - Томка затряслась, начала задыхаться, лицо покрылось пятнами - крупными, вишневыми, а в уголках рта показалась пена.

Перепуганная Вера выскочила за дверь. Отпаивая Томку водой, слыша стук ее зубов о стакан и видя подурневшее, пятнистое, в разводах краски, лицо, до того жалобное, Виктор чуть сам не завыл. И мысленно поклялся никогда не расставаться с ней: слабенькая, пропадет она без него, и никакие стихи не помогут!

- Уходи, Витя, пожалуйста, уйди, не хочу ничего сегодня, дай мне отдохнуть, - успокаиваясь, все повторяла Томка, и Виктор, не прекословя, забыв о клятве и деньгах, которые собирался вернуть, послушно вышел за дверь.

На улице разгулялся ветер, и не было от него спасенья даже в новой куртке, как нет спасенья от невеселых мыслей. Томка. Какой розовой и сладкой казалась подступающая гражданская жизнь там, в армии, а здесь - одни проблемы: работа - проблема, одеться - проблема, но самая главная проблема - Томка! Как себя вести? Только и думай, как бы язык вовремя прикусить. А может, плюнуть на все к чертям собачьим и, как говаривал Пацук: прощай любовь - нам море по колено, воспоминанья нас не устршат!

Армия - штука цепкая. Каждый отслуживший непременно, хоть изредка, да возвращается в нее мыслями: над чем-то смеется, о чем-то, может сожалеет или просто перебирает друзей-товарищей.

Пройдя после учебки еще раз двойной отбор и попав в разведроту капитана Лагуты, Марков, Пацук и Четвергов прямо ошалели от неслыханной усиленной подготовки: помимо обычного физо - приемы рукопашного боя, плюс основы анатомии, навыки вычерчивания топографических схем, ночные

выбросы в незнакомую местность и минимум времени на возвращение в пункт сбора, а к этому - дважды в неделю - стрельба из пистолета, автомата, метание ножей, гранат. Странная рота: штат - восемнадцать человек, офицеров - один Лагута, а прапорщик Качан - старшина, зампотех и физрук-топограф в одном лице. Рота жила обособленно от всего полка: никаких нарядов или работ, или караулов - лишь занятия, занятия, занятия.

И друзья единодушно решили, что здесь готовят головурезов: специальную зондеркоманду для выброса в Афган, и начали ждать часа отправки.

Однажды Пацук не сдержался и спросил об этом у прапорщика напрямую.

- Что сержант, орденов захотел? - в обычной, шутливой манере выразился Качан. - Не торопись богато жить, наскучит...

«Существуем для показа!» - дошло позже, слишком уж часто, в отличие от личного состава всего полка, роту подставляли под проверки.

- Неважно это, пошлют или нет! - сурово пояснил Лагута Маркову. - А важно, что вы практически готовы выбыть в любую точку, и вас не передушат, как желторотиков, в первую ночь...

Выбыть никуда не пришлось. Привыкли к проверкам и муштре и странностей уже не замечали.

На службе Виктор не задумывался, за что уважает Алешку, почему любит ершистого проныру Славку Пацука, а сейчас захотел понять, но так и не сумел, и начал мыслить, а за что ребята считали его лучшим другом, но опять не сообразил. Чертовски приятно иметь друзей, а уж если их никогда не было раньше, то тем более...

- Завтра поговорю с Томкой еще раз, по-умному, - засыпая, сказал Виктор сам себе.

#### 4

Проклиная пришедшего на работу под большим «бодуном» напарника, Виктор мотался по участку один. Выкидывал он стружку из поддонов в мульды, а мульды цеплял крюком

кран-балки и опрокидывал в кузов самосвала. Минуту отдохнуть некогда! И так до самого гудка на обед.

Прошлые два дня обедали с Томкой вместе: за пару минут до гудка она приходила к Виктору, и парой шли в столовую. Не дождавшись Томку сегодня, Виктор заволновался и помчался на участок доводки, где она работала контролером.

- Только-только ушла, - сказали ему, - отпросилась и ушла.

А тетка, которая вчера расспрашивала об армии, потому что сын служит, крикнула вслед:

- Злючая она сегодня! Как собака! Хлебнешь ты с ней сладенького...

После смены, не заходя к себе в общежитие, Виктор помчался к Томке. Нехорошее предчувствие колотилось в груди, а в предчувствия Виктор верил, хотя суеверным себя и не считал.

Открыла Вера. Забыв поздороваться, он вломился и, не обнаружив Томки, тяжелодохнул:

- Где?

- Уехала, - виновато отвела глаза Вера.

- Куда!? Куда уехала? - схватив Веру за плечи, начал, допрашивая, трясти ее Виктор. - В больницу? Говори!

- Мне больно, - шепнула она, а когда Виктор отпустил ее, отвернулась и зябко, словно замерзла, повела плечом. - Не надо бы тебе, Витя, ничего спрашивать, а мне говорить... - И после паузы добавила: - Скоро год, как по пятницам, раз, два в месяц, она уезжает, увозят на машине. Возвращается в воскресенье вечером, пропахшая вином и дымом от костра, садится за стол и ревет, и письмо тебе пишет до полуночи...

- Так, - сказал Виктор, - так! - и, не прощаясь, вышел.

Не хватало воздуха, будто вдруг распухла гортань, как было однажды в детстве, при тяжелой форме ангины.

... - Шире открывай! - прикрикнул врач, а Витя задрожал еще сильнее - пугала марлевая повязка на лице доктора, но больше - ножницы и скальпель.

Голову обхватила цепкая рука медсестры, рот раскрылся сам собой, но вскрикнуть Витя не успел - раздался хрустя-

щий треск в ушах, и пронзила до пяток боль, а из рта вылетела струя и потекла по халату доктора, буро-зеленая. В носшибанула такая вонь, что Витю стошнило, и закачалось все кругом, а врач, отдаляясь, растворился в воздухе, черно-красном и мутном, и было уже не больно, не страшно...

Брел Виктор бесцельно, не глядя куда и, наткнувшись на скамью, опустился; он до того ослаб, что даже не утирал пот, обильно выступавший на лбу, висках. Сердце то колотилось сильно и часто, то умолкало и не билось вовсе, и Виктор, зажав его ладонью, прикрыл глаза. Хотелось боли - бешеной, дикой, ни разу не испытанной до сегодня, но вместо боли навалились отупляющая вялость и пустота в голове.

- Братан, - как сквозь сон донесся удивительно знакомый, звонкий голос, - третьим будешь?

- Славка! - обрадованно вскинулся Виктор и отпрянул: его тряс за плечо обрюзгший, с неделю небритый и немывтый ханыга в замызганном клетчатом пиджаке, из-под которого торчало ничем неприкрытое, лысое, как и голова хозяина, брюхо.

- Третьим бушь? - переспросил ханыга. - Тоды гони треху!

Виктор не зная чему верить - глазам или ушам (ну не может быть у ханыги паршивого такого звонкого пацуковского голоса), раздосадовано, молча сунул ему три рубля, и брюхатый-клетчатый довольно резво для его комплекции ломанулся в кусты. И лишь тут Виктор осмотрелся: аллея, по обеим сторонам которой кустарник, а рядом на лавочке примостился серенький, невзрачный тип, единственным достоинством которого, на первый взгляд, была кожаная кепка с лакированным козырьком... И еще, быть может, железный зуб спереди, выставляемый напоказ, - серенький улыбался.

- Колотит? - участливо спросил он и, не ждя ответа, уверенно добавил: - Ниче, сшас полегшает.

- Держи кость! Меня зовут Валет, - заговорил Славкиным голосом явившийся клетчатый, протягивая руку ладонью вверх, - а это - Пыжик, кореш мой, - представил он серенького.

Разливал Пыжик виртуозно, что никак не вязалось с манерой его речи и обликом. Первый стакан - растряся бу-

тылку, резко развернув ее горлышком вертикально вниз - наполнил ровно до половины, не пролив ни капли мимо, и поднес Валету, а тот передал его Виктору.

- Только после вас, - вежливо отказался Виктор, с трудом удерживаясь от желания хватить стакан о землю. Крепко помнится данный в детстве зарок никогда не пить. Тогда он, единственный раз в жизни, выпил на спор с Генкой Чесноковым прямо из горлышка, в три приема, полбутылки водки, украденной у столяра дяди Паши. Витюша чуть не помер, а любимого почти всеми ребятами дядю Пашу уволили с работы...

Валет пил медленно, смакуя, и стакан возвращал Пыжику, сожалея. Пыжик, плеснув не прикидывая, но опять ровно полстакана, чокнулся с бутылкой и, шустро проглотив, посидел некоторое время не открывая глаз.

- Лучшего лекарства от болезни по имени жизнь нету, Славик, - протягивая Виктору водку, но называя почему-то Славиком, приговаривал Пыжик, - хвати на здоровье.

Не было ни уверенности, ни убедительности в его словах, но Виктор, назло всему и себе, выпил. Вкуса не ощутил, лишь зажгло в животе да Валет и Пыжик показались неестественно веселыми и слишком разговорчивыми.

Бутылка опустела, и Валет припомнил какого-то, замылившего «чирик» «жука», и начал звать Виктора и Пыжика к этому «жуку» за «чириком»: ведь на «чирик» можно купить, добавив всего сорок копеек два пузыря водяры! Пыжик совсем опьянел или прикинулся пьяным, а Виктор готов был идти куда угодно: лишь бы действовать! Недавняя вялость пропала, тело сделалось легким и послушным, бодрым от нахлынувшей силищи.

Валет обнял Виктора и потянул в кусты, из которых они вывалились прямо на проезжую часть. Откуда и возьмись, подкатил «воронок». Валет поднял навстречу милиционеру руки:

- Сдаюсь! Весь и сразу! Вези меня отдыхать, начальник, - послушно полез в распахнутую дверь. Милиционер поманил и Виктора, предлагая следовать за Валетом, но бывший отличник ВДВ отрицательно мотнул головой.

Страж правопорядка шагнул к нему, желая, видимо,

помочь, а из кабины выскочил второй милиционер с дубинкой.

Помня слова Лагуты: «Знай, Четвергов, без выдержки ты - «маховик», опричник, а не сержант ВДВ из разведроты...», - Виктор позволил схватить себя за руку первому милиционеру, но второму на замахах дубинкой ответил молниеносным ударом ноги в шею. И - до кучи - удар тем же коленом в область ключицы. Бросив милиционера, что покатилась в сторону фуражка, победитель предложил выходить из фургона Валету, но тот, будто и пьяным не был, испуганно замахал руками, отказываясь.

Виктор шагнул обратно в кусты, пересек аллею, снова в кусты и вышел к винно-водочному. Гулять, так гулять!

На витрине водкой и не пахло, там, хищно скалясь цветной наклейкой и ценой, красовался коньяк «Наири», к нему Виктор приобрел плитку шоколада, слышал от Алехи Маркова: умные люди коньяк без шоколада не пьют. Охота ведь умным побыть! Или хотя бы выглядеть.

Позже Виктор попытается вспомнить, как шел от магазина до общежития, что видел и чувствовал, о чем думал, но так и не припомнит, словно вышел на улицу и - на! - оказался перед дверью Томкиной комнаты.

Зачем я сюда, - Томки же все равно нету, подумалось ему.

Ну и что - если нет? Зато есть Вера! Вера! Верочка - девочка с красивыми руками, которой ты обязан вернуть сто двадцать рубликов, - словно кто в ухо шептал, - и обязательно поблагодарить, стучи!

- Чай будешь? С мятой и зверобоем, - ничуть не удивляясь его повторному визиту, предложила Вера.

- Чай без вина, пей без меня! - отвечая словами Пацука, мрачно сел к столу Виктор. - Вина хочу!

- Я тебя понимаю, - сочувствующе качнула головой она, садясь напротив, - и не осуждаю...

- Спасибо! - сдваивая в одно целое различные по сути вещи, криво улыбаясь, Виктор выложил деньги. - Пересчитай, а это, - он, привстав, сдернул с полки «Японские сказки», - ее доля, адресуешь, ага?

Он хотел оставить деньги рядом со снимком, пусть Томка

все поймет без слов, но снимка в книжке не оказалось! И почему-то Виктор вздохнул облегченно.

- Я тебя понимаю, - едва слышно произнесла Вера.

- Если понимаешь, давай стаканы! - выставя коньяк, потребовал грубовато Виктор. - Закуски не надо. Шоколад вот! Говорят, шоколаду глоток и килограмм коньяку - и ума палата, а не башка на плечах!

Стаканы она поставила, но погрузнела еще больше. А он, еожиданно для себя, распаковывая бутылку, сравнивал: да, Томка рядом с Верой и на второй сорт не тянет! Волосы Веры хоть и осветлены химикатами, но рядом с Томкиной - под мальчишку - ее грива - блеск! А нос, а брови, а подбородок, а руки-то! Вере бы да Томкины глаза, в которых огонь и непролазная тьма! И губы - жадные, нежные, родные... Жизнь бекова!

Налил Виктор по целому стакану, будто собрался после лошадиной дозы отключиться, защитив себя таким макаром от сравнений, после которых, говоря честно, погано на душе.

Вера взяла стакан нерешительно, боязливо и, алея, взглянув на Виктора, поднесла к губам, закрыла глаза.

Вера пила, пила и выпила до дна и, видимо, не поверив, что одолела столько, ахнула, и глаза ее заслезилась.

Виктор не дотянул до половины - не пошло. Злясь на себя, он попробовал повторно проглотить золотисто-коричневое пойло, но Вера, тряхнув головой, что волосы расправились как крылья, сказала:

- Не насилуй себя... - и достала из тумбочки сигареты, повернулась спиной, прикурила. Словно невидаль какую рассматривал Виктор спину скрытую в халате. Взгляд его скользнул и замер на подколенных ямочках, а Вера потянулась к форточке, подол халата пополз вверх, выше и выше, оголяя ее стройные ноги. Увидев на ее ногах розовый след - полоску от ребра стула, Виктор поразился, и его качнуло, ему захотелось коснуться этой полоски пальцами, точно касание могло - только легкое касание - изменить, выправить настоящее и будущее. В последний момент он опомнился, с трудом удержался и, тяжело встав со стула, перехватил Верину руку с сигаретой, отобрал окурочек и выкинул в форточку. Девушка резко повер-

нулась, желая выговорить за бесцеремонность, но увидела на лице парня такую боль, что растерялась... А он, увидев не Веру, а Томку, ее растерянные, зовущие глаза, наклонялся к ним ниже и ниже, словно хотел утонуть в них и раствориться...

Ушел он рано утром, крадучись, словно вор, Вера крепко спала и не слышала.

## 5

Ох и матерился Виктор, злобно оттирая следы ночных забав с тела мочалкой, да разве засосы смоешь. «Стерва! - распаял он себя. - Крыса!» Будто бы не сам, а Вера была повинна. И будто у нее на груди он пятен не оставил. Злость кипела деланная, показная, ненатуральная, - сам понимал - и становилось тошно, и душила обида на себя и за себя. Вот уже где - удавиться впору! И драился мочалкой с такой яростью, точно собрался содрать и кожу, и память, и менял температуру воды: от почти кипятка до пронизывающе ледяной...

...Тайные фантазии иногда сбываются (и начинаешь жалеть, что сбылись) или не сбываются - и опять жалко...

В девятом классе появилась новая училка немецкого языка. Девчата были без ума от ее нарядов и причесок, которые она меняла каждый день, пацаны восхищались ее фигурой. Поговаривали - училка гоняет на мотоцикле не хуже настоящего гонщика и купается зимой в речке. Видеть не видели, но слышать - слышали. И верили - очень хотели верить, - и восхищались.

В общем, учился плохо из хитрости: нравилась Томкина забота о его успеваемости. Ему-то нравилось, а Томку бесили его двойки и она тогда начинала кричать.

- Тебе бы только орать, - для вида обижался Витька, - вон, бери пример, Курляночка никогда не шумит!

- У нее и проси допзаний, а с меня хватит! - злилась еще больше при упоминании училки Томка.

Ночами после ссор Витьке снилась Курляночка, но занимался он с нею совсем не немецким языком! И Витька - утром - виновато понурясь, подходил к Томке, и она прощала ему тупость, признавала и свою неправоту, и занятия возоб-

новлялись, и одно из них свело в поцелуе их губы.

После видеть сны, где функцию Томки исполняла Курляночка, Виктору было стыдно: виноватили сны такие, считал себя обманщиком и чуть ли не предателем!

Что за смех то детское страдальчество по сравнению с тем, что произошло сегодня! Невозможно самой ледяной водой смыть следы Вериних губ, зубов, ногтей, но страшнее, что невозможно посчитать срыв минутной слабостью. Никаких самооправданий!

И лезут в голову Томкины слова на розановском вокзале:

«Служи и помни: есть на свете город, где ждут и верят!  
Служи и помни - маленькая гордость сильнее потери!  
Служи и помни: знаю, не предашь меня вовеки!  
Пуская сгорит на берегу шалаш,  
Жила бы вера в сердце человека...»

«Тьфу! И тут - ВЕРА!»

И тут словно игла в сердце воткнулась: Виктор понял, он хочет «этого» с Верой! Честно если, то больше, чем с Томкой! И злится только поэтому...

- Витек, че тут вчера было! - заговорил, вернувшемуся из душа Виктору, сосед по комнате дядька Володя. - Милиции ажно четыре машины понаехало! Как в кинe - облава! В соседнюю общагу и в нашу. Славика какого-то искали, мильтона избил, слышь-ко... К нам заходят и спрашивают, один, мол, живешь? - захлеб продолжал дядька, не позволяя ни переспросить, ни уточнить, - нет, говорю, вдвоем, паренек еще со мной, скромный, тихий, но уехал он, в деревню... А ты че не уехал-то, собирался ведь, кажись?

- Нашли!? - не ответив на вопрос, дернулся, холодея, Виктор.

- Из той общаги вывели какого-то пьяного бугая, у него еще куртка на твою похожая... Говорят - он вроде. Во, смелости у людей! - засмеялся дядька.

Настроение, и так аховое, окончательно испортилось: одно к одному! Разберутся, придут снова и найдут настоящего «Славика»... Придут и возьмут, подумалось Виктору, и в

Розанове побывать не придется!

И он, скидав в выпрошенную у дядьки здоровенную сумку значки, ремень, беретку, выбежал на улицу...

Адрес детдома - Розаново, но на самом деле расположен он километрах в десяти за городком. Живописное место на берегу речки: безымянный поселок, включающий в себя санаторно-специальный комплекс, два дома отдыха - семейный и для престарелых, детскую больницу и сам детдом.

Ночь впервые стояла по-настоящему летняя, парная, и Виктор, неся неподъемную, нагруженную яблоками для детишек сумку, забеспокоился: вдруг показалось - не хватает чего-то или что-то не так... С новой силой опалила память, вцепившись в душу, словно обезумевшая горящая кошка в руки спасителя: вот площадка для разборок, где не раз Витьке перепадало, а сразу за кустами - камень, их с Томкой камень. Свернув, Виктор подошел к нему, опустил: камень был еще теплым, хоть солнце давно село, а трава покрылась росой - тряпочные туфли промокли насквозь.

Здесь, на этом камне, последний год они с Томкой просиживали часами. Томка любила смотреть в небо на звезды или облака.

Только сейчас Виктор сообразил - что значит потеря Томки, она потеряна, в этом он не сомневался. Пришло ощущение собственной замаранности, а как очиститься и простить себя, Виктор не знал.

Он уже позабыл, что в происшедшем немалая доля и ее вины. Он глядел на речку, на бревна, плывущие по ней. Как они манили Витю, однажды он даже решился доплыть на бревнах до самого моря! А сколько же раз бывал наказан за безудержное стремление побегать по затору: загромождало всегда неподалеку от детдома, чуть ниже по течению, на повороте...

Наверное, не вовремя и не к месту ворвалась в мысли армия и другая, непохожая на эту, речка с очень высокими, крутыми берегами...

... - Старшим идет сержант Пацук! - инструктировал тройку Лагута. - Никаких пререканий! Сержант Марков, вам ясно? А вам, сержант Четвергов?..

Вообще-то в задании их тройке отводилась второстепенная роль - с точностью до получаса - неожиданно! - создать видимость сильного прорыва и отвлечь внимание, а зажечь фонари на мосту (что даст сигнал: мост условно уничтожен) будет основная группа, которую вел прапорщик Качан параллельно, по противоположному берегу реки.

Осторожно, почти бесшумно орудовали друзья в «зоне» - так назывался квадрат местности учений, контролируемый противником. К объекту подбирались быстро, очень быстро. Кусты, тьма и духота. Парун - окрестил гонку Славка. Виктор бежал первым, Пацук замыкающим. Перепотев, Виктор рванул ворот масккостюма и оцепенел... Часы! Подарок дяди Паши! На самодельном, но четком - из нержавеющей стали и цветного оргстекла браслете, в который и вмуровал крестный кусочек оранжевой клеенки, оставленный на ручке Витюши мамой.

- Веришь - не веришь, - смущенно, волнуясь, пояснил он, - а говорят - мамкины молитвы и на том свете помогают... Пусть тебе это - вместо молитвы...

На замершего неподвижно Виктора налетел Марков, а следом и Пацук.

- Т-сс! - скомандовал Славка, подумав, что впереди идущий узрел нечто важное.

- Часы! - трясаясь, шепнул Виктор. - Часы потерял!

- Ноль сорок... - Пацук не договорил, осекся от толчка Маркова, знавшего, как дороги Виктору дешевенькие, старые часы.

- Минут сорок-пятьдесят у нас в загашнике, - повернув назад, прикинул Славка, - плюс полчаса контрольных... Точи глаза, братва, найдем!

Нет, часы не нашли...

- Может, - Пацук смотрел то Маркова, то на Четвергова как-то виновато, - попозже... Попросим Лагуту...

- И он поднимет всю роту по тревоге, захватим «вертушку» и полетим за триста верст искать Витюхины часы! - гневно съязвил Алешка. - Молчи, гнут!

- Хватит вам! - остановил Маркова Виктор. - Пошли, и так уже опаздываем.

«Шумнуть» не получилось - опоздали всего-то на чуть-чуть.

«Черт! Черт! - расстроился Виктор, услышав, как на том берегу воюет Качан. - Все пропало, всех подвел...»

- Да брось ты! - прижал его к земле Славка. - Война - войной, а дружба - дружбой... Алеха, рулите оба на заслон, если его не сняли - крушите! А я... курну да искупнусь - надо же выручать прапорщика... Ха! - и пропал Пацук, будто и не лежал рядом, не шептал...

Фонари - и вовремя! - зажег сам Пацук, умудрившись угнать машину посредников - что уже нарушало все правила - и к этому в добавок он вывихнул майору руку. За что был разжалован и едва не попал под суд. Только авторитет Лагуты спас Славку. Но позже, прапорщик Качан, материвший на все лады действия тройки Пацука на разборе, сказал:

- Играешь все? А случись война - ты, Пацук, получил бы вышку.. Или - героя!

Истинную причину опоздания у ребят не спросили - потому что группа Качана случайно рассекретилась задолго до него, на входе в зону.

Одолевала вьедливая мошка, на востоке розовело небо, обильно парила речка, а встать с камня Виктор не решался - все стремился понять; а что же все-таки сегодня не так, чего еще не хватает? Томки? Да. Дядя Паша? Обещал ему писать, но так и не собрался. Да! Но еще чего-то, уже привычного, без чего жизнь как бы остановилась и стала бессмысленной... Поднимаясь, он сообразил! Ветра, ветра сегодня нет! И, кажется, его тут не будет!

И, словно совершив открытие или сбросив неподъемный груз, Виктор тихонько засмеялся.

От камня до потайного лаза в заборе - совсем рядом.

Войдя на территорию, бывший ее обитатель опустил на беседку в кустах возле детской площадки и неожиданно для себя уснул, словно территория сама по себе защищала от невзгод и горестей потому, что здесь жили люди: и крестный - столяр дядя Паша, на работу его оформили повторно через две недели, и он нисколько на Витю не сердился, продолжал называть крестником, а на семнадцать лет подарил часы; и

строгая, для вида, директриса, и няня Маня, и Курляночка, хоть она и работала здесь всего два года, и воспитка «Музя» - во, злая баба, но и она вспоминалась без ненависти, словно эти люди продолжают вечно оставаться на клочке земли внутри забора и охранять покой и сон, точно им не все равно, где ты и как...

И он спал спокойно и безмятежно, будто бы наконец достиг места, где ощутил себя в полнейшей безопасности. Пригревало солнце, но проснулся он от прикосновения рук.

- Дядя, а ты чей папа? - спросил белокурый малыш лет шести, глядя с какой-то жуткой надеждой.

- Ничей, - растерялся Виктор и погладил малыша по головке, - я здесь жил...

Десятки раз он представлял встречу с директрисой, видел, как пьет чай с няней - Маней, говорит с дядей Пашей, Музой... Видел! А сейчас понял, что не может видеть, будто вдруг вина перед Томкой разбухла и стала безмерно-огромной перед всем этим миром: за забывчивость, молчание - перед дядей Пашей, и няней - Маней, и белокурым малышом и другими из этого мира, хоть Томка и пытается ненавидеть этот мир.

И, торопливо вытащив беретку, Виктор одел ее на малыша:

- Дядя Паша еще работает? Не пришел пока? А няня - Маня? Здорова она? Позови ее на минутку...

Малыш отступил в кусты, направляясь к детской, а Виктор вытряс из сумки яблоки на скамью и, сломя голову, бросился наутек. Никогда еще он так не бегал, возьми Лагута на секундомер, объявил бы, что Четвергов побил мировой рекорд.

В город он вернулся во вторник, близко к полуночи, почти не сожалея, что не успев проявить себя на работе - прогулял, «задвинул» сразу два дня. Предстоящее объяснение мало волновало, думал Виктор о Маркове: нужно написать Алехе, обещал ведь, а то зятю и получится как с дядей Пашей.

Шел к общежитию не самым коротким путем, хотя и

ориентировался в довольно еще незнакомом городе почти безошибочно - сказывались занятия по топографии и ориентации в незнакомом, жилом массиве - Виктор шел, может быть, еще раз желая взглянуть на универмаг, где Томка покупала рубашки, на телефонную будку, откуда звонила она корреспонденту Жене насчет штанов, точно предчувствовал: надо попощаться - завтра будет поздно, ждет в общаге милиция, собирайся-ка, скажут, Виктор Четвергов!

Неподалеку от универмага ночной диско-бар «Виктория». Тягучая мелодия нахлынула, придавила, Виктору стало жарко, и он остановился, точно стараясь припомнить, где слышал ее, но не вспомнил, перебил думу отборный мат: в раскрытую дверь вылетел парень, шлепнулся, но резво вскочил и бросился обратно. А навстречу - трое. Крепыши в кожанках. Спустя секунду парень лежал, а по нему гуляли ноги. Бить живого человека по лицу ногами! Разве это хорошо, даже если он и виноват в чем-нибудь?

- Орлята! - окликнул Виктор, неторопливо подходя, подыскивая убедительную фразу. - Разве лъзя товарища так грубо?

«Орлята», наверное, только и ждали - кого бы еще отдубасить: разом, без разговоров, накинудись на Виктора, а товарищ начал уползать к торцу здания, к кустам. Туда же пятился и Виктор, кусты за спиной, невесть какой, но - тыл. Драться не хотелось, свежа еще в памяти стычка с милицией.

Один из «орлят» все пытался достать Виктора ногой, но не мог, бывший разведчик держал дистанцию, но второй, доказывая, что он - «коршун», а то и самый настоящий «стервятник», налетел и вцепился в рукав.

Виктор мотнул плечом, куртка затрещала.

Ничто другое сейчас его не разозлило бы. Рассвирепел: ноги заработали как на тренировке, вмешательство рук не понадобилось - двое легли отдыхать, а третий улепетывал, на танке не догнать.

Сняв куртку, Виктор направился к фонарю. Какое скотство! Испортить новую куртку! Не по шву, рядом лопнула, незаметно не починить. И он повернул назад, решив потребовать у «гавриков» компенсацию за ущерб, но, конечно, там

его никто не ждал. И он, плюясь и матерясь, натянул куртку и заторопился в общагу, но у перекрестка увидели сидящего битого, которого спасал.

- Привет каратистам! - язвительно поприветствовал Виктор, не пострадай куртка, он вряд ли бы позволил себе такой тон. - Ноги как, целы? А башмаки не жмут?

- Проваливай, заступник! - в тон, неласково, отозвался парень. Ответь он иначе, Виктор ушел бы, но такая наглость возмутила.

- Слушай, Геракл, - приближаясь, начал он, - придется тебе познакомить меня с твоими друзьями поближе. Куртку мне, видишь, испортили, хочу в расчет взять.

- Кто тебя просил соваться? - сплюнул парень. - Рассчитаются они, жди! Приведут еще пятерых и рассчитаются!

- Мда, - дружелюбно - парень начал нравиться небоязливостью и простотой разговора - согласился Виктор, - восемь - это уже многовато, глядишь, и штаны порвут, и придется мне по твоей милости оборванцем ходить. Ну, будь здоров, не дерись больше.

Но едва он шагнул в сторону, парень заголосил, запод-вывал.

- Ты чего? - вернулся Виктор. - Брось переживать-то. Далеко живешь? Пойдем, провожу...

На звонок открыл крепкий, нестарый еще мужчина, но полностью седой, отчего лицо его выглядело до неприличия благородно.

Виктор, отпустив парня, хотел повернуться и уйти, но седовласый втянул его в прихожую и захлопнул дверь.

- Игорь, что случилось?

- Милицию вызывай! - фыркая под краном, отозвался парень. - Этот друг напал на меня, избил...

Дядька вопросительно смотрел.

- Иду - сидит, - пояснил Виктор, спрашиваю: помочь? Говорит - помоги. Вот и все.

- А куртку вы порвали, когда помогали? - подозрительно прищурился дядька.

- Он так спешил помочь, что зацепился за руки еще одного, который уже помогал! - опять фыркнул под краном

Игорь.

Дядька потянулся к телефону, а Виктор подумал, что влип.

- Юморист он у вас, - кивая на Игоря, говорил Петру Андреевичу Виктор, а Игорь, подмигивая подбитым глазом, хохотал, будто не он только что ревел на улице.

- Хорошо, мать в дежурстве, - оправдывался отец незадачливого драчуна, разливая чай, - а то бы слез до утра...

Петр Андреевич их тех людей, о которых можно сказать: влезут без мыла в любую щелку. Разговаривать с ним - удовольствие. Игорь послушал, зевая, а потом ушел в комнату.

- Дедовщина? - переспрашивая, не соглашался Виктор:  
- Не знаю. Может и есть где-то, раз и в газетах пишут, но у нас не было. Было, конечно, деление: шнурки, фазаны, черпаки, старики, но неуставняка не было... В армии хорошо! Поднимут, оденут, накормят - неважно: отличник ты или разгильдяй. А здесь, куда ни сунься, забота на заботе: на работу не проспять, одеться, а шиканешь - голодом сиди! Нет, в армии четко, еще бы раз с удовольствием послужил... Но - как сказал один очень хороший человек - дембель, как смерть или рождение, бывает в жизни только раз!

- Куртку оставь, - на прощанье приказным голосом попросил Петр Андреевич. - Мать у нас рукодельница, починит, а пока возьми эту, - и протянул кожаную.

- Да вы что!? - попятился Виктор.

- Бери, говорю! - сердито прикрикнул Петр Андреевич.  
- А через пару дней забегай...

Вернувшись наконец-то в общежитие и начеркав спящему соседу, чтоб разбудил утром, Виктор улегся, а на уме - армия! Растревожил Петр Андреевич...

... Алешка Марков ненавидел неуставняк или дедовщину, он неоднократно цапался с Пацуком, когда тот пытался отстаивать исконные привилегии стариков. Виктору все труднее становилось их мирить. А в необъяснимой ненависти Алешка заходил слишком далеко.

У прапорщика Качана не ладилось дома, и он зачастил по ночам в роту. Просидит в канцелярии часа два-три после

отбоя, а потом заходит в расположение - спальню, говоря по-граждански, - и поднимает первого попавшего, например, так:

- Пацук! Па-а-адем! Кто написал Гамлета?

Пацук хлопает спросонок глазами, а Качан поднимает следующего. Попробуй, сообрази, что ему нужно. Подняв человек пять, ответа не добившись, объявляет отбой и уходит.

Продолжалось это подряд пару недель, но однажды Качан поднял Маркова. Виктор спал рядом с Алешкой и видел и слышал, как он ответил:

- Гамлета написал Шекспир, товарищ прапорщик, а кто написал «Айвенго»? Скотт, товарищ прапорщик, написал...

Сколько издевки было в голосе у Алешки, когда он крикнул, едва Качан вышел:

- Да здравствуют деды!

Прапорщик перестал приходить в роту по ночам, но Лагута в удобный момент обозвал Алешку жестоким...

## 6

- Ну что, Виктор Павлович, делать будем? - спросил начальник участка. - Вроде не с перепоя и даже не с похмелья... В чем хоть дело?

- Ни в чем, - пожал Виктор плечами, - просто на родину ездил.

- Предупредить не мог? Неправильно, Виктор, но на первый раз, так и быть, - начальник протянул лист, - прощаю. Пиши заявление на отгулы с последующей отработкой...

«Легко отделался», - вяло подумал Виктор. Но настроение не улучшилось, нервничал до самого обеда, ждал - придет Томка звать в столовую, - а видеть ее не в состоянии.

Она не пришла, и Виктор, подумав, что Вера ее просветила, решил: а может, и к лучшему.

В общагу не хотелось, и после смены Виктор проехал в центр. Бесцельно бродил, убивая время, а в голову лезли Томкины строчки. Вот ведь зараза какая: зададут в школе, бывало, выучить наизусть - зубришь, зубришь, а отвечая, путаешься, здесь же - лучше забыть, а въелось:

«... и поднимаюсь, перевоплощаясь,

Судьбу - за горло, если жить - так жить!

И близко цель, почти соприкасаюсь,  
Но времени нельзя остановить...»

«Какая к черту цель! - все больше мрачнел Виктор. - Три года проторчать в дурацком городе, откидывая стружку? Это - цель?»

- Виктоша! Четверг! Ты ли это? - выскользнув из-за руля черной «лады», бесцеремонно взвыл крепыш, цветной, как волнистый попугайчик, в ярком спортивном костюме.

- Шурик! Зимин! Бесяра! - обрадовался знакомому Виктор, как родному, хотя, по правде, за те полтора года, пока Зимин находился в Розанове, они больше дрались, чем дружили. Зимин, пользуясь тем, что старше и сильнее, стремился в верховоды, а Четвергов - единственный из группы - не хотел подчиняться. Шурка вечно хвастал, что отец его - известный на всю страну рецидивист, а мать - воровка, и страшно гордился этим. Позже Шурку забрал дальний родственник. Поговаривали, что скоро после этого Шурик сел в тюрьму, но насколько это правда - никто не знал.

И вот, Зимин нарисовался в этом городе, и Виктор обнимает его, как брата. Через пару минут сидели в ресторане. Удивляли замашки Зимина, который еще в машине попросил - заискивающе - не называть его Шуриком, на что Виктор, в стиле пресловутого Пацука, легко согласился и переименовал Шурика в Александрэра.

- Что будем пить? Я тоже не пью! - ликовал «Александрэра». - Но заради встречи... Не ломайся, Виктор, - смецая ударение на «о», - радовался он, - плачу! Хотя и ты - при коже и джинсе!

Официант принес бутылку шампанского и две тарелки жратвы, которую Александрэра назвал нерусским словом, и Виктор опять удивился - слишком высокомерно держался Зимин, а официант деланно любезил.

- В Питере я обитаю, а здесь дела-делишки, вроде командировки, Витя, а ты? - разливая, расспрашивал Александрэра. - Работаешь? Стружечником? Кого стругаешь? После ВДВ уборщиком? Серьезно? Ну ты дал! Честно слово - не верю! Ну, давай, с прибытием, а сказки девочкам оставь. Давай, за наши доблестные воорислы - век им стоять!

После такого тоста отказываться неловко, и Виктор отпил немного - шампанское, не водка.

Глоток из бокала подействовал отрезвляюще, Зимин вдруг показался подозрительным и нечистым на руку типом, и Виктор подтвердил еще раз, что работает на заводе стружечником, то есть - уборщиком, а куртка кожаная, ее просто поносить дали, потому что одеть нечего.

- Витя, если не глупый, слушай сюда, - перестал радоваться Зимин, - я запросто вытащу тебя с твоего ЗМИ, есть работенка и поинтереснее, поденежней - кусок в месяц чистыми...

- Ты случайно не в отделе кадров служишь? - невозмутимо поинтересовался Виктор.

- Вроде того, Витя, но это другой разговор, - понизил голос Александэр, - башковитые, решительные ребята нынче на вес золота. Но сейчас не будем об этом. Вот тебе телефон, утром я там постоянно. Понадоблюсь, найдешь...

Трапезу закончили в полнейшей тишине, и, выйдя на улицу, Виктор пожал Зимину руку, заспешив для вида по неотложному делу.

По пути в общагу он решил заглянуть в продмаг, купить булку и кефир на вечер, как вдруг окаменел: возле магазина стоял тот самый «воронок» - номера, царапина на обшивке, старая, со сношенным налысо протектором, покрывка левого заднего колеса... Навстречу, мирно переговариваясь, вышли двое: первый - тот, что замахивался дубинкой, а второй - рослый сержант, незнакомец. Они прошли рядом, не обратив на Виктора внимания, сели и уехали, а он стоял еще минуты три, холодея. А потом заторопился в общежитие, забыв о хлебе и кефире.

До полуночи клял город, в котором торчать три года в вечном страхе, клял и Томку - из-за нее же здесь приземлился, спарашютировал, называется! И вспоминал Алешку, его уговоры уехать в Мурманск.

## 7

С утра Виктор опять мотался по участку с вилами, а думал о Томке: лишь бы не пришла. Она не пришла, а ему

позарез захотелось ее увидеть, и он тайком подобрался к комнате контролеров и, высмотрел. Томка обычная, может, более серьезная или задумчивая, чем всегда, замеряла какие-то детали... Так же незаметно ушел к себе и вроде бы - успокоился.

После гудка сразу поехал к Комаровым за своей курткой, хотя погодка «шептала» - было тепло. Но он желал поскорее избавиться от чужой кожанки, (а мало ли - сопрут! Объясняй потом!). Не хотелось, чтобы о детдомовских всякую дрянь говорили, и так вранья хватает.

Открыл Петр Андреевич.

- Здравствуй, Виктор! Раздевайся, проходи, кофейку попьем.

- Игорь в области, за документами его отправил, - неторопливо прихлебывая из миниатюрной чашечки, грустно, вполголоса рассказывал Петр Андреевич, - из техникума отчислили, как и из института в прошлом году. Это, Виктор, у меня вторая семья. Потеряв первую, десять лет один жил. Но жизнь есть жизнь. Встретил Алену. И ради нее и Игорька пришлось... Мы в Прибалтике жили, а вот переехали сюда, даже, как видишь, не в областной центр. Разница в возрасте у нас с Аленой солидная, почти двадцать лет, но рядом с ней, я как бы вторую молодость обрел. Игорька - усыновил, все шло отменно, в школе он учился без троек, послушным, добрым рос. Он считал меня родным отцом, а истины здесь никто не знал, так мы с Аленой думали, и верили, что никто не узнает, но ошиблись. Нашелся кто-то, надоумил Игоря, рассказал ему, и с той поры его не узнать: меня называет папан, папон, папах, а то и вообще - никак. И ничего не поделаешь, будь он мой, было бы проще, а так... Я и виноват, сам баловал! Да ты ведь заметил его юмор, эти выпады год-полтора как начались, а раньше он был вполне нормальным, без придури.

Виктор потягивал кофе из чашечки мелкими глоточками, подражая хозяину, и поддакивал. Он пробовал ставить себя на место Игоря, но не мог представить ни того, как бы вел себя, ни того, что ощущал бы - семейные передраги настолько непонятны, головой можно заболеть, лишь начни думать.

- Виктор, - неожиданно круто сменил тему Петр Андреевич, - а на выходные у тебя какие планы? Мне бы помощника на дачу. Мелочное дело, но одному несподручно.

- Нет никаких планов, Петр Андреевич, помогу вам с удовольствием...

- Вот и ладненько, вот и спасибо... Приходи завтра вечером к нам, переночуешь, а в субботу, с утра пораньше, выедем...

Куртку мать Игоря починила классно, не прикопаешься ни с какого боку.

Побывав однажды в квартире Лагуты, Виктор считал - капитан живет богато, но теперь понял, как ошибался. Не проходя у Комаровых дальше кухни, увидел, а ночуя - рассмотрел: блестящая лакированная мебель, зеркала, ковры, фарфор, хрусталь, книг - целая стена, цветы комнатные - каких и вида не доводилось - ухоженные, в причудливых горшочках. Но более всего поразился, увидев шахматы. Их было около десяти комплектов и не обычных, каких полно в магазинах и какими в армии приходилось играть, - логически мыслить над доской старательно обучал Четвергова Марков и, надо сказать, ученик превзошел учителя... Здесь были заковыристые, резные, фантастические...

Петр Андреевич, заметил круглые глаза Виктора, пояснил:

- Это я сам резал, смысл жизни искал таким манером, пока один жил. Здесь первые остались, неудачные, а поздние все раздарил друзьям и знакомым любителям, почти всех обеспечил. Как, на твой взгляд, не хуже заводских?

- Намного лучше! - восхищенно воскликнул Виктор.

- В этом-то и беда нашего государства, - с горечью заключил Петр Андреевич, - любой кустарь-самоучка, не имея под рукой толковых инструментов, если, конечно, захочет, может выдать продукцию многократно превосходящую по качеству заводскую. А пока так будет... - и, не закончив мысль, пожалел спокойной ночи и ушел.

- Виктор, - обратился он, вернувшись через пару минут, - желаешь телевизор - включай сам, книжки, журналы, - но, заметив, что Виктор все еще рассматривает шахматы, предло-

жил, - а может, партию - на сон грядущий?

Играл Виктор молча, вдумчиво, неторопливо, а Петр Андреевич много говорил, комментировал и, будто бы, совсем не думал.

- Плохо начал - плохо кончишь! Играешь белыми, нападай, а не выстраивай позицию глухой защиты...

Виктор считал себя хорошим игроком, ведь сам Марков последнее время проигрывал все партии, но тут понял - играет Петр Андреевич, а он, Виктор, просто пыжится!

Проиграв подряд три партии, Виктор положил короля...

На дачу Петр Андреевич вез на своем личном, бежевом, обычном «москвичонке», а Виктор, сидя в салоне, думал: сколько же нужно зарабатывать, чтобы, пусть, к пятидесяти годам обладать подобным? Точняком больше, чем стружечник на ЗМИ.

Еще он вспоминал жену Петра Андреевича - Елену Игнатьевну. Молодая, красивая - не поверил бы, что Игорь ее сын. Она за вечер не произнесла ни слова: молча побыла за столом, так же молча ушла в комнату и больше не выходила, будто ее и не было в доме - странная какая-то. Немая, может?

- Вот, Виктор, - распахнув багажник, словно оправдываясь, говорил Петр Андреевич, - надо спустить в колодец насос, а после полива достать. Замуровать бы его там на веки-вечные, да ведь стащат! А на веревке никак, скобы не позволяют, вот и приходится туда-сюда. Игорь этим занимается, сам-то я староват.

До воды метров пятнадцать-шестнадцать. Спустившись, установив насос, как велел Петр Андреевич, прежде чем выбраться, Виктор посмотрел вверх. Там далеко-высоко голубел дымчатой поволокой зрачок неба: точь-в-точь Верин глаз! И здесь, в глубине колодца, Виктора одолело такое желание спрятаться от подсматривающего ока, что он рванулся единственно возможным путем - навстречу - и вылетел из ствола сруба с бешеной скоростью, перепугав Петра Андреевича.

Пару часов спустя прикатил на мотоцикле Игорь. Шлепнув Виктора по ладони как хорошего друга, нисколько не стесняясь, заорал:

- Папон! Есть повод прибалдеть! На! Гляди! - и протянул бумажку.

- Что это? - сморщился Петр Андреевич. - Медкомиссия? В армию?

- Делай, что хочешь, а я туда не ходок! Животом с перловки изойду!

- А давай, вместо меня на стружку, бери больше, кидай дальше, пока летит - отдыхай! - рассмеявшись, предложил Виктор. - А я - на перловку!

Ближе к вечеру перебрались на речку. Виктор с Игорем ловили на удочки рыбешку, Петр Андреевич хлопотал у костра. Виктор, продолжая - вот где влияние Алешки Маркова - откровенно издеваться над Игорем, предлагал поменяться:

- Брось! Видел я эти комиссии! Народу - тьма! Не рассматривают фотографий, некогда! Подай снимок папы Карло, и его, не глядя, пришпандорят!

Разглагольствуя и насмехаясь, Виктор не замечал, как внимательно поглядывает на него Петр Андреевич.

## 8

«Привет, дружище! Наверное, еще гудишь, как трансформатор, а я уже работаю - жизнь такая. Город не нравится, серый, сходить некуда. В краеведческом музее, он неделю как открылся, самое интересное - чучело медведя и рога. Помнишь, мы с тобой были во Владимире? Наблюдали с вокзала ночью купола. Они будто покачивались и сверкали, повиснув над холмами, не касаясь земли. Ты еще шепнул: «Красотища! Здесь ничего похожего, и я, кажется, жалею, что не поехал к тебе хоть на недельку. Но, в общем, все путем. Одно хреново - придется работать здесь три года, договор я заключил, чтобы получить полтыщи подъемных. Не в военном же ходить гражданскому человеку. Пожалуй, и все на первый раз. Будь здоров! Кланяйся, как сказал бы Славка, родне. Кстати, пишет ли он? Покеда, не забывай. Твой В. Четвергов.»

Ни слова о Томке! Да и тон нервный - не характерный для Витьки. Алешка хорошо помнил его длинные, раздумчивые письма Томке, где Виктор многословил и повторялся, но был самым собой, а здесь - чужой, незнакомый. И Алешка

понял: Виктору нужна помощь! Он не тот человек, не попросит ее прямо, как Пацук.

И Алексей начал звонить отцу на работу.

- Так в чем дело, калина красная? Разведчик ты или нет? - смеялся в трубку отец, ему, похоже, нравилась горячность сына, и он подзадоривал: - Собирайся и поезжай к нему, все лучше, чем бухать. Если что - вези его сюда, работы хватит в порту. Возьми деньги, вернете подъемные, и договор аннулируют, месяца не отработал, можно. Мать предупредить не забудь. Ну, дерзай! Друг есть друг...

Крутом одно: взял расчет, выписался, уехал, а куда - никто не знает. И Алексей не постеснялся, зашел к Томке.

Она разрыдалась, когда поняла, что от нее хотят, а успокоившись, выставила соседку из комнаты.

- Эта... наплела ему, что я вела себя, его дожидаясь, как последняя шлюха! А Витя - гордый! Промолчал, уехал! А я - то ничего не знаю. Первая подойти к нему не могу, он же обидел меня подозрением. Разве не мог он спросить открыто, прямо? Никак не ожидала, что он, как ребенок, сбежит. Мучается он, знаю я. Но он объявится, он отходчивый...

- Непокойно мне. Может в розыск подать? - предложил Алешка.

- Не поможет розыск, он ведь от себя прячется, а это, если и проходит, то само...

Оставив - на всякий случай - свой адрес, Алешка уехал, поняв, Томка знает другого Виктора, взбалмошного и глуповатого, но ничуть не удивился, не обиделся - разные люди, разные взгляды. Удивился другому - Томку, со слов Витьки, представлял точно такой, какую увидел.

## 9

Прослужив полгода в качестве Игоря Комарова, Виктор повзрослел лет на десять. Противно притворяться: к новому имени так и не привык, окликнут на проверке: «Комаров!», а Виктор молчит, будто не слышит, пока локтем кто-нибудь не подтолкнет. Какой дикой кажется теперь собственная радость: «Ага, Алеха! Хоть раз, но оказался ты не прав! Дембель бывает дважды!» - над чем смеялся тогда, сегодня Вик-

тору не понять.

В седьмом классе он просидел два года, не потому, что был туп, а схитрил - Томку ждал, чтобы в одном классе с нею быть. О, как хреново, как неинтересно решать второй раз знакомые примеры и задачки, переписывать те же упражнения - не Томка, так наверняка бы свихнулся...

Служить второй раз еще хуже. Прав был Славка Пацук, несправедливо посаженный на гауптвахту, где его продержали больше месяца, по возвращении изрекая: «Армия - это государство в государстве, а каждая часть - удельное княжество!»

...Битых полчаса объяснял новичку обязанности молодого после отбоя рядовой Сарбасов:

- Сержант Нестеренко ватнички патшит, рядовой Улыбин - патшит, ефрейтор Гульков - патшит, мне - падшит. Четыре хебе, понял, да? Четыре сапаги чистить... Эй, каму спим!?

Выслушав Сарбасова внимательно, новичок повернулся на другой бок, не подумав мчаться исполнять задачу.

- Ты в Париже был? - спросил он, когда «дедушка» схватил его за плечо. - Не был ты в Париже, вижу. Не жалею, я тоже не был. Давай поспим, вдруг приснится?

Через полчаса «борзого» пригласили в техкласс на разборку.

- Париж, говоришь? - расхаживая рядом, спросил ефрейтор Гульков, самый мощный из упомянутой четверки, которая в полном составе находилась тут же.

- Ну-у, - наивно подтвердил молодой, видно, не догадываясь, что его ждет. - А еще Марсель или Лондон.

- А хочешь? - и ефрейтор поднес к носу новичка кулак, напоминающий кувалду.

- Не хочу, - не уклоняясь, шепнул Виктор, - за тебя боюсь.

- Нас четверо, - подал голос Улыбин. - Что, здоровья много?

- Хоть миллион, и все с оружием, - мрачно ответил молодой, и в голосе прозвучала такая решимость, а глаза так сверкнули, что после минутной паузы, сержант Нестеренко,

мотнув ногой, словно сглатывая комок, приказал:

- Иди, спи...

От новичка отступились. Не трогали его и деды с соседних подразделений, может быть, чувствовали - его легче убить, чем припахать.

Чем больше друзей, тем легче и веселее служить. Но какие могут быть друзья у человека по кличке «Чумной»? Весь призыв «летает», а Игорь Комаров спит наравне с дедками, хлеб, масло, сахар берет, не опасаясь, что получит по рукам, без разрешения «стариков» и зачастую раньше самих «стариков»!

Игорь-Виктор и не набивался никому в друзья, он просто «тянул ляжку». Невелика сложность - через день на ремень.

Вот где дедовщина, думал Виктор, о которой Петр Андреевич расспрашивал, а я-то, дурень, нету, мол... Эх, Алеха Марков, тебя бы сюда, во дров было бы! Представляю... Ты бы осудил меня и назвал предателем за бездействие, но я дал слово!

...- Помни, Виктор, - говорил на прощание Петр Андреевич, - я не велика птица, но кое-что могу. И геройство твое мне не нужно! Тихо, незаметно, оттопай и возвращайся! Печати в трудовой поставлю, средний заработок ежемесячно в сберкассу, комнату, а возможно, и квартиру однокомнатную, отдельную, добуду, с мебелью на первых порах помогу. Главное - возвращайся! И помни, еще раз повторяю, тебя здесь ждут!..

К ноябрьским праздникам Петр Андреевич прислал посылку. Виктор готовился в караул, когда сержант Нестеренко подал ему извещение. Перед караулом не полагается ни писем, ни посылок - отстоишь, пожалуйста, получиай, но для Комарова закон не писан.

Никогда еще Виктор не получал посылок! Глазам было горячо, и подрагивали ноги, пока нес пакет из штаба до расположения. Упаковку рвал - руки тряслись. Что там?

Электробритва, печенье, конфеты, одеколон, крем после бритья, несколько газет «Новый путь».

Богатство, рассыпанное по кровати, лежало, дразнилось. У любого другого из призыва посылку вскрыл бы «старик», а адресату от нее достался бы пшик. Ребята отводили от кровати глаза, а Виктор сидел не дыша, словно прислушиваясь - внутри льдинка таяла.

- Угощайтесь, ребята, - шепнули губы, - все угощайтесь...

Кто-то нерешительно взял одну конфетку, а Виктор, будто проснулся и увидел себя со стороны, повторил громче:

- Берите!

Будто ветер прошумел - на скомканной кровати остались бритва, крем, пара конфет и газеты. Ребята причмокивали и нахваливали, а по лицу угостившего пробегали мурашки счастья.

«Здравствуй, сын. Поздравляем тебя с праздниками и желаем успешной службы. Чаще пиши. Комаровы.»

А газеты Виктор рассматривал и читал в карауле, перед заступлением на пост: и далекий город уже не казался серым и мрачным, он вдруг как бы стал родным...

И тут Виктора словно по голове ударили - в одной из газет на последней странице крупные буквы «Литературный клуб», а ниже - стихи. Евгений Рожков, Анна Павлова, Светлана Шапка и - Тамара Найденова! Томка!!!

«Детдомовка - маме

Однажды ночью я сойду с ума  
И выбегу на улицу поплакать,  
И понесусь в последнюю атаку,  
Как в мае отшумевшая зима.  
Вломаюсь в Ваш мир сквозь запертую дверь,  
Чертовкой и соперницей предстану,  
Ваш муж воскликнет: «Лжет она! Не верь!  
И я открою «маленькую тайну»...  
И некому меня остановить:  
Я - отзвук нравов, зло по этикету,  
Я - месть за жизнь, фальшивую монету,  
Которой никого не удивить...»

Чуть ниже - второе. Дочитать его до конца Виктор не смог: застучало в висках, перед глазами поплыло...

«Посвящение В.Ч.

Проиграно сражение - знаешь ты.  
Хоть и молчишь, но взор уже опущен,  
И не твоя рука несет цветы -  
Моя победа стала пепелищем!  
Проиграно сражение, и теперь  
Не знаешь ты - как поступиться честью,  
Боишься ты стучаться в эту дверь...»

Он шел по маршруту. Сыпал первый снежок, но Виктор не замечал его. В пустую и тяжелую голову ворвались, он уже и забыл, по какому поводу сказанные Лагутой, слова: «Организм, прекративший развитие, обречен на смерть...» Обречен на смерть!

И Виктор, не соображая что делает, снял автомат с предохранителя, прижал его к груди - прикладом вниз, ствол под подбородок - и плавно потянул спуск. Он снова и как бы наяву увидел оранжевый кусочек клеенки, выплясывающие по битуму сапоги, розовую полоску - след от ребра стула, голубей, бьющихся в сугробе, да шеи шахматные коней - они показались ему изогнутыми слишком хищно...

Короткая автоматная очередь расколола тишину.

# РАВНОВЕСИЕ

## Часть 1

### Приемыш

Далеко раскатилась бабкина слава. Сам Иван Иванович Звягин, врач городской, Серафиму знает. Прошлой зимой на волков в объезде нарвался: от лошадки косточки остались, самого тоже рвать зачали... Ладно, охотник Пахом с сыном Федоткой рядом пригодились - отбили. Лютый мороз стоял - покуда тащили доктора, рваная нога, ремешком перетянутая, занялась. Не верил, что при ноге будет, а Серафима верила... И выходила.

Село Княжово велико - тут и церковь белокаменная, и лавка богатая, но окружающему люду селение больше по бабке известно. От хвори, от сглазу, от другой какой болести у Серафимы всегда либо травка, корешок в запасе или слово верное...

Осень в этот год - затяжная мокрущница. Чует Серафима, - по затянутому мочевым бычьим пузырем подслеповатому оконцу горошины катятся - дождь. Различает бабка, как чавкают шаги у крылечка: «Доспелось с кем-то неладное» - думает и ждет - постучат. Ан нет - стихло.

Внове такое Серафиме: покружал кто-то, а не зашел. Закряхтела, слезла с лежанки, добыла свечку, пошавкала тихонько к двери. Отперла - сверток! «Вот те на! Гостинца поднесли...»

Затащила кой-как в избу, покинула на лежанку. Руки невесть от чего задрожали. Развернула и отшатнулась: «Дите! Уродец! - перекрестилась, - прости, Господи, отца с матерью...» Тут и свечка погасла.

Закумелькала бабка малыша в потемках: «Утресь огля-

жу чередом...» - и забылась беспокойным кратковременным старческим сном. Встала до свету, затопила печь, приготовила роговик с простоквашей: «Надо ребенку пици изладить...»

Глянула и снова отшатилась - одежда диковинная, в которую ребенок завернут был, напугала. То ли кафтан, то ли камзол - черный весь, а спереди, по груди тесемчатые стрелы-прозументы. «Бесовская оболочка!» - и хотела в печи спалить, да не посмела... Скомила и запрятала в сундук, на самое дно. И начала рассматривать подкидыша.

Ребенок, нисколько не боясь незнакомого лица, тянул ручки, стараясь ухватить Серафиму за нос, за седые космы...

- Ручки у тя хорошие... Спинка тоже... Личико баское, не щурь глазки, ишь, угли ровно... Цыганенок рази? - приговаривала бабка, а сама - руками - добралась до скорюченных, страшно худых, синюшных ног найденьша. Не обращая внимания на крик, разминала, разглаживала, пока малыш не обмочился прямо на ладони.

- Ишь, пострел! Не надрывайся, на пользу это... Гли-кось, кумачные стали... - и попыталась взять ребенка. - Тяжелол. Сколь тебе годиков-то? Три, поди-ко, не мене... Можя поставлю тебя, можя заходишь...

Воистину говорят - в заботах да при деле времечко незаметно катится. Пятнадцатую зиму живет в Серафиминой избушке приемыш - Проней нарекли. По первости боялась, придут родители, уведут паренька, но годы шли, никто не беспокоил, и бабка утихла - за родного внука Пронюшку подымала. Вот и теперь смотрит она на парня, который дрова в каленой печке шевелит, и думается ей, и вспоминается...

Каждый день на первом году не по одному разу разминала, выкручивала слабенькие, скукорюченные ножки. Поначалу вопил малец, потом привык. Мал был, а добро и пользу как духом слышал.

Рос помаленьку. Ползать зачал, ножками упираться, хоть и бочком, неловко, а Серафима сама не своя от радости была. Ходить учился: в полуприсед, по скамье - намнет ноги, по два дня стоять не может, но все свое. Боялась бабка в такие минуты на внука смотреть - от его больного нечеловеческого

взгляда озноб пробирал.

Поокреп Проня, в лес за травками и корешками вместе ходить стали. Не успеет Серафима показать, обмолвиться ненароком, а внук уже запомнил: какая травка, как применять, когда, в каком месте собирать. Смурной и молчаливый дома, в лесу Проня оживлялся, дивил любопытством. Такое спрашивал, бывало, - бабка не знала, что отвечать.

- Почему люди зверей боятся, бабушка?

- На то он и зверь...

- А если не забоишься?

- Не знаю, христовой...

- Христовой?

- Христовой, значит, - раб Божий...

- И я раб?

- Все мы - рабы Божьи, дитятко...

Беспокоил бабку выговор Прони - скрипучий, старческий, даже доктора Звягина оглядеть просила.

- Нормальное горло у парня, - успокоил Серафиму Иван Иванович.

В детстве шибко любил Пронюшка мыться: плещется, визжит, хохочет, всю избу уполевает, а стричься - напротив: отрастит волосье, глаз не видать, бабка за ножницы, он в рев... Это все, вроде как, приятные думы, о худом неохота бабке вспоминать, а голову, однако, заботит.

Выладилась записать Проню на свою фамиль, уговорила писаря. Привернул Звягин, похвастала бумагой. Сама грамоте не разумела - писано, а что писано, Бог ведает. Доктор почитал, посмеялся и к писарю пошел, объяснив, что вместо Кубасов - Кумбесов запись. Бумажку переписали, а Серафиме до сих пор не по себе. Думает бабка, догадки строит: как это грамотей-писарь ошибся-то.

Второе - то, что Проня не хотел одевать лаптей. Все босиком, босиком до покрова. Ноги, бывало, сыспару зайдутся, а не заставишь обуток накинуть. Ладно, Звягин, добрая душа, привез третьего году сапоги-не сапоги, башмаки-не башмаки - чеботы какие-то с голяшками. Проня увидал, одел, три ночи спал в этих стукалках. И нету им никакого сносу, как вчера куплены. А сколько лесу обошел в них Пронюшка!

Один теперь ходит, грибов, ягод столько нанесет, хоть продавай, девать некуда...

Лежит Серафима, глядит, как Проня на огонь в печке смотрит, и кажется ей, что от его взгляда дрова горят ярче и быстрее...

\* \* \*

Пахомов Федот забрел в Серафимину избенку на третий вечер после похорон старухи.

- Пронтей, ты, часом, не замерз тут?

- Проходи, дядя Федот, счас лучину запалю, - откликнулся Проня.

- Ты, паря, роздумвайся, жить-то надо... Я когда батю похоронил, мало не тронулся... Ныне, думаю, самому ладиться надо... Серафима-то, она долговекая... Парнишкам я за калганом к ей бывал, эка же морщинистая... Сама говаривала, тятку моего мальцом знала, а он уж - царствие ему небесное - десятый год в земле. Не кручинься шибко-то, все там будем... Третий день у тя труба не дымит, неладно, думаю, вот и зашел проведать...

- Ладно все, дядя Федот. Да дума одолела: зачем человек живет?

- Э, паря, как тебя коробит, - почесал за ухом Федот, - у Серафимы спросить-то надо было, она знала. Нет в Княжове человека, коему она добра не сделала. Народ к ней отовсюду ехал, сам знаешь... Про себя сказать: смолоду о богатстве, о женитьбе думал, после избу новую срубить хотел, детки пошли, - на ноги поставить желалось, а теперь вот внуки уж велики... Каждый сам решить должен, зачем он живет. Скушно одному-то, веди бабеху, все хоть испечет, приберется и поговорит когда...

- Кому я, шавкун кривоногий, сгожусь?

- Ну так, в избе сидя, много не увидишь. Иди на посиделки, привыкай... Да, пойдем-козь ко мне, поешь хоть...

Стоял Проня посреди избы, опирался на свою палочку-посох и жалел, что зашел. По крыльцу подымался, в доме шум стоял: девки пели, парни гоготали, а только дверь отворил, - все ровно онемели... Встретившись глазами с парнем,

который ближе всех находился, увидел Проня у него на лбу черное пятно. Отвернулся и круто вышел. Такой же кружок был у бабушки за день до смерти, а Проня сперва думал - сажа...

Испокон веков повелось в деревнях непонятное приписывать Богу, черту либо колдунам, ворожеям да знахарям. Проня вышел - молодежь загоношилась.

- Слышь, Васюха, чо он на тебя эдак зыркнул?

- Почто мне знать, - отвечал невольный свидетель внимания, Василий Попов, стройный высокий парень, в сбитой на затылок заячьей шапке. - Ну, ребята, глянул, - у меня глаза под лоб поехали, шапка чуть не спала, а ко спине чисто лед прислонили...

- Не к добру! - вдруг завела Фекла Рожкова, ядреная молодая вдова. - Я видала его в лесу этим летом, сказывать боялась...

- Че бояться-то? Всем известно, он по всему лесу чащинничает.

- Малину я брала по выломке, рядом с вырубкой, где Селиван на мельницу валил. Чую - шебаршит, ну, и схоронилась в кусту...

- А-аа, - понимающе перебил Феклу Попов, - Селивашку, поди-ко, и поджидала?..

Парни засмеялись.

- Не-е, гляжу, Проня просекой ковыляет. Отошел он, а я все гляжу. Вдруг перед ним медведь на дыбы...

- Полно врать! - махнул на Феклу Васюха, сын охотника, сам заядлый любитель бегать по лесу. - Медведь шуток не признает и просто так на человека не выйдет. Если его расстрожили, обозлили, то задрал бы он вас обоих...

- А дальше-то, дальше как? - спросил кто-то из девчат Феклу.

- Дальше? Заговорил Проня, я не расслышала об чем, мишка попятился с дороги... А я - унеси Бог ноги...

- Ой, девоньки, и я видала, - вмешалась Зинка Пахомова, хрупенькая девчушка лет семнадцати.

- Ну? Говори скорей...

- Началось, завелись сарафаны... - съехидничал Попов.

- Я на зорьке из нижней поскотины к дому шла, он мне и попался, головой кивнул. Я не поняла, а оглянулась, - он далече ушагал, но на голове у него не волос был, пламя горело! И не ковылял он вовсе, а выступал уверенно, как батюшка в церкву...

Возможно, эти рассказы, как и другие, позабыли бы, но назавтра на охоте снес сохатый копытом Ваське Попову половину головы. Селом как загремело: поглядел Проня на парня... И нету парня! Отец погибшего, хлебнув самогону, рвал на груди рубаху:

- Да я это бесовское отродье кобелями затравлю!

И затравил бы. Проня-то - так, видно, Богу надо - попал ему под руку. Псы же не захотели рвать Проню, как ни уськал их озверелый хозяин. Тут он и занес над Пропей пудовый кулак...

- Глико-те, кафтан какой... С золотом, как у императора...- перешептывалась толпа, наблюдая, как стоит низенький сутуловатый Проня супротив разъяренного здорового мужика, не отступая ни назад, ни в сторону. Мужик, постояв с поднятым кулаком, так и не ударил, а попятился, оробев. Толпа расступилась, и Проня, уходя, бросил:

- Прежде чем замахнулся, подумай... Рука-то, гляди, отсохнет...

Этот случай подлил масла в огонь, да под шумок писарь поведал, как «Кумбесов» на «Кумбасов» переправлял. Село ходуном заходило. К попу обращаться стали, изгнать беса требовали.

- Господь с вами, - уговаривал народ батюшка. - Я сам его крестил, у него и отец крестный есть - Федор Пахомович...

## Часть 2

# Знаток

Эх, маслена! Развеселая сельская маслена. Ледяные ребячьи горки- катушки, тройки с позвонками да лентами, пироги с блинами да шаньгами. Хмельная братщина - гуляет люд честной.

Заметив за окошком огоньки, Проня подумал - молодежь бабу соломенную жечь собиралась - Шум, улюлюканье нарастали... В окно, ломая раму, въехала толстая жердь, щелкнул снаружи запор.

Проня не испугался, а вдруг увидел как бы со стороны себя, маленького. Сидел он на пенечке, а рядом ползала на коленях бабушка, ягоды брала. А потом поднесла ему горсть сладкой земляники, и он слизывал, торопился, хватал ягоды язычком прямо с заскорузлой большой бурой бабкиной ладони...

Стало жарко. От удушливого, угарного дыма перехватило горло, заслезились глаза, и поплыли перед ним радужные шары, лопаясь, потрескивая... И, как наяву, возникла бабушка, Проня даже голос ее услышал:

- Не сиди, Пронюшка! Ступай на волю. Господь не оставит...

И Проня ударился плечом в дверь. Старенькая, ненадежная задвижка вылетела, и поджигателям, хмельным и храбрым, явилась картина - возник среди огня парень со скрещенными на груди руками, и растет ввысь и вширь, но не берет его полымя...

И кинулись в темноту люди-нелюди, вопя и натываясь, оборачиваясь и ужасаясь еще больше. Подальше! Скорее подальше от страшного места...

Деревушка Гужово мала, а баска.

Понимал толк в красоте тот, кто срубил первый домишко на берегу речки Золотавы. По крутику - черемушник - весной белым бело от цвету, равно невестушки хороят, а

далее, по взлобку, сосняк-гладкоствольник. По другому берегу речки версту чащинником пройти, и покажется Артимоново болото. Громадное - страсть! Ягод не собрать: клюква, княжница, морошка, журавлиха, черница, брусника. Грибов тоже хватает, не ленись только...

По мартовским проталинам направилась Дарья-швейка на болото - клюквы летошней набрать - морсу прихотелось. С осени-то некогда было, по соседним большим деревьям ходила-шила. Клюквы можно бы и у соседей перехватить - не откажут, да не любит Дарья в должницах числиться. Солнышко калило, и крепкий с утра наст запроваливается, но Дарьюшка довольная возвращалась - ходко корзинку набрала. Ягода крупная... И вдруг - батюшки! Артимон! Лесник, который года три как помер, навстречу...

Упала на колени: «Не губи, Артимон Лексеич, все ягоды отдам...»

Остановился встречный и, увидев перекошенное молодухино лицо, сказал: «Не Артимон я, а Прокопей Саввич Кубасов, лесником этта буду... Не нужны мне твои ягоды... Перед тем как пользоваться, поддержи их в колодезной воде, покуда совсем не отойдут, скуснее и целебнее будет...» - И пошагал болотом в сторону лесниковой избушки.

Кинулась Дарья и все оглядывалась: «И верно, не Артимон, тот-то повыше был, матерей... И наряжался чинчинарем, а этот! Вон ковыляет с палочкой, а у Артимона походка важная была...»

Страх прошел, и она все дивилась одежине незнакомца - сама швейка, повидала всякого, аж в Никольске бывала, ко экую оболочку впервой довелось высмотреть...

АртимONOва фатера была довольно крепкой и более просторной, чем прежнее жилище. Внутри Проня решил поставить все так, как было у бабушки. С перестановкой и переделкой он провозился три дня, а впереди маячила неизвестностью целая жизнь, и бесстрашный Проня испугался... Потому и пошел из избушки, увидев бегущую с болота молодую бабу. Он не думал ее пугать, просто решил показаться. Ведь бабий язык что ботало, враз разнесет...

Наивный! Он уже позабыл, что народ, к которому он

стремился и был расположен душой, запер его и предал огню...

Когда почти стемнело, и рогатая луна зависла над вер-хушками ельника, обступившего полянку, на которой стоял домик, Проня почуял хруст и вышел на крыльцо...

Парень шагал без опаски, широко, бойко - треск за версту... Ходок приблизился, Проня уловил кислый запах са-могона и вместо того, чтобы ответить на приветствие и сказать несколько добрых слов, обронил высокому и по-видимому про-ворному гостю, недовольно: «Храбрость пытаешь? Не люблю, коли зря тревожат...» И ушел обратно в избушку...

Единственный знакомый в здешней округе мужик - Кирилл Крушняков подъехал на пятый день. Остановил при-земистую серую лошадку, соскочил, поздоровался за руку:

- Провианту привез, Прокопей Саввич. - В мешке кар-тоха, сала шматок, лучку и хлебушка малость... Не обессудь, обеспамятел надысь с радостей, простого тя отправил...

- Как зубы, - поинтересовался Проня, - не болят?

- Не-э, я теперь хоть камень разгрызу, глазом не мор-гну - Спасибо, как рукой сняло... - И, собираясь уезжать, добавил - Обживайся давай, будет нужда, приходи в любое время... Дом-то всяко не забыл... Да, через Гужово тут со-всем рядом - версты четыре...

Посещение Крушнякова обрадовало и разволновало Проню. Ночью он никак не мог заснуть... Мерещилась Сера-фима, вспоминались разговоры.

- Без воли Божьей волос не упадет, Пронюшка...

- Выходит, бабушка, ты против Бога? Бог болезни на-сылает, а ты лечишь...

- Нет уж, Пронюшка, помочь больному самое Божье дело... Боженька обездоленных ко мне направляет, а я уж помогаю, чем могу...

Сменял бабку крестный - Федот Пахомов. Чесал боро-ду и доказывал:

- Вишь ли, Пронтей, обижаться на народ последнее дело... Темен он, а рано или поздно разберется... И те, кото-рые седни хают, завтра другое запоют...

То к столу садился Иван Иванович. Барабанил тихонь-

ко кончиками пальцев по столешнице, будто стараясь привлечь внимание:

- Природа дала тебе способность! Таить ее непростительно. Попросят помощи, протяни человеку руку, как Серафима...

То виделась Проке раскисшая пестрая от лошадиных катышей, узенькая сенная дорога. И разговорчивый мужик в кошовке.

- Садись, мил человек, одно по пути...

Мужик корчился, по-видимому, от зубной боли, хватаясь за сильно распухшую щеку, а то забывался, как с хорошим давним знакомым.

- Вот и зима на покатушку... Погли, ходко как тает... Вот скоро роботушки... - и доверительно сообщал - Я здесь в лесничих. Помощник у меня был, занятный старичок Артимон, да преставился - один теперь кручуся. В уезде прошу, прошу, а там говорят, мол, сам ищи кого хошь, и робьте... Порядок подавай, а то невдомек - в дедковой хибаре никто жить не станет. Из своих деревенских...

И опять умолкал, раскачивался, сжимая руками голову...

Почему Проне захотелось помочь мужику? И так сильно захотелось, что он подумал - это совсем просто. И обратился:

- Останови, есть у тебя луковица?

- Проголодался, а молчишь... - заторопился мужик, доставая хлеб, картошку, яички, - вот и луковинка... На поешь...

Проня обчистил шелуху, оторвал частичку сочного нутра, подержал на ладони, глядя в слезившиеся мужиковы глаза...

- На положь на зуб, поможет...

И помогло Пронино лекарство! Часа не прошло, исчез у мужика отек, отпустила боль...

Что за чувство распирало Проню, непонятно, но от него ему становилось теплее и казалось - пожелай, и запросто сможет поднять взглядом лошадку в воздух, а заодно и сани с седоком! И полетят родимые! А мужик тараторил, рассыпаясь в благодарностях и сговаривал Проню в лесники. А Проня

сознался, что идет и сам не зная, куда. Заговорил мужик:

- Никуда я тебя не отпущу! Поживешь у меня малеха, а там, глядишь, надумаешь остаться...

Прожил Проня в Кленовице у Кирилла Крушнякова, так звали попутчика, целую неделю. Поддался уговорам и записался в лесники. И оказался здесь, в лесу, на берегу Золотавы, рядом с деревушкой Гужово.

Слухом земля полнится, то же - назвался груздем, полезай в кузов. Изредка да забредет кто-нибудь к Проне - помоги, мол, за ради Бога, зубы беспокоят... Дальше - больше. Молва перекрестила Проню. В народе его звали: Прокопей Гужовский, а то Золотавинский лесник. Иные считали его знатком, другие колдуном, а третьи не верили басням - лесник как лесник...

Испотя заобращались со всякой всячиной: девка ли - замуж не берут, баба ли - мужик в сторону смотрит, а то и парень какой - стоит ли жениться? И ждали-то всего ничего - слово доброе, а Проня не силен был говорить складно... И вспоминал он опять бабуку, и понимал - там, в Княжове, после ее смерти, был он заранее обречен. Слишком любили бабуку, приветливая она была, никому не отказывала, а он нелюдим, молчун, да и с виду...

Только здесь Проня начал понимать одиночество. Оно тяготило. В Княжове, оставшись один, он как бы чувствовал незримое присутствие Серафимы. Невидимая, она садилась вместе с ним за стол, а ночью заботливо укрывала одеялом, поправляла подушку. Каждая вещь, которой касалась Серафима при жизни, будто твердила Проне: бабушка здесь, рядышком, вышла нанедолочко...

Одиночество не давало спать, заставляло думать, и Проня жалел, что кинулся в горячке с Княжова... «Мертвым, поди, считают и дядька Федот, и Иван Иванович». Хотелось подать весточку, да отдумывал - свыклись, однако, незачем и тревожить.

Медвежьего ногтя, сушеной жабы, змеиной кожи или спустить по ветру упрашивала Проню молодая, ярко разодетая и видно, богатая, заезжая бабенка: «Озолочу, хозяин, только сполни».

От бабушки знал Проня о темных делах - ногтем-то с наговором поцарапай дверь избяную, и сразу все в том доме перебранятся, передерутся, - век свету не будет, пока не найдется добрый человек, которому по силам снять чары - опять же наговор знать надо... Кожа змеинная, крыса-падина, жаба сушенная - накорми или хоть немножко подмешай в снесь, помрет человек от живота, никакой фельдшер не поможет... По ветру на всю семью злобу спускают - даже друзей и знакомых той семьи начнут преследовать беды да несчастья разные, вплоть до детей-уродов и преждевременных, зачастую страшных смертей...

Выгнал Проня гостью - настырная какая - уходить не хотела, пока посохом не замахнулся... Самого изнутри бесы рвали, тяжелая злоба на весь свет полилась. Выбежал из избышки и побрел в лес успокоиться... Тут-то и подвернулась невзначай на глаза стройная пушистая елочка - невесть почему кипящий злостью, негодующий Проня представил, как уменьшается в размерах, кривится ствол, краснеют, сохнут, задираются, закручиваются кверху лапаки... И потерял сознание... Очнулся, протер глаза, а елочка - посохшая, скрюченная... Страшно!

А вдругорядь - валежина гнилая вспыхнула ярким пламенем... Оба раза после того корежило по два дня, лежал в избышке, куда ползком добирался, и казалось Проне - умирает.

Третий случай доконал окончательно: падая от страстей, что ломали тело, успел Проня заметить - лисенок охромел и потерял хвост!

Не заспалось. Проня выходил ночами к околице деревни и стоял, наблюдая, как наползает от Золотавы туман, и думал, что и здесь, ничем не мог пособить... И понимал горько Проня, что беда его в том злом и непонятном, которое уродует его душу, а заодно и отпугивает людей... За пять лет только Кирилл заходил запросто без боязни и всегда радовался, если Проня проводывал его... И однажды ночью, когда Проня случайно забрел ка кладбище, когда до колотья в сердце захотел побывать на могилке бабушки и когда вспомнил, что исполняя просьбы, оживал, веселел, здоровел - даже ноги

шагали легко, не косолапя, в пляс просились - он прозрел! Отринуть! Отринуть - бабушка травками лечила, так и я буду, сам привыкну, глядь, и народ подобреет...

Медвяно-полынный запах трав и впрямь успокоил Проню и настроил на какую-то иную, полную неясных надежд жизнь.

Теперь, если требовалось чудо, он совал в руки больному травку и бормотал: «Вот, даст Бог, поможет...» А сам нет-нет да и смахивал слезу, видя страдание...

Странное дело - Проня перестал испытывать те редкие приливы радости, какие бывали раньше, но и не кидало в ярость, не толкало выплеснуть гнев...

А из-за реки доносил ветер переливы тальянки и разноголосые девичьи песни. И опять смекал Проня, что живет он не так, и что не хватает в жизни пусть необязательного, без чего жить можно, но только с невыносимым чувством непонятной скорби. Будто похоронил самого необходимого человека, и никак не можешь поверить, что его уже нет и никогда не будет...

Заалели листочки осинки, пожелтели березки. Проня тосковал все сильнее. Вечерами он бродил по лесу, словно лес мог подсказать, научить... Он истоптал, исходил каждую тропинку, даже крошечная темнота не смущала. Проня нашел бы кратчайшую дорогу и с закрытыми глазами... Думал он о завтрашнем дне и о том, что сегодня не сделал человеку легче, потому, что это не нужно человеку, да и ему, Проне Кубасову, ни к чему... И вдруг он услышал тихий испуганный плач.

Маленький парнишка сидел под елкой, цепляясь за лукошко с грибами и ныл тоненько, протяжко... Проня опустил на плечо ему руку, слова пришли сами:

- Как же ты? Такой большой...

- За-за-за...- икал мальчонка.

- Вставай! - Проня надел на ребенка свою бессменную куртку и, указав небо, успокоил. - Видишь небушко? Вона твоя звездочка, ишь, как горит! А куда горит, не горюй...

На опушке Проня остановился:

- Ну, пострел, уйдешь теперь-то?

Парнишка хлюпнул носом, и Проня повел его дальше,

и, ощущая теплую ладошку мальчика, забылся... Ему казалось, это его маленького ведет к людям бабушка, а там впереди ждут и Федот Пахомов, и Иван Иванович, и Кирилл Крушняков...

На околице мальчик снял Пронину куртку, и не поблагодарив, задал стрекача, а Проня засмеялся его прыти и повернул к лесу. И вдруг ему показалось, что в небе разгорается тусклая мерцающая звезда, потушить которую по силам лишь Богу.

## Часть 3

### Один

...Дарья-швейка, еще не старая, круглолицая, стройная баба, решила еще раз пойти на болото. Давно не брала ягод. Раньше-то, почитай, каждую осень запирала домишко и отправлялась на всю зиму странствовать от деревни к деревне, от села до села. Удобно - ни дров готовить, ни о хлебе заботиться, в каком доме шила, латала, там и сыта, и в тепле была. А об эту зиму в Гужове осталась... Началось с того, что попался ей лесник на болоте. Было обеспамятала Дарья, за Артимона-покойника приняла, а потом все думала, тревожилась, стояла как въявь сутулая фигура Прокопея. Он и сей раз вышел внезапно, глянул сбоку на ведерную корзину морошки.

- Здравствуй, Дарья, - поздоровкался лесник, - ишь, сколь нахватала, - и протянул руку, - давай, подмогну...

От растерянности опустила Даша корзину. А пошла рядом и гадать стала: допрежь издаля, как видела отшельника, страх кобелем ярим за ноги хватал, а тут нисколько и не боязно... И почти радостная от бесстрашия и подмоги, уже не скрываясь разглядывала устало шагающего рядом человека. «А ведь не старей он вблизи-то, и с лица не страх какой... Только волосьем лоб завешал, да сердит. Эвон - зубы сжал».

- Невесело тут одному-то, а, Прокопей Саввич?

- Всяко бывает...

- А - оженись! - совсем уж хмелея от собственной смелости, бухнула Дарья первое, что к языку льнуло.

- Кабы решился кто... - задумчиво ответил лесник и оглянулся к ней. - Ты бы вот пошла?

- Боюсь я в лесу-то жить...- загнулась Дарья, - в деревне ба...

- Ничо, спасибо, Дарьюшка, на слове добром. Ступай с Богом, - он отдал ей корзину и перекрестил. Как ветром дунуло и волосы с лица - посветлел. Родинкой у глаза засмеялся, не ртом. С того раза и зачатила Дарья по ягоды...

Люди продолжали идти к Прокопею, все просили помочь, на исцеленье скорое в надежде. И Проня не отказывал... Совал травку. То ли вера в чудодейство, то ли травка такова - многим помогало. Но он, привыкнув отдавать всего себя, засовестился скупости. И душу было некому сказать. Лишь встретив Дарью, как-то приподнялся внутренно, как будто, долго идя в темной чащобе-выломке, увидел впереди просеку, зеленую и солнечную. Он ничего не объяснял Дарье, но верил, что с ней покой и радость. Пожалела и его живая душа... А сомнений стало еще больше. А ну как прознает про его силы, отшатнется? Нет, скрепиться надо, быть, как все... Он подолгу провожал ее, стоял, прислонившись, немо держа за локти, а то выбирал хвою из волос. Уговорились, что по снегу переберется Проня к ней в деревню.

- А что, Прокопей, давай, штоль, свадьбу отгрохаем? - шутил Кирилл Крушняков, помогая пилить дрова. - По чести, на лошади с лентами-бубенцами!

И Проня, заряжаясь напором Кириллова жизнелюбия, нечаянно высказал свои сомнения. Все выпалил, что мучало - про лечение, травы, про Дарью и страх напугать.

Долго чесал за ухом Кирилл, водил бровями. Потом потянул Проню до себя в Кленовицу.

- Мудруешь ты, - озаботился Крушняков, - я тебя с батюшкой Сидором сведу, уж он много умных слов знает, рассудит авось. Окромя тебя да церкви нету спасения.

Батюшка Сидор отличался от княжовского попа Василия разительно. Тот был пожилой и представительный, крест на цепке ровно солнце, а этот больно молодой, ряса мешком полинялым, крест малой, не блестящей. Но когда священник заговорил, от него волной накатило участие. Проня язык раз-

вязал, как с Крушняковым, а разговора все равно не вышло. Не Проня, а сам батюшка разгорячился, раздоказывая Проне высшую правду. Да, лечить людей - это дар Божий. Но ведь Бог насылает хворь за грехи, так зачем мешать? Нельзя равновесие рушить. Об этом равновесии батюшка твердил уж очень неустанно! А Проню вскоре осенило: «Уйду я, ладно. А вот те, что о темных делах беспокоятся - все равно найдут, чего им надо. Я не помогу - другие помогут. Меня не найдут - других найдут, если уже не нашли. И все повернут во вред.» Дикая безысходность опять сдавила Проню, не даваядохнуть. Неужели и помереть нельзя спокойно? Единственный выход - переехать к Дарье поскорей! Жить мирно, затаясь навовсе, годы пройдут - народ, глядишь, и позабудет, что был такой Прокоп Золотавинский, знахарь и лекарь!..

...- Народ, конечно, темный, - отчитывался Ивану Ивановичу Звягину молодой врач, вернувшийся из объезда медвежьих углов, - лечатся, чем попало и как попало. В каждой деревне бабушки-заговорщицы свои. Все это понятно, фельдшеров даже в крупных деревнях не везде найдешь... Всех больных, о которых вы говорили мне отдельно, я осмотрел... А один...

- Умер, наверно? Кто?

- Да нет, он здоров! Полностью здоров. Этот младенец, избитый пьяным отцом, помните? У вас записано - прогрессирующая левосторонняя кривошея, недержание мочи, заикание, нистагм... Там солидный список был, уверяю... Он здоров.

- Невозможно...

- Здоров, будто никогда и не болел. А рубцы на шее и на плече остались, иначе я бы не поверил, что это он. Наличники режет со взрослыми, такая сложная работа паралитику не по силам...

- Чем объясняют родители?

- Бабка твердит, что напоролся парнишка на косу, пришлось спешно доставить к знахарю, кровью истекал. Такой от знахаря вернулся. Погодите, я знахаря записал, вот... Какой-то Прокоп Гужовский.

- Кто? Неужели Проня?

- Не знаю, о ком вы. Живет, говорят, где-то за Кленовицей.

- Да бывал я в Кленовице, чистенькая такая деревня, красивая. Но раньше он не там жил... Я должен увидеть этого человека.

- Иван Иванович, в вашем возрасте, тем более, с ногой... Хотя бы курс лечения закончить...

- Да этой ноги вообще бы не было, если бы не бабка Серафима. Вот знахарка была! Побольше бы таких... Доберусь. Ты насчет лошади похлопочи... - Иван Иванович зато-ропился, скрывая сильное волнение...

Проня собирал, увязывал нехитрый скарб, приближая переезд к Дарье. Его смущало, что не она к нему, а он к ней... И Артимонова логова жалко становилось. Но уж коли к новому повернул, так нечего жалеть. И ей так любо... Он отыскал берестину-плетенку, стянул волосы, огляделся - что еще позабыл? Радость толкалась в груди, торопила...

Снаружи топот! Кирилл Крушняков - рывком от приседающей, взмыленной лошади:

- Прокопей! - закричал, вбежав в избушку. - Там дохтур помирает...

- Какой дохтур? - оторопел Проня.

- Да уездный, Звягин!

Схватился Проня за кафтан:

- Едем! Гони! - кричал он Крушнякову, хотя телегу и без того мотало, только держись крепче, не то вылетишь. - То ли настыл он, то ли еще кака лихоманка... Нога толстенная, что бревно, - пытался на ходу объяснять Кирилл, отклоняясь от летящих навстречу веток.

- Гони, гони,- бормотал в забытьи Проня... Подымался на крыльцо, а в ушах звучал ласковый голос отца Сидора: «Помни - равновесие свыше дается... Не нам судьбу людскую вершить...» Глазами же неотвязно видел грустную Дарью, стоящую на берегу Золотавы. Потом помотал головой, как бы освобождаясь от страхов и сомнений... Тут же выгнал всех из избы и долго смотрел на морщинистый лоб доктора, лежащего без признаков жизни. Чистое было чело - ни одного черного

пятнышка. Поднес, стремясь обнять, свои руки к лицу Ивана Ивановича - будто светились ладони дрожащим неярким свечением.

- Пронюшка... - открыл глаза доктор, - то-то мне не верилось, что нет тебя...

- Лежи, Иван Иваныч, сейчас ногу твою поглядим...

- И глядеть нечего, худо, Пронюшка, с ногой... Резать надо... Стар я, потому и резать не даю. Так надеялся дожить...

- Лежи, молчи, Иван Иваныч, не надо резать...

И смотрел, содрогаясь от жалости и тепла, чувствуя, как зарождается внутри быстрая кипучая сила, способная на невозможное... Смотрел и смотрел на страшно распухшую, некогда суродованную волками ногу доктора. Иван Иванович, не надеясь, не веря, не видя, уже догадывался, что на ноге растягивалась, рассасывалась опухоль, бледнели шрамы... Главное - чувствовал, как отпускала боль...

**ЧАСТЬ II**  
**СТИХИ И ПИСЬМА**

Дождемся снега - он закроет раны,  
Земля и души родственны вполне.  
Мы чем-то наполняемся извне,  
Когда перед собою цели ставим,  
Когда летим по Млечному пути  
К своей звезде далекой, но прекрасной,  
Когда идем тропинкою опасной,  
Еще не зная, что там, впереди.  
\* \* \*

Осень. Конец ноября.  
Листья давно облетели.  
И, ожидая метели,  
Мертвая стынет земля.  
Ветра нет. Снега паренье  
Первого. Сумрак ночной.  
Этой предзимней порою  
Сковано все, словно ленью.  
Молча деревья стоят.  
Шелеста веток не слышно,  
Заиндевелые вишни -  
Стражи уснувших палат.  
Сквер опустевший. Больница.  
Горек уныния час,  
Ночь холодна, и не спится...  
Вы не смыкаете глаз.  
Память ударит в окно  
Запахом старых развалин.  
Сын ваш, что вами оставлен,  
Вырос, наверно, давно.  
\* \* \*

Я без цветов, помят, небрит и пьян.  
Не обижайтесь, я такой честнее,  
Я столько лет расхлебывал обман  
И врать уже - простите - не умею.  
Не говорите, я вас просто злю.  
Сегодня все поставлено на карту...  
Позвольте мне уйти, сказав «люблю»!  
Не буду портить вам Восьмое марта!

\* \* \*

Дрогнет вагон, и метнусь торопливо на выход,  
Молча рванусь, не успев отразиться в глазах.  
Горло взрывается ломкою, болью и криком,  
Привкус помады запекся огнем на губах.  
О, как нелепо, как горько стоять на перроне,  
Сердцем бесплотным спешить, над составом  
кружась.

Жизнь моя, жизнь, ну зачем тебя, кто тебя гонит,  
Словно листок отживающий в топкую грязь?

\* \* \*

Я носил бы тебя на руках...  
Мне на это хватило бы силы,  
На руках и до самой могилы...  
Не дари мне, пожалуйста, страх.  
Ничего, ничего не дари -  
Не встречать нам с тобою рассветы.  
Ты с другим о любви говори,  
Я другой прочитаю сонеты.  
Будет имя горчить на губах.  
Ошибаясь, старайся исправить...  
Что еще? Нужно точку поставить -  
Я носил бы тебя на руках.

\* \* \*

Под утро вновь она явилась.  
Сначала тихо шевелилась  
За окнами желтеющей листвой,  
Как будто говорила: «Я с тобой».  
И на балкон ступила, не таясь,  
Потом со мной в кровати улеглась,  
Поерзала, стянула одеяло  
И обнимала, молча обнимала,  
К столу тянула и к черновикам,  
И строчками ложилась по листкам.  
Ну что ж, печаль, печаль меня почаще,  
Раз без тебя не пишутся стихи.  
Быть может, запишу и настояще,  
Без лишних слов и глупой чепухи.

\* \* \*

Когда мне было очень тяжело,  
К столу садился, открывал тетрадку  
И изложить пытался по порядку  
Все то, что мне так больно душу жгло.  
Не пил, не плакал, что мне хмель несносный,  
Не принесет он в душу чистоту,  
И не заполнит в сердце пустоту,  
В нем вымажешься, как в грязи навозной.  
Недосыпал частенько по ночам,  
И голова была полна стихами,  
Их про себя нашептывал губами...  
Ну, а писалось с горем пополам.  
Но все-таки потом, читая их,  
Себе казался я чуть-чуть сильнее,  
Смотрел на жизнь и проще и мудрее,  
Опять жалел о днях своих пустых...

\* \* \*

Разрыв-трава... Ползучая молва.  
Разрыв-травой опоены мы оба  
До бешенства, до злости, до озноба!  
Смертельный яд - слова, твои слова...  
Разрыв-трава... Кружится голова.  
Счастливей доля общая не стала.  
Свобода - рыбка шустрая, плотва -  
Ушла на дно и в глубине пропала.  
Разрыв-трава... Разбросаны дрова.  
Чужим огнем детей мы согреваем,  
Для них дышим и греем чуть, едва.  
Им холодно, и мы об этом знаем...  
Разрыв-трава... Развязка не нова...  
\* \* \*

Постель моя, вонюче злое ложе,  
Как будто спали демоны на нем,  
Тряслись, свивались ночью, даже днем.  
Как это надоело! Правый Боже,  
Лиши меня моих нечистых чувств,  
Чтоб был я пуст как выпитая рюмка.  
Сжимаю зубы, слышу страшный хруст.  
Багаж побед - истасканная сумка.  
Я с нею вместе сердце потерял.  
...Я слишком слепо чувствам доверял.  
\* \* \*

Гости, танцы и веселье -  
Показуха, позолота.  
Завтра - горькое похмелье,  
Наизнанку душу - рвота.  
Так у палки два конца,  
У монеты два лица,  
И развод двуличен тоже.  
Тут не выпрыгнешь из кожи -  
Завтра сын о папе спросит,  
Что ответишь? «Замолчи»?  
Зарыдай и закричи.  
Ночь тоску-печаль пророчит.  
\* \* \*

Плясала ночь за окнами огнями,  
Качался ветер светом фонарей.  
Что нас свело? Увы, не знаем сами,  
Быть может, схожесть одиноких дней.  
А ночь кружилась в бесноватом танце  
Невыносимо долго... До утра.  
А ты копалась в старом сером ранце,  
Разыскивая школьную тетрадь.  
Потом читала нежные куплеты,  
Оттягивала миг, тоской звеня,  
И слушал я, но не жалел, что это  
Написано совсем не для меня.  
Кровать рыдала скрипами до жути,  
О, как трусливо убегала ночь!  
Одетая лишь в тень рассветной мути,  
Ты плакала, а я не мог помочь.  
\* \* \*

И снова в ладони пушинка закинута ветром,  
Вот-вот улетит, и закрою печально глаза.  
И плоскость дороги покажется смятым конвертом,  
Который сорвал заскрипевшие вдруг тормоза.  
И росчерки шин вдруг покажутся знобким приветом,  
А зонтики - спинами черно-зеленых китов,  
И жизнь остановится между рассветом и светом,  
И снова пойму, что на глупости трижды готов!!  
А где-то заплачет по мне обокраденный тополь,  
И окна квартиры, моргая, предложат уют,  
И женщина будет на совесть утюжить и штопать,  
Без привязи жизнь принимая за муку и труд.

\* \* \*

Однажды я падал с балкона,  
Не веря в бессмертье мое.  
Привиделась Божья икона  
И ставшее лесом жнивье.  
Мне чудился голос и запах  
В объятиях стылой земли,  
И губы шершавые наспех  
Зачем-то мой лоб обожгли...  
Но время - не шепот, не выстрел,  
Земля прогибалась как сеть,  
И я, как бы там я ни мыслил,  
Не смог, не сгорев, умереть...

\* \* \*

Уходящему - мир, а входящему  
дайте полмира,  
У него нелегка и своя  
половинная часть:  
Я дошел бы пешком до Стамбула,  
а может, Каира,  
Только б встретилась та, без которой  
нельзя не пропасть.  
\* \* \*

Привыкший слепо двигаться вперед,  
Как стадо в темноте за гуртоправом,  
Затянутый в разгул хмельных болот,  
Народ всегда унижен и бесправен.  
Встряхнувшись, как щенок,  
попавший в дождь,  
Народ, не жди ни чуда, ни покоя!  
Развенчанный теперь «застойный вождь»  
Еще царит над общей судьбою.  
За гласностью - полемика газет,  
Что истину рождают только споры...  
За дефицитом - призрачный, но свет -  
Штапованные карточные горы.  
А выход, как всегда, один - трудись!  
Трудись во имя, приближая сроки,  
Застойную сдирая грязь и слизь,  
Не забывая прошлого уроки.  
\* \* \*

В полупоклоне Родина застыла  
И протянула руку - просит хлеба...  
Да ладно б хлеб! Все ценится не наше  
От пуговиц до мебельных наборов!  
Торг под заем. Да мы же попрошайки!  
Выпрашиваем и ничуть не стыдно...  
За нас не нам обидно - иностранцам,  
Ждем благодати, как небесной манны.  
Лишь только там бывает изобилье,  
Где тот, то производит, не в прогаре.  
У нас же спрос командует парадом:  
Чем меньше выпускаем - больше спросу!  
И под шумок накидываем цену...  
Порочная система бесколесна:  
Вперед бы рады - не на чем поехать,  
И государство шарит по карманам,  
Не у себя, конечно - у народа!  
А Родина стоит в полупоклоне  
Лицом к канадам - просит подаянья...

\* \* \*

Я слов обидных не скажу тебе -  
В молчаньи тоже праведная сила.  
Я долго ждал, и кровь моя остыла,  
И вот плетусь холодный по судьбе.  
Коварство встреч... Душа - обрывки фраз.  
В небытие утраченное канет,  
Но будущее, как загадка, манит,  
Друг к другу тянет каждого из нас.

\* \* \*

И ничего. И никаких просветов...  
Я буду жить в тоске своей глухой  
Средь немоты написанных куплетов  
И авторучкой, будто бы сохой,  
Поля тетради бороздить бездумно:  
Стихи, рисунки, руки, много рук  
И лиц, и глаз, и, замыкая круг,  
Опять стихи - наивно и неумно.

\* \* \*

И улыбнется женщина в ответ,  
Когда с улыбкой доброй подойдете...  
Насупит брови грозно ваш сосед,  
Как только зло ему преподнесете.  
С улыбкой если в зеркало смотреть,  
Оно всегда улыбкою ответит,  
И в зеркале вполне легко заметить:  
Гримаса злости - зло несет в ответ.  
Заметьте, как весенним ясным днем  
И в мутных лужах солнышко смеется.  
Как мы живем, что в эту жизнь несем, -  
Зеркальным отраженьем к нам вернется.

\* \* \*

Сынишка гладил медвежонку лапу  
И говорил: «Мам, я не лягу спать,  
Сегодня мне дождаться надо папу...»  
А что она могла в ответ сказать?  
«Он обещал мне починить игрушку,

Вот видишь, Мишка лапу поломал...»  
А то, что папа получил получку  
И где-то пьет - того малыш не знал.  
«Ложись, сынок. Наш папка спит давно,  
Сегодня он, наверно, не придет...»  
Но сын не спит, отца упрямо ждет,  
И ожиданьем плещет ночь в окно...

\* \* \*

...Вот он взболтал. Потом открыл спокойно,  
Разлил. Сказал: «Глотнем - а то каюк...»  
Таким ко мне явился ночью друг -  
Он пьян был и с бутылкой. Но довольно  
Об этом. О другом хотел сказать.  
Мы выпили по первой, по второй,  
И тут он начал: «Можешь ты понять,  
Как мне не хочется сейчас домой?..  
Читай стихи... Читай о грязных шлюхах,  
Читай о горе и о пустоте,  
Читай о злых и беспощадных слухах,  
А на закуску вдарь о чистоте...»  
А я прочел ему всего одно -  
О том, как ждет домой сынишка папу,  
О том, как гладит медвежонку лапу,  
О том, как ночью светится окно...  
И он подумав, произнес, трезвея:  
«Ты будешь пить еще? - Я нет. -  
Я тоже нет. Спасибо, друг,  
Ты все-таки поэт...  
Ну ладно, я домой пойду... скорее...»

\* \* \*

В Вологду бабушка Настя задумала внуку письмо:  
«Здравствуй, внучок ненаглядный, кукленок родимый!  
Как ты живешь? Попивает ли папка вино?  
Мачеха как? Обижают, поди, тебя, милый?  
В школе-то как? Не шали и учись хорошо!  
На худо, Тема, учитель тебя не наставит,  
Зла никакого, смотри, не держи за душой -  
Легче и жить, и учиться, Артемушка, станет...»  
Снова писала: «Езжай, буди, милой, в деревню,  
Этта и лес, и речушка, и воздух как чист,  
Есть и корова... Мы сытно живем и не бедно.  
Буде, решай - телеграмму отбей, отпиши -  
Сразу приеду, аль дедка пошлю вам, хороший.  
Школа и этта не хуже - и рядом, хотя не тащись  
Эстоль далеко по городу с этакой ношей.  
Этта не хуже. Дружок твой, Пустохин Олег  
Спрашивал даве - когда, мол, придет Артемка?  
Бегали б вместе, топтали по берегу снег.  
Лыжи тут есть, и коньки, и железные чонки.  
Здесь ты на воле. Ругаться не будет никто.  
Летом раздолье, захочешь - по ягоды ходим.  
Тут даве Тонька купила тебе меховое пальто -  
Ну в аккурат на тебя и шикарное вроде.  
Видишь ли мамку? Видаешь ли младшего брата?  
Как она там? Не видала обоих давно.  
Чула, оне приходили, просились обратно,  
Только твой батька уперся - ни «тпру» и не «но».  
Ладно, уж коль разошлись, так живите, как лучше...  
Брата бери, приезжайте к нам вместе, вдвоем.  
Здеся вдвоем-то никак уж не будет вам скучно,  
Ну, да и мы с вами повеселей заживем.  
Ну, до свиданья, мой ангел. Привет от Олега.  
Да по привету от нас говори и отцу.  
Коли захочешь, отбей телеграмму - приеду...»  
Вот и конец бабынастиному письмецу!

\* \* \*

Сквозь испарение земли,  
Когда лежишь в зеленом поле,  
Взгляни на лес - и поневоле  
Его танцующим вдали  
Увидишь. Встань - и лес замрет.  
Приляжешь - снова, снова хоровод!

\* \* \*

Тьма налетела черным петухом  
И в окнах свет склевала, будто зерна.  
И только отсвет месяца озерный  
Растерянным смотрелся двойником.  
Шептал о чем-то ласково камыш.  
Плескалась тихо лунная дорожка.  
Насторожилась елка, словно кошка,  
Которая выслеживает мышь.  
Вползло на берег озеро туманом  
И целоваться начало с землей...  
Ночь, устыдившись дерзости такой  
Зарозовела пламенно и странно...

\* \* \*

*А.М.Ш.*

И мы пошли по середине лета.  
Нас провожал некрашенный забор -  
По большаку двоих от сельсовета,  
Ведущих меж собою разговор.  
Свивалось в нить: о жизни и о детях,  
О сенокосе трудном, о дождях....  
И чудилось тепло в твоих ответах,  
В малиновой улыбке на губах.  
Уехал я. Но голос твой - у ветра  
И небо цветом, как глаза вдали,  
Уносит память - в плен за километры  
В село, где мы по большаку прошли...

\* \* \*

Мы видимся нечасто и случайно,  
Пройдешь - и мне становится теплей,  
Но домик твой окутывает тайна -  
Забор из шелестящих тополей.  
Знать, тополя мне надобно спилить,  
Чтоб на себя вниманье обратить!

\* \* \*

А встретились опять у магазина.  
Линялое трико, в авоське тара,  
Не брит, не мыт - горилла, образина...  
- О, Господи, моя ли это пара?  
Когда-то - ветер, гитарист, позер...  
Того любила, этот - чудо-юдо.  
Трясется весь, звенит пустой посудой.  
Ни капельки стыда... Какой позор!  
И комната - в курилке общей чище -  
Чего тут нет, какого барахла!  
«Ну почему ты женщину не ищешь?»  
«Зачем? Чтоб так же, как и ты, ушла?»  
Скоблила зло, отправив мужа в баню,  
Полы, посуду - из последних сил...  
Пришел - сказала: «Больше чтоб не пил!  
Я насовсем. А маленького Ваню  
От мамы завтра тоже проведу...»

\* \* \*

Пощелкивал кузнечик.  
Гонял лягушку сын  
По берегу у речки  
Меж тоненьких рябин...  
А солнце то пылало,  
То спало в облаках,  
И сено подсыхало  
В ворочаных пластах...  
Вилась тропинка плеткой  
Нескошенной травы,  
Казалось небо слепком  
Тепла и синевы...  
Достал топор, подправил  
Подстожник, стожары,  
Отножники поставил,  
Потя от жары:  
«Давай, сынок, покруче,  
Управимся скорей!  
Сволакиваем в кучу,  
Сметаем поживей.»  
Таскали сено дружно  
На вилах, граблях.  
Труха носилась вьюжно  
И липла на телах...  
Потом плескались в речке -  
Смывали пыль и пот.  
Садилось солнце в вечер,  
Скрываясь за зарод.  
Умаялся мальчонка,  
Но как доволен взгляд!  
Он так смеется звонко...  
И я за сына рад!

\* \* \*

О, Господи, не дай дитя обидеть!  
Вот этого никак мне не понять -  
За что ребенка избивает мать,  
Когда он просто хочет папу видеть?  
И он сидит в квартире под замком,  
А то сбежит еще - потом морока...  
И рвется сын меж мамой и отцом,  
А мама часто с малышом жестока.  
И он растет озлобленным зверьком  
Под властью нервной разведенной мамы.  
А люди удивляются потом -  
Откуда молодые наркоманы?

\* \* \*

Плетет надежду - кружево мечты -  
Холодный дождь хрустальной чистоты,  
И я под ним иду куда попало,  
Случайных встречных и бегущих мало,  
Но где-то из-за рамы смотришь Ты  
На этот дождь и думаешь, наверно:  
«Не вовремя пришло. Фу, как скверно,  
Кончался бы скорей...» Но полусферы  
Плывут по лужам частью атмосферы  
И обещают - долгим будем дождь.  
И значит. Ты из дома не уйдешь.  
А я иду - к Тебе бы... но не знаю,  
Где Ты живешь... И все же обещаю,  
Что я к Тебе дойду когда-нибудь,  
И за руку возьму, и вместе в путь  
Пойдем с Тобой. Тебя я познакомлю  
С моим дождем - он будет только наш!  
Не зря же он в твою стучится кровлю,  
И в сердце тоже. Это не мираж...

\* \* \*

Совсем одна. Молчащий коридор.  
Сердечный голод в маске интеллекта.  
А в памяти - последний разговор  
И строки бесполезного конспекта.  
Надменен вид. За ним, внутри - печаль.  
Все счастье-то - престижная работа.  
А по ночам невыносимо жаль  
Прийти не обещавшего кого-то.

\* \* \*

Эх, пропадай, несчастный мой червонец!  
Не потерял же - а любовь купил.  
Привез домой и в ванну посадил,  
Шампунь подал и пару полотенец.  
А сам на кухне чайник кипятил.  
Она помылась, выстирала платье.  
И только тут заметил - вот проклятье! -  
Такое и жене я подарил.  
Мы пили чай. Она была мила  
В моем трико, без туши на ресницах.  
Но взгляды не скрещали - стыла в лицах  
Унылая постыдность ремесла.  
«Иди ложись!» - и было слышно: в спальне  
Под юным телом скрипнула кровать.  
Сидел я долго. А потом печально  
Остался за столом, корячась, спать.  
Спал полулежа. Снилось мне былое -  
Малютка-дочь, красавица жена...  
Как будто бы они еще со мною -  
Любим, не брошен... Женщина - она  
Ушла неслышно рано поутру.  
Проснувшись, я нашел под чистой миской  
Червонец мой, а рядом с ним записку:  
«Я с праведников платы не беру.»

\* \* \*

Сказать все прямо, посмотреть в глаза  
Ты не смогла - ни смелости, ни воли...  
Мне снова с болью помнится гроза  
И мы вдвоем с тобой в зеленом поле,  
Как два щенка, промокшие насквозь,  
Мы тыкались друг в друга слепо лбами...  
Казалось, все решилось - мы не врозь  
И никаких вопросов между нами,  
Раз так пошло. Ты с мужем развелась,  
Со мной жила - любила, видно, все же.  
Истосковалась, прежним извелась.  
Я чувствовал, что старое дороже!  
Вернулась к мужу. Вот письмо твое,  
А в нем «прости» да «извини» сплошные.  
Больней и глуше сердце бьет мое:  
Не разорвать... Родные мы, родные...

\* \* \*

И снова ложь плевком летит в лицо.  
Жую ее и не сопротивляюсь.  
Не на руку бы мне, а в нос кольцо,  
Раз ложью, как травую, я питаюсь...

\* \* \*

Портрет семейный убрала в комод,  
Кровать бельем чистейшим застелила.  
Протерла пыль, потом полы помыла:  
Все вроде чисто? Кто их разберет!  
На той неделе Вася с таксопарка...  
Повыпили - уснул, и ну давай храпеть...  
И бес с ним! Тут уж не о чем жалеть:  
Ему же баба - мертвому припарка.  
Немного раньше Костя был, поэт,  
Бог наградил лицом - ну просто Гоголь!  
Соседей разбудил, проклятый щеголь -  
Стихи читал - какой-то пьяный бред!  
На воскресенье ночевал Сережа...  
Вот тот мужик! Да жалко, что женат,  
Жена-наседка, четверо ребят.  
А спать с ним - и сейчас мороз по коже.  
Сегодня должен Владик подойти.  
На вид красив, а в остальном потемки.  
Привыкла... Лишь бы вечер провести.  
Как хорошо, что бывший взял ребенка!  
Когда сынишку привела к нему,  
Он сам над ним затрясся как ребенок.  
Глупец, чему он рад, я не пойму?  
Да пусть живут - его же пацаненок...  
Подвинула на середину стол,  
Поставила свечу, вино, закуску -  
Чтоб было все, как у людей, по-русски...  
Ждала, сидела, наконец, пришел.  
Чуть горбонос, до синевы побрит.  
Коньяк поставил и сказал с акцентом:  
«Вот, здрастуй. Что ж, давай за встречу пит...»  
И все твердил о солнце над Ташкентом.  
А жизнь хмельным туманом заплыла -  
Ни чувств в душе, ни радости, ни боли.  
Вся жизнь, как мгла, предутренняя мгла...  
Постель и стол... Обьедки... Россыпь соли...

\* \* \*

Присяжные рвутся в стороны,  
Коренные тянут воз...  
Кружат черные, как вороны,  
Мысли, горькие до слез.  
В этом поле, мною брошенном, -  
Ни пшеница, ни ячмень -  
Стынут жалкие горошины  
Опустелых деревень.  
Междуполем разрастается  
Зелень горькая полян.  
Снится мне и представляется  
Цвет несеянных семян.  
Здесь и там - кругом отсеянный -  
Коренные тянут воз -  
Бьюсь, как мерин непристреленный,  
Провалившийся под своз.  
Догнивающую матицу  
Подпирают горбыли.  
Кумачовым солнцем катится  
Благодать с моей земли.

\* \* \*

Я бог и царь в кругу моих стихов.  
Здесь против ни один не может пикнуть.  
Я шапки с головами снять готов  
Не в настроеньи не пытаюсь вникнуть  
И разобраться, где средь них «злодей»,  
А где пустышка - языку забава.  
И подданные гибнут без вестей,  
На выход в люди не имея права.  
Я деспот и палач, но горько мне  
Казнить стихи за собственное «не»...

\* \* \*

Не говори мне, брат, о ней,  
Не торопи отведасть воли.  
Мне в чистом поле, как в неволе,  
Как в затхло́й полутьме сеней.  
Не торопи меня с ответом.  
Кастетом или пистолетом  
Не стукнут мне уже больней,  
Не говори мне, брат, о ней,  
Не торопи искать другую.  
Когда коню заменят сбрую,  
Он может в кровь стереться в ней.  
Да кто же станет мне родней,  
Грубей, беспечней и колючей,  
Смелей, привязанней, тягучей?..  
Поговори мне, брат, о ней...

\* \* \*

Любимая, я умер прошлой ночью.  
Ты видела меня всего за час...  
Смотрю со стороны на глупых нас -  
Любимая, бывшее рвется в клочья...  
Не я сижу напротив за столом,  
Не слушай, он соврет, мы так похожи!  
Он - я, но только телом и лицом,  
А я - не я, а будто бы прохожий...  
Любимая, наутро был развод.  
Ты разводилась не со мной, а с этим.  
Он согласился - пусть теперь живет.  
А мы с тобой подумаем о детях.

\* \* \*

Зачем мне вспоминать ее ладони,  
Глаза, улыбку, раз она ушла?  
Не стоит мстить, грозить, спешить в погоню,  
Черня ее. И так ведь не бела.  
Забуть, забыть, все попросту приснилось,  
Бредовый сон, как ужасы в кино.  
Разрыв, конец - и рамка засветилась  
Пустая - незашторенным окном.  
Да что же я?.. Не сам ли воскрешаю,  
Не сам ли разжигая этот бред?  
Сварливая! Надменная! Чужая!  
И в каждом слове, как при сварке - свет...  
Потом уже без голоса - «прощаю» -  
Ей - гордой, злобной, уходящей - вслед.  
И с ней, и без нее - мне жизни больше нет...

\* \* \*

Животы сутробов похудели,  
Потемнели пояса дорог.  
Брызжет солнце целую неделю  
У прохожих прямо из-под ног.  
Девушка, шагая по аллее,  
Встречного улыбкой обожгла.  
Как она волшебна, в самом деле -  
Капелька весеннего тепла...

\* \* \*

Еще с утра стояли враскоряку  
Два тополя, изъеденные оспой,  
Напоминая старую корягу,  
А к вечеру окутал ветки дым -  
Зеленый, едкий... Рвало почки с треском,  
И клювики листвы с веселым блеском  
Тянулись из скорлупок... Молодым  
Быть захотелось - вот она, нелепость-  
Дух закипает, тело будто крепость,  
Хоть разрывайся, только б стать другим...

\* \* \*

Это дождь! Это все-таки дождь,  
А не ты, как мне верилось, плачешь,  
И несет одичалую дрожь  
Грудь аллеи, распахнутой настежь!  
А по ней, разноцветно струясь,  
Листья клена, рябины и дуба  
Замывают вчерашнюю грязь  
Возведенного мысленно сруба.  
«Это храм!» - приговаривал мне,  
Дотлевая, стручок сигареты,  
А судьба танцевала в окне,  
Обеспутев, безглазо раздета...  
И теперь я бреду под дождем,  
Согреваясь чужими слезами,  
Потому что пустыми часами  
Не спасти обездоленный дом...

\* \* \*

Холодно. Суетно. Дико. Бездомно-пустынно.  
Бьется безумье, как нервное сердце в груди.  
Все впереди. Уходящее медленно стонет,-  
Все полыхает огнем у тебя позади.  
Ветрено. Клейко. Обрубки напротив окошка.  
Запах черемухи, пруд, зарябила вода.  
Кто взбаламутил? Постой, задержись на немножко!  
Я ли не этот, не этакий, ты ли не та!..  
Звуки подъезда. Скрипучая пристань дивана.  
Увековечьте, убейте, уймите распыл.  
Нет, меня хватит еще на глоточек обмана,  
Нет, меня хватит на что-то... На что - позабыл.  
\* \* \*

Уезжая, со мной помолчи,  
Сумасшедшая искренность яда!  
Фитилем догоревшей свечи  
Полетит за тобою бравада,  
Полетит, извиваясь змеей,  
И догонит тебя за окошком,  
И поймешь - далеко не со мной,  
А со мной - далеко и немножко!  
Между нами протянется тень,  
Как струна на оборванной ноте -  
И, как раненый насмерть олень,  
Долгим криком угаснет в болоте.  
\* \* \*

Не было страсти. И ты, как в бреду, задыхаясь,  
Жарко пытался не ей, а себе доказать:  
Вот захочу, и любая чужая - родная!  
Ну, а с родной не зазорно за стол и в кровать.  
Не было страсти. И ты под покровом одышки  
То ли за нею, а то без нее, без себя,  
Гордо вращался в миру, где ни дна, ни покрывашки,  
На перекрестках любви о победах трубя.  
Не было страсти. И ты, не дойдя до калитки,  
Все осознав, наконец-то вскричал: «Не могу!»  
Домик уютный, броня горделивой улитки,  
Вспыхнул, сгорая, в чернеющем мокром снегу.

\* \* \*

Я был готов помчаться за тобой,  
Остановить и звать тебя обратно...  
Ты уходила - как невероятно! -  
И опускался сумрак голубой.  
Казалось - шутка. Ты сейчас вернешься  
И скажешь: «Я устала, покорми...»  
Насытившись, довольно улыбнешься:  
«Работать надоело до семи...»  
Ты уходила, не взглянув на дом,  
Где мы насквозь друг другом пропитались,  
Где души, как тела соединялись  
И в будни, и за праздничным столом.  
Мне б кинуться бурлящею волной  
И, подхватив, нести тебя обратно..  
А может - клясть, как принято - стократно,  
Чтоб помнила характер мой мужской!  
Но я стоял оглохший и немой.  
И кувыркалась раненою птицей,  
Наперекор попытке разозлиться -  
Моя любовь вдогонку за тобой...

\* \* \*

Сумбур и тамбур. Смерть и возрожденье.  
Безмыслие и снова вдохновенье.  
Четвертую бессонницу подряд  
На клавишах единственного друга  
Выстукиваю ернический лад.  
Полет - паденье. Истина - и воля.  
Сентябрь - апрель. Заснеженное поле...  
Все уместить в коротеньком письме:  
Подскок на месте - предпочтенье чести  
Блужданию с бесчестьем во тьме!  
Судьба желаний. Гнездышко под крышей,  
Позволь не отрываться от земли,  
Позволь не оказаться на мели,  
А если нет, то черной ниткой вышей  
На мертвом сердце: «Точка. Мы пришли».  
Любимая! Беспомощность в дробленьи,  
Озлобленность в бесчувствии. Спеши!  
Ушастое, глазастое терпенье,  
Как поводок к калитке, привяжи!  
Войду - трезвонь, уйду - трезвонь сильнее!  
Прикинись львицей, щукой, будь смелее...  
Прими опять, как принимают смерть,  
Как сон, как жизнь, всю эту круговерть.

\* \* \*

Я значение слова свожу до нуля,  
Мне гораздо важнее глаза или руки.  
Что посулы мои? Я писать, посуля,  
Забываю - писать, запиваясь от скуки,  
От печали-тоски, от любви-нелюбви,  
От чего-то еще, как последнее быдло...  
Мне бы взять, закричать: «Ты меня позови!  
Мне опять одному до запоя обрыдло!»  
Я пускаюсь в галоп по квартире пустой -  
Где-то есть адресок в заляном блокноте,  
Может, это и есть настоящий покой,  
Посмотреть на него, как в зрачок... на охоте...

\* \* \*

Я вышел весь. И весь вошел обратно!  
Да, я не тот. А ты - неужто та?  
Тепло. Смешно. Грешно невероятно!  
А ночь - не ночь, и тьма не темнота.  
Вон за окном, смотри, какая вьюга!  
Послушай, как скрипит подъезда дверь...  
Представь меня супругу, словно друга,  
Но лишь сама ты в это не поверь...

\* \* \*

Счастливые уходят в сильный дождь  
Под тяжесть струй kloкочущего неба...  
Поймешь ли ты, что я с тобою не был,  
Как не был ветер пленником у рош.  
Да, он гулял, да, он срывал наряды,  
Бесился, словно тысяча чертей,  
Но требовать за прошлое награды  
Не станет ни одна из тех ветвей,  
Что пала наземь и землю стала -  
Счастливая - от смерти до начала -  
Осмысленная, трепетная жизнь...  
А пики струй, меня голубя, губят,  
Пронзают беззастенчивые губы.  
И молнии, слепя, взмывают ввысь...  
Но остальное - тьма и пустота,  
Прощание, скользящее с листа.

\* \* \*

Белым-бело, и в сердце стынь шальная,  
Легко шагать, дышать, кричать, блажа!  
Сегодня я себя не понимаю,  
За что мне эта участь алкаша.  
Я оправдаюсь - здравствуй, с Новым годом!  
Маленько выпил, праздник как-никак.  
Здорова ты? Приятны мне, ей-богу,  
Твои глаза... Что я? Да я - пустяк.  
Как будто жив и весел - раньше, помнишь? -  
Довольствуюсь ничем, почти ничем,  
А ты все та же - волосы как солнце,  
И без меня ни горя, ни проблем.  
Белым-бело. Хрустит снежок, сминаясь...  
Конечно, я к тебе не забреду.  
Я выдумал, что был с тобой, родная.  
Но очень трудно выдумать беду.

\* \* \*

Войти и выйти - как ни тяжело.  
Нам незачем скрывать своих эмоций.  
Я - с лошади заезженной седло,  
Ты - женщина, созвездие пропорций.  
Томи меня! Я пленник твой и раб!  
Вяжи лучом надежды оголтелой...  
Я выращу невольню баобаб,  
Прикинусь и нахальным, и умелым.  
Лавровый круг. Я сам в него войду,  
Забыв о том, что выбраться непросто!  
Твои глаза, твои глаза в бреду  
Липучей, чем чесотка и короста...

\* \* \*

Я болею тобой. Я болею,  
Но скрываю болезнь от тебя,  
Я в себе замыкаться умею  
Я умею смеяться, скорбя.  
Я умею грустить незаметно,  
Горячо-беззаветно любить...  
Даже если люблю безответно.  
А иначе не стоило б жить.

\* \* \*

И ничего. И снова ничего...  
Лишь взгляд скупой из-под нависшей прядки...  
Ждешь не меня, другого? А кого?  
Загадываю сам себе загадки.  
Я ни о чем с тобой не говорил,  
Не выпало... Быть может, так и надо...  
И не надеясь, думал и курил.  
Но почему тебе так сердце радо?  
Я буду снова приезжать сюда,  
Тайком надежды призрачные строить,  
И ждать... Хотя я знаю - никогда  
Нам общий дом с тобою не построить.

\* \* \*

Построил замок призрачный и вот  
Хожу меж стен и радусь покою.  
Ну, как живешь, придуманный народ?  
Тепло ль тебе, доволен ли ты мною?  
Морщинистые бабки, старики  
Мне бьют поклоны, батюшком считают:  
Эх... хе, и здесь те же все грехи,  
Что землю смрадным дымом разьедают.  
И ты не избежал, родитель наш,  
Сей участи и рисовал портреты.  
Да и к чему нам сказочный мираж?  
Понятно, в жизни главное не это...  
Главней всего, что мы теперь живем  
В тебе, отец, в других, что почитали,  
И детям память, внукам - этот дом,  
Как памятник тебе, твоей печали...

\* \* \*

Почему мы спешим? Это жизнь такова...  
Не юродствуй! Смелей говори...  
Научи меня жить, голова...  
Не решай за других и, конечно, не лги,  
И не злобствуй, умей отвечать  
За безделье, дела и слова...

\* \* \*

Не знаю, куда я плыву -  
В ковчеге, в разбитом корыте,  
Один, без охраны и свиты,  
И парус натруженный рву.  
Когда долгожданная твердь?  
Скрипи поскорее, посуда:  
Везет отвергающий смерть  
Взросления жар и остуду -  
Пожизненно вечный оброк.  
И утро, укрытое мглою,  
И счастья шального мешок,  
Который другие откроют...

\* \* \*

### *Литобъединению*

Беда вся в том - стихи мои калеки,  
То хромоноги, то чуток горбаты,  
Порой избиты, а порой лохматы -  
Хоть о душе пишу, о человеке.  
Вам не понравились вьюнки моих стихов.  
Нет выводов и никакой морали.  
А я считаю - мы мораль слышали,  
Ее - нагромождение томов.  
По выводам - конечно, вы правы,  
Да иногда бывает так, увы -  
В конце не вывод ставлю, а вопрос,  
А за вопросом кроется курьез.  
Ведь вывод может каждый сделать сам,  
Зачем учить? Ведь я не Бог, не гений.  
Пусть был бы смысл да четкость настроений -  
И не было б цены моим стихам.  
Я много раз пытался не писать,  
Но что-то гонит, что-то заставляет  
И по ночам с кровати поднимает...  
И вот пишу, хотя стыжусь читать.  
В упадке настроенья - не таю -  
И рвал, и жег несчастные листочки,  
Кричал - «шабаш, не напишу и строчки!» -  
Но разве обойдешь судьбу свою?  
Хотя как было - так не написать -  
Все лучшее сгорело, даже пепел  
Разнес-развеял прощельяга-ветер,  
Да что теперь о том переживать...  
Совет ваш помню - никогда не лгать,  
Не ерничать, не тасовать в угоду  
Кому-нибудь. Не лить пустую воду.

Писать, как жить! А если жить - летать...  
Не умничать, туман не напускать,  
Работать четче над стихом, над словом,  
Читать побольше, быть всегда готовым  
За сказанное свой ответ держать.  
Спасибо за прекрасный ваш совет,  
За то, что с добротой ко мне, с заботой,  
За то, что доли не сказали сотой  
Жестокой правды - на стихи в ответ.  
Чего темнить? Ее я знаю сам -  
Пишу пока я очень, очень слабо.  
Что будет дальше - гладь или ухабы,  
Что б ни было, но обещаю вам  
Писать лишь то, чем голова набита,  
Острее рифмы. А писать короче,  
И обходиться без туманных строчек.  
(А где не так, то вы уж подскажите...)  
О, сколько я всего нагородил.  
Читать у вас достанет ли терпенья  
Пустьяшное мое стихотворенье? -  
К сему шутник Жаравин Михаил.

\* \* \*

*У попа была собака...*

Был у попа тенистый сад  
И флигелек пустой,  
И поп любил в нем отдыхать -  
Увы, не с попадьей.  
А попадья - она попа  
На десять старше лет,  
И, будто курица, глупа,  
Ревнива - спасу нет.  
Вот в этом весь и криминал -  
Овчарку завела,  
«Чтоб сад никто не обокрал»,  
Такие вот дела.  
А поп на службе, он не знал  
Об этой беде,  
И прихожан с обедни гнал  
С ухмылкой в бороде.  
Параша, женка кузнеца,  
Придет сегодня в сад.  
Он прошипел ей три словца:  
«Коль не придешь - то в ад!»  
Попишка заспешил домой  
Через флигелек. Да к слову молвить,  
К нему был неплохой пристрой,  
Кладовка - там томилась снедь:  
Копчености, соленья -  
И среди прочего всего  
Конечно же, варенье.  
Священник к флигельку,  
А там - огромный зверь,  
Где там любить, не приоткроешь дверь!  
И поп в сарай. Взял мяса кус,  
Собаке бросил: «Сторож, где ты, эй,

Ну, чертов трус, или ты спишь, злодей?  
Не видишь вора?» - «Вижу...»  
«Так что стоишь - убей!»  
Кузнец с запоя глаз открыл.  
Жена, принарядясь -  
В корзину масло, яйца, хлеб...  
«Кудай-то собралась?»  
И следом! Ша, забор попа -  
Напротив флигелька.  
Жену за косу: «Погоди,  
Дай батьке в пекло, а пока  
Отведай тумака».  
Парашу попик страстно ждет.  
А входит, боже мой, Федот!  
Кузнец, конечно, сгоряча -  
(До бога ль спохмела?)  
Так молотил попа сплеча -  
Попиха отняла.  
Поп после был как битый пес:  
«Собаку зря извел...  
Когда б Федотка в щель полез,  
Кобель его б заел.»

\* \* \*

Между строк, по бездорожью,-  
Здесь не звали, там не ждут,-  
Между правдою и ложью,  
Но с надеждой, что поймут...  
Удила в чернильной пене,  
То в намет, то на колени,  
Щеки алы от «лещей».  
Наплевать же на заставы,  
Конь бумажный, выручай!  
Речка Имзюг, что нам слава,  
Были б хлеб, да соль, да чай.  
Да еще бы вдохновенье,  
Чтоб лететь, лететь, лететь -  
На лету, в изнеможеньи -  
Не в постели умереть.

\* \* \*

Я хотел быть простым,  
Я хотел быть дешевым как трешник,  
Им ведь легче втрое-  
    позитив, негатив - не в зачет!  
Но зачем-то везет меня жизнь  
    вновь под орешник,  
Где отказ за отказом,  
    а финиш - ничком от ворот!  
Ах зачем я живу  
    бестолково, как майская роза,  
На разок пригодясь,  
    после - долго помойная жуть...  
Я, себя сохранив, проболтался  
    героем - в обозах,  
А теперь - от винта! Не смогу я  
    назад повернуть.

\* \* \*

Бегущая Москва! Толчки и суета  
Опять ведут меня этапом, но к началу.  
И сверху пустота, а снизу маета,  
И тянется рука дрожащая к бокалу...  
А где-то есть глаза... Ну выдумай, коль нет!  
Поэту нужен путь - к любви, надежде, вере...  
Прервет его коварный пистолет,  
Мы вновь заговорим о ветреной Венере.  
И недруг запоет: мелькнул же, черт возьми!  
И мог бы осветить потухшее пространство...  
А вот покуда пень - секут, секут плетьюми  
И хаот за спиной то снобом, то засранцем.

\* \* \*

И побегут слезинки по стеклу,  
И крыша застрекочет виновато...  
Не глаз змеи, а пуговка в углу,  
Оборванная в спешке от халата.  
И жутко, и польнно, но тепло!  
Не верю я, что запоздало счастье,  
Благословляю грозы и ненастье,  
Которое уже почти прошло.

\* \* \*

Я со своей тропинки не сверну!  
Так думалось ошибочно, бывало -  
Раз ты судьба, и я в твоём плену -  
Зови. Веди. Пойду, куда попало.

\* \* \*

Комическая сущность бытия!  
Вот углядел сарказм в стенах, обоях.  
О, плен соблазна снова жить тобою,  
Расколота мрачная семья.  
Я не согласен, хоть и жжет в груди,  
Комизм опять трагизмом станет.  
О, жизнь! Она наверняка обманет,  
Обманчивые годы впереди.  
Трагические всплески не тая, -  
Растянутые не спасают сроки,  
Как все же мы становимся жестоки,  
Когда задето собственное «я»...

\* \* \*

Мамай рассматривал врага.  
Еще никто и никогда  
Не выносил Мамаю взгляд,  
А этот - жизнь не дорога?  
Устами льстит, но лезть как яд.  
Стоит бесстрашен и суров  
Посол московский Тетюшков.  
И мрачно думает Мамай:  
«Поди, попробуй угадай,  
Пойми, где правда, а где ложь,  
За ним или за мною мощь?»  
Уехал Дмитрия посол.  
Мамай взбешен и страшно зол:  
«Лишь тот, кто будет отомщен,  
Иль тот, кто разума лишен,  
На смерть на лютую плюет  
И сам беспечно к ней идет.  
Захарий - знает хан - умен».  
И в страхе битву чувствует он.

\* \* \*



Избитые слова я повторял,  
Носились звуки, глохли, умирали.  
Я одиноко на углу стоял,  
А думал, будто вместе на углу стояли.  
Избитых слов нежнейших и простых  
Лился поток горячий, но напрасный.  
И даже этот неуклюжий стих  
Тебя не тронет...

\* \* \*

Я истину пока еще ищу,  
Запутавшись во лжи, в ошибках прежних.  
И горький груз я на себе тащу,  
А истина всегда любила нежных...  
А истина обманчива порой,  
Когда жестокость истиною правит.  
Я отдаю себя совсем другой  
И обижаюсь - ни во что не ставит.  
Ни нежности, ни добрых чувств моих.  
А ты опять во сне ко мне приходишь -  
Во снах твой образ ласков, чист и тих,  
Приветлив, нежен... Как с ума ты сводишь...

\* \* \*

А снег лежит еще по всей земле,  
Он как и я. слегка навеселе,  
Венчался с оттепелью пик зимы - январь -  
И вот гудеж на свадьбе, как и встарь.  
А снег лежит мокрехонек и пьян,  
Скрипит, чуть тронешь: «Это все обман,  
Январь - обманщик, завтра холода,  
Он заморочит, вот уж где беда.»  
Я все по снегу белому брожу,  
Чего ищу - никак не нахожу.

\* \* \*

Ушла... Слегка коснувшись платьем,  
Оставив запахи духов.  
И жгло твое рукопожатье  
Невосприятьем смысла слов.  
Еще сижу, скорбя, сутулясь,  
Еще пытаюсь осознать,  
Зачем у двери обернулась,  
Зачем, как прежде, нежен взгляд?  
Кидаюсь слепо к телефону  
Звонить. Зачем? И что суля?  
Гуляет ветер по балкону,  
На окнах шторы шевеля,  
Уносит запахи. Растают,  
Как будто не было тебя.  
Но чувства душу разрывают,  
Еще надеждами бурля.

\* \* \*

Из разных взглядов - свет прикосновений,  
В цепочку общую - сюжет стихотворений,  
Основой станут виражи судьбы.  
Как часто мы судьбы своей рабы!  
Ошибок много - им цена тоска  
И серебро нежданно на висках.

\* \* \*

Выгибался утрем на углях,  
Не кляню бывшее, хоть причина  
Веская. И горькая кручина,  
И довесок, неуместный страх...  
Забываю, будто бы всегда  
Жил как жил, беспомощным котенком,  
Пил и пел. И вся моя беда -  
Видел жизнь из-за ажурной пленки.

\* \* \*

Город спит, лишь фонари качают  
Темноту кругами меж столбов.  
Бродит осень, щедро рассыпая  
Шорохи оборванных листов.  
Возле фонарей ложась шуршаще,  
Ближе к ним, светящим часовым,  
Тянутся за летом уходящим,  
Так необъяснимо дорогим.

\* \* \*

Так уж вышло - слов немного  
И к тебе не подойти.  
Перекресток без дороги,  
Два неторенных пути.  
Нам бы вместе, нам бы в паре  
Протянуть остатний век,  
Нам бы прошлое в пожаре  
Сжечь, мой милый человек.  
Настоящим жить и верить -  
Впереди успех и свет,  
Пусть смеется злая челядь,  
Нам плевать, нам дела нет!..

\* \* \*

### *Антоше*

А ты частичку увезла с собой  
Того тепла, домашнего уюта.  
Умчался в небо лайнер голубой  
И у меня в автобусе минута!  
Минутой этой я умчусь туда -  
В Кич-Городке тебя я встречу.  
Ты не поверишь: «Что за ерунда?»  
Протрешь глаза, не чаявшая встречи...

Сестра, тебе я доверял печаль.  
Как странно это - почему не брату?  
Но я, увы, не расположен к благу.  
Наверно, есть в твоей душе струна,  
Которая и ближе, и дороже.  
Возможно, ты ничем мне не поможешь:  
Какого там еще рожна  
Вот в этой горькой жизни не хватает?  
И посочувствуешь без едкого сарказма -  
Как мало их, кто все ж нас понимает,  
И кто не терпит лживого маразма.  
С тобой я говорю о чем попало,  
Открыто, без утайки и без страха.  
Осмеянным остаться, как бывало?  
А жизнь моя как шапка Мономаха -  
Мне не под силу, право слово,  
О чем твержу - и слепо, и не ново.  
Не жду- и жду - приятных перемен  
В моем плену средь падающих стен.  
\* \* \*

*Сестре*

Я помню детский сад,  
А ты была зануда,  
Привреда, точно яд,  
И что взялось откуда?  
Как годы утекли?  
Тебе уже двадцатый,  
Невеста. Вот и ты  
Как все, не виновата...  
Случилось незаметно.  
Все маленькой была  
Все хныкала - «конфетку»  
И за руку брала...  
\* \* \*

Случилось так: не состоялась встреча.  
Перечислять не буду всех причин.  
Ведь главное, что в этот зимний вечер  
Я здесь совсем один...  
Не повезло кому-то: не дошла.  
А может и не шла, устали ноги,  
Я ждал-не ждал, а жданье как игла  
В глаза впивалось узостью дороги!  
Я ждал-не ждал, я верил и устал,  
Неверие - безболье в суматохе,  
Мне виделось начало всех начал  
И никчемушье- каменные охи...

\* \* \*

*Сестре*

Разве можно забыть,  
Что любовью зовут?  
Поцелуй, объятия, руки.  
Разве можно забыть  
То, чем люди не лгут?  
Может, выдумали от скуки?  
Но от первой любви  
В сердце вечная рана.  
Не проходит она никогда,  
Как ни странно...

\* \* \*

*О. Смирновой*

*(«Очередной быть у тебя-  
какая роскошь...»)*

Быть первой у тебя - как это мило,  
Тем более, когда сама любила.  
Неравенство - оно моя беда.  
Нет, не пойду я замуж никогда.  
Хотя надеюсь - может, иногда  
И совпадет былых любимых счет...

\* \* \*

*Из письма Тоне:*

*«...У меня вроде Света не вякала, а не успела ты уехать - и началось... Хоть в самом деле в тюрьму садись, вешайся, вообще домой не ходи. Ты все-таки там попроси, может, рассчитают тебя. Приезжай, а то жить невозможно...»*

Как часто Ложь и Правда вместе спят,  
Переплетясь, идут в обнимку рядом,  
Как часто смотрит Ложь нахальным взглядом,  
А Правда виновато прячет взгляд.  
Так часто Ложь ласкает наши уши,  
А Правду просто слушать не хотят.  
Как часто Правду всю не говорят,  
А Ложь себе вбивают в души.

\* \* \*

Кто много пишет, говорят: «велик».  
Я подражаю, темными ночами  
Я бьюсь со словом, я к столу приник,  
Над каждой запятой, над мелочами.  
Кто сильно пишет, говорят: «велик».  
Всю душу в строки я вложить старался,  
Добро бы вверх... напрасно убивался.  
Просветов нет, я головою сник.

\* \* \*

Полночных снов опасные полеты.  
Непредсказуем тот, кого ты ждешь.  
Мы с жизнью так безумно сводим счета,  
А он - во сне - по прежнему хорош,  
По-прежнему такой родной и чуткий...  
Одна проснешься - явь, кошмар, и жуткий  
Миг пробужденья ты считаешь сном,  
И явью - сон. Две истины бесспорных,  
Две толики самой себя упорных..

И ты - к столу, забыв порядок, дом -  
Писать письмо. Как все это нелепо.  
Мы в ревности любовь ломаем слепо,  
Но в гордости идем с надменным видом,  
И путает нам с явью сон - обида...

\* \* \*

Отгорели розовы закаты,  
Унеслись в неведомую даль.  
Где любовь хранится у солдата,  
Целый месяц в сердце боль, печаль.  
Милую, родную, дорогую  
Не увижу больше - потерял.  
Инеем покрылось, почернело  
Все, что крепко к сердцу прижимал.  
Отголоски молодости юной  
Лишь во сне приснятся ночью мне.  
Будешь ты такую же любимой,  
Буду снова думать о тебе.

\* \* \*

Все кричат - почет и уваженье...  
У меня - к другому нетерпенье.  
Женщину б желал иметь такую...  
Может быть, не очень молодую...  
Чтоб любила... Чтобы я любил...  
Чтобы мы друг друга понимали,  
Позабыв, наверно, все печали...  
Как любовь я, право, позабыл!  
Может быть, еще не родилась  
Та, за кем я и помчусь вдогонку...  
А любовь во мне оборвалась,  
Заблудилась на чужой сторонке.  
Лишь мечтаю. Гаснет мой костер,  
К сердцу - будто осени прохлада.  
Кажется, мне никого не надо,  
Лишь бы сын... О чем же разговор...

\* \* \*

Мне что смерть пережить  
Что погибель невесты -  
Что на горло ступить  
Своей собственной песне.  
Можно слезы пролить  
По любви опустевшей,  
А потом снова жить  
От нуля и безгрешно.  
Обмануться в любимой -  
Нету горя страшнее,  
Ярко-красной рябиной  
Боль в душе пламенеет.  
Как же новой любви  
Можно будет поверить,  
Если сердце стучит  
Пустотой, недоверьем?  
Не хочу этих роз  
На могиле забытой,  
Нет ни слов, нет ни слез -  
Все обидой убито.  
Дом, что радость дарил,  
Как огнем полыхает...  
Я живу, но не жить -  
Я о смерти мечтаю.  
И занозой стальной  
В сердце горечь разлуки:  
Как забыть голос твой,  
Эти нежные руки?..

\* \* \*

Для высших я бесплотен,  
Для ровни я велик...  
На деле ж как в болоте  
Подраненный кулик.

\* \* \*

Противен быт. Ужасна маета -  
Как долго я изображал шута.  
Как много масок разных примерял,  
И в зеркалах себя не узнавал..  
Сорвать и бросить, и топтать ногами,  
И быть собой хотя бы здесь, вот с вами,  
Распрямить плечи, стать повыше ростом,  
Хоть быть собой уже не так и просто.

\* \* \*

Ты связалась с поэтом -  
Смотри же, придется поплакать.  
Жизнь как осень постелет  
Меж нами пурпурную шаль.  
Мы по ней побредем, ты - кляня,  
Я - приветствуя слякоть,  
Ты - крича, я - смеясь,  
Разрывая на части печаль.  
И гадай не гадай -  
Все поэты отчасти пророки,  
Все чуть-чуть колдуны,  
Мудрецы, а в любви и глупцы.  
Между нами ковер  
Как цыганская шаль. Мы жестоки,  
Мы на листьях стоим и грустим  
Все, что я попрошу,  
Все исполнится без экивока.  
Но тебя я прошу  
В год Барана и Белой Овцы.

\* \* \*

Совместная постель... и стол... пока,  
Но как в объятьях леденеет тело.  
Влюбленный так похож на дурака...  
Обманутый вдвойне, а сердце пело.  
А сердце ждало ласки и тепла...

И только мать всегда детей ждала.  
Дай Бог ее ничем бы не обидеть!..

\* \* \*

Ты говорила: «Я тебя люблю!  
Все будет так, как ты захочешь, милый...»  
То на колени, то к ногам садилась,  
А я сидел холодный и унылый,  
Сказать тебе не в силах «не люблю».  
Зачем пришел? Зачем смутил покой?  
Когда глаза другие помнит сердце,  
Когда мечтаю о совсем-совсем другой...

\* \* \*

Не заметил, когда тридцать лет пролетело,  
Сыновья подрастают и рядом жена,  
Сон один разноцветный смотрю то и дело -  
Я ребенок совсем, рядом мама моя.  
В этом сне папа с мамой совсем молодые,  
Все мы трое детишки, и брат, и сестра...  
Но проснусь и не знаю, где года золотые  
И давно у отца в голове седина.  
Как мне вас не хватает и как вы далеко.  
На минутку бы к вам прилететь.  
Может, сразу бы стало не так одиноко,  
Если б смог я вас сердцем согреть...

\* \* \*

Ценой безмерной довелось и мне  
Платить, когда настали дни расчета,  
И не сгореть на адовом огне  
От этого безбожного просчета.  
И расплатившись с горюшком сполна  
Стою и жду на мрачном перепутье:  
Вперед- дорога черная страшна,  
Назад - стена туманов жуткой мутью...  
А сын растет не валко. не спеша.  
Беда бедой. Ее важнее - дети.  
Смотрю на сына. Все же хороша  
И горькая, но жизнь на этом свете.

\* \* \*

Казалось нам - учитель пошутил,  
Когда о счастье мы его спросили.  
Мы молоды тогда, наивны все же были,  
Но это я теперь лишь ощутил.  
Сказал учитель: «Каждому свое.  
Кому жена, друзья, опять же дети,  
Кому работа, а кому жилье,  
Кому-то сон на старенькой повети...  
А поточнее если говорить -  
Стремление к счастью счастьем называют.  
А счастливы-то все, пока о нем мечтают.  
Несчастливы, если не о чем тужить».

\* \* \*

«Плевать, что провожают по уму,  
Когда автомобиль имеешь новый,  
Не верю я, что можно ранить словом,  
И честность с бескорыстьем не пойму...»  
Я, выслушав, завыл, как в стужу волк,  
Хотя и никому не слышным воем,  
Но друг сказал: «Мы ничего не стоим,  
Когда в нас голос разума умолк...»  
\* \* \*

### Родился стих

Носил его, как роженица плод,  
Тревожился при каждом шевеленьи,  
Непроизвольно торопил мгновенье,  
Когда казалось, что вот-вот пойдет.  
А выродил - убогость, недоноска!  
Так в стену, чтоб посыпалась известка,  
Свое дитя в обиде оттолкнуть?  
Нет, не по мне, придется как-нибудь  
Принарядить. Чуть помоднее шапку,  
Ну, а потом схватить его в охапку  
И вытащить на свет, на суд людской  
И про себя мечтать: «Не на потеху».  
Выискивать хоть в чем-нибудь утеху,  
Ведь каждый стих как будто сын родной.  
\* \* \*

«Нет, не любовь и не расчет, конечно -  
Она смеялась искренно, беспечно, -  
Нас ныне чаще замуж выдает  
Ни что иное, как простой «залет».  
Из ста две трети, может, больше даже.  
А часть из этих так вот залетевших,  
Любовь потом, поздней уже накажет,  
Положит на лопатки захмелевших.  
И я одна из них. Есть дети, муж,  
А счастье в том, другом - не просто жить,  
Когда увы, уже не можешь не любить.  
Замкнется круг? - Пораним много душ,  
Его жены, детей - женат «злодей» -  
И мужа моего, моих детей.  
Так и живу. Ужасна злая кара  
За прежнюю беспечность... и удара  
Невыносимей нету и больней!»

\* \* \*

Вчера цветы. Сегодня пустота.  
Магнитофон еще хрипит и лает.  
Боль в голове и в теле ломота  
Желанье спать и спать не отпускает.  
Вчера гостили - на квадратный метр  
По два, а то и по три ухажера,  
Скромняги. После - свиньи, гаже нет,  
Пошлее не слыхала разговора.  
Подружкам даром. Все же мужики!  
И сами пили - обнеси попробуй,  
Потом валялись как половики -  
Топчите, плюйте, вытирайте обувь.

Общага. Ох ты, молодость моя.  
Уж замуж, что-ли, выйти поскорее.  
В непраздники и то живу светлее...  
А отколоться - значит, «не своя».

\* \* \*

Расхожих истин громкие слова -  
С больших трибун течет вода пустая!  
Очередной оратор, подслащая -  
Уверен, что взойдет лишь «трын-трава».  
Каким путем идти моей стране -  
По колее иль чащею ломиться,  
Не знаю, но уверен я вполне -  
Пустой водой народу лишь травиться!  
Как прежде обещания в цене!  
Когда не выполняются они,  
То результат - слепое безразличье...  
За то, что хаос воцарил в стране -  
Народ, проснувшись, грозно обвини  
«Каркуш», но в человеческом обличье.

\* \* \*

На посошок плесни, судьба, удачи,  
Не пожалей рискованных затей.  
Швырни к чертям собачьим незадачи,  
Чтоб зажилося полней и веселей.

\* \* \*

О чем-то вечном общие слова -  
Коклюшная отхарканная сущность!  
Еще одна закончена глава,  
Заклучена в колючую окружность.  
Здесь все мое, заборы и столбы  
И одинокость та же, безысходность.  
Соседи здесь коварны и грубы,  
Но иногда играют в благородность.  
За проволокой лучших на распыл,  
И быт как зной печет в жару без ветра.  
Лишь два шага до темноты могил,  
А до свободы - леса кубометры...

\* \* \*

Мелодия дразнила душу мне,  
Твои глаза блестели в полутьме.  
Причудливых оранжерей зиме  
Не занимать - все стекла в орхидеях.  
Мы танцевали, то ли в полусне,  
Мы просто плыли в дьявольском огне -  
Два паруса в безветрие на реях.  
И мне казалось - вот она, сирень,  
Хотя мы обещаний не давали  
И по углам, клубясь, взрывалась тень,  
Непроизвольно губы губ искали.  
«Ну все, ну все,» - твердила ты, душа,  
Ночная и податливая флейта.  
Былая злая тяжесть документа  
Забывлась, жизнь казалась хороша.  
...Я видел сны - овал лица, глаза,  
И руки жестковатые и ласки  
Не знавшие, наверно. Небеса  
Шутили, видно. Было все! - Но в сказке...

\* \* \*

## Каменный пляж

Вода и время камни шлифовали.  
И вот он, пляж, убогий и пустой.  
Окатыши ценились лишь вначале,  
Когда они собой напоминали -  
Издавека, но слиток золотой.  
Вот так и мы - окатышами стали  
От радости, скатились до печали,  
В пути теряя ценные углы,  
Что бликами алмазными играли.  
Мы это бесподобье потеряли,  
Хотя пыхтели жаром, как котлы.

\* \* \*

Какой оставят след мои слова?  
Насмешки едкой я вполне достоин.  
Я в осажденной крепости - не воин,  
Не сердцеед... Я целый год ношу  
В себе свое - брожу вином в бутылке,  
Но тесно чувствам - мелочи в копилке  
И вот я против истины грешу!  
Бутылка лопнет, если не открыть,  
И как ни жаль, копилку нужно бить,  
Чтоб вынуть мелочь... О какая грусть.  
Откроюсь я и значит - разобьюсь!

\* \* \*

Довольно мне скользнуть по мелочам  
И наряжаться в пышные одежды.  
Ты на земле, но никакой надежды  
На что-нибудь, и я по кирпичам  
Готов разбить убогое жилище,  
Где я скудею мыслью с каждым днем!  
Ты не со мной и без тебя я нищий!  
При встречах оба мы улыбки шлем...  
Какая мелочь! Раздуваю пламя,  
Змеюсь в полете вспыхнувшей свечи,  
И даже ветер крутится меж нами,  
И шепчет в уши звуком: «не молчи»...  
Но я труслив. Неменя, все решаю  
За нас с тобой и ты меня поймешь.  
Тебя я взглядом издали ласкаю,  
Ты на земле не для меня живешь...

\* \* \*

И я бы, может, снова начал жить,  
Где ты и кто ты - та, что мне навеки  
Судьбою предназначена. Я веки  
Прикрою, вижу - мне б тебя любить  
И быть с тобой всегда, везде и рядом...  
Но не пойму - кого ж я вижу взглядом.  
Бесформенность, какую не забыть  
И не запомнить - кто она такая...  
Я ничего уже не понимаю,  
И снова жду, а жду кого -  
Одну ее из общей серой массы.  
Так выбирают гривенник из кассы  
На сдачу покупателю - бегом,

Уплачено и никакого счастья,  
Лишь пятаки, а гривенника нет.  
И мокнет за окном трава... ненастье...  
А в комнате засушенный букет.  
\* \* \*

О чем еще не говорили мы?  
Какое слово счастье обещало?  
Черемуха цвела среди зимы,  
А к лету цвет разлукой оборвало....  
Что нежность - паутина по углам...  
Я пью, чтоб медом жизнь казалась вам...  
\* \* \*

## Письма

(1990-1993г.г.)

Здравствуйте, Галина Александровна. У будущего «неплохого автора» очередной заскок. Хотя вполне возможно, что не заскок, а наоборот. Поясняю: заскок, это когда рвешь всю писанину... в общем, я запутался - если у меня случился заскок, когда я впервые взялся за ручку, то теперь, значит, не заскок, а возврат на землю, к нормальному состоянию пишущего человека. Выходит, что писанина была для меня своеобразным щитом.

Я жил мыслями среди моих героев: ждал любовника, как та баба с комодом <стихи из сборника «Дверца»>, ехал вместе с Росляковым в Петрозаводск, не зная, что там ждет, боялся, но шел Колькой Канюковым в баню <«Камушек с серебряными пятнами»>, с Озерцовым бродил по лесу, с Валентином жил у деда Матвея <«Приснились лесные страсти»>, летел на похороны с Сережкой Басковым <«Фиолетовое солнце»>.

И еще со многими, о которых вы не читали, потому что я не написал, но знал их, хотел, видел, чувствовал, помещал их в ту или иную ситуацию, сам за них болел, желал выйти людьми и помогал, чем мог...

И не написал, и вряд напишу, - изорвал почти все, что попало под руку, оставил только Рослякова, потому что обещал вам дать почитать. Но я его так забросил и он, бедный, <остался> в Волховстрое - на полпути из Петрозаводска в Вологду.

Так и я - завис. Нельзя жить там - все-таки по земле ходим, а здесь тоже невозможно жить, улыбаться, здороваться, работать и думать, что все прекрасно! Вы на коленях - я в темном дупле...

Но с коленей можно встать, встать самой, без чьей либо помощи и жахнуть кулаком по столу... А вот из дупла самому не выйти, да и выхода два - либо не писать, либо, напротив, писать - ни того, ни другого, оказывается, не могу... Колька вот говорит - просто нужно завести бабу и будет все чики-чики, незаметно и естественно все решится само...

А сегодня мне приснился сон - меня манила, махала мне рукой с балкона девочка и я полез, полез прямо по стене, а дом высокий - вот-вот, а она, когда почти дотянулся снова звать, стала, но уже снизу, с земли - я обернулся и сорвался. Так ясно видел себя всего окровавленного на траве распротертым, почему-то в мотоциклетной каске. Кого-то очень знакомого напоминала девочка, а кого, я так и понять не мог. Отнимаю у вас время, несу всякую чушь, зачем?

Все-таки Рослякова я вам отдам почитать, пусть и черновик, пусть и без конца, пусть и ересь, зато потом я забуду о нем без сожаления, а Клара так напоминает Вас, хотя это случилось произвольно. Внешне, когда пытаюсь представить своих героев, то Клара похожа на вас и никак не могу от навязчивого образа освободиться.

Какое глупое письмо!

Какая Марья без Ивана!?

Какой барыш, да без обмана?

И как без холода зимой?

Любая маленькая радость

Раздуется, как детский шар,

Коль до нее была печаль...

Спасибо Вам - на настоящий момент вы - единственный человек, с которым я могу болтать о чем попало - это оказывается так необходимо - выговориться, поплакаться, а назавтра, может, и позабыть... О чем так плакала душа. Извините.

\* \* \*

Здравствуйте, Галина Александровна!

Вы очень ловко увели меня от разговора о Вашем рассказе. В чем тут соль? На мой взгляд дико то, что мы чеканутым считаем человека способного или взваливающего на себя ношу, ваша героиня - одна из них, а мы-то считаем ее переживания ненормальными, а нормальным, если кто-то не хочет

валандаться с детьми не только чужими, но и своими. Вот вся суть - так куда, куда катится все наше хреново социалистическое общество? Ненормальные и нормальные. Кто для себя, кто для всех. Как лучше? Кому это нужно - будут ли сдвиги к тому единственно верному стержню? - без рассказов, подобных вашему - вряд ли. Как бы он ни был изложен - имею в виду те переживания, отсутствием которых вас попрекнули - пусть они и остались за кадром, но они ощутимы, они чувствуются - так я считаю. Так и налицо вся дикость истинного положения вещей в нашем обществе. Читать, а тем паче воспринимать написанное, тоже нужно уметь. Согласны? Мы не умеем, да зачастую просто не хотим. У нас - у большинства по крайней мере, такой принцип - а, Щекина? - чего она там может хорошего написать? - и не глядя, мельком по строчкам - чвирк, чвирк глазками и понятно, ничего не увидели. Ценим безоговорочно тех - многотомников и уже более-менее признанных, а таких, которые рядом - начинающих, пытающихся сказать Слово - не замечаем, не ставим ни во что - согласитесь, зачастую это так. Вашу мысль я нарядил по своему - бескультурье, что поделаешь - детективы подавай читателю. Потому у нас многие авторы пробиваются слишком долго и трудно, а некоторые вообще бросают писать. Но жизнь будет называться жизнью до тех пор, пока она, пока в ней все разнообразно, если же все и у всех будет одинаково - это конец. Сплошная армия, сплошной детектив - а жизни-то нет. Не знаю, поймете ли вы то, что я хотел выразить здесь, но говоря яснее - у меня интерес вызывает разнообразие. Наплевать мне на все литературные уровни - лишь бы я понимал автора. Бывает, возьмешь книжку стихов какого-нибудь признанного, а читать не можешь, если не улавливаешь в стихах чего-то этакого, так все и пройдет мимо, а то попадетя несколько слов непризнанного, а в памяти застрянут и всплывают, хоть бы ваше, к примеру:

Да не заменят тающую страсть,

Слепая сила, грубость и обида... и т.д.

Надеюсь не зазнаетесь, а, Галина Александровна, когда вас признают массы? От всей души желаю вам творческих успехов, да не слушайте никого - ни кукушек, ни петушков,

пишите так, как считаете нужным, раскованно и все будет о кей!

21 марта 1990г. М. Жаравин

P.S. Хотел сделать приписку, что критик из меня хреновый, том более цензор-рецензор, но ведь вы извинений не терпите, тогда обходитесь, будьте довольны тем, что я тут навыщелкивал - только общие слова и мало или почти никакой конкретики...

\* \* \*

Галина Александровна, каждый судит обо всем в меру своей испорченности. Что вам моя похвала (это я о рассказе)? Я ведь не критик, не редактор. Хотелось просто сказать больше о чем? То, что вы написали и отдали на суд читателю, уже принадлежит не только вам, но и читателю. Он вправе (если, конечно, ему будет интересно то, что вы написали) - что-то свое <искать> в вашем рассказе, и может, не совсем то, что хотели сказать вы - беда ли это? - думаю, нет.

Этот ваш рассказ <рассказ «Прогон» из «Перекрестка любви и печали»> я бы, наверно, с интересом дочитал еще один <раз>, это уже что потом могло быть (скажем, Степан женился-развелся, ударился в политику или еще куда) - что-то в этом роде. Зина у вас, конечно, раскрыта очень хорошо - интересная женщина и я бы так сказал, через мелочи, доходчиво и удачно. Вы хоть и кончили на том, что она осталась с Кондауровым, но у меня такое ощущение, что она все же с ним не останется. И почему-то делается жалко их всех. Так, наверно, в жизни и бывает.

Вот вы мне сказали - ругай, мол, если есть за что, да я и не вижу ничего такого, за что ругать. Дело такое - что вижу я за этим рассказом - равнодушие ваше, есть в рассказе душа, она чувствуется, чувствуется. Сострадание - какого я не чувствую у «боссов». Что я хвалю - не обращайтесь внимания, ценитель я не очень. И через мои высказывания вы лучше узнаете меня.

А я живу на пару с неприкаянностью. Если бы не сын, давно бы уехал куда-нибудь.

\* \* \*

Галина Александровна, здравствуйте. Пришел я на Лито в последний раз. «Не для меня это», - думал. Вдруг являетесь вы. Взбалмошная такая, начинаете мне горячо доказывать: «Это поэма»... Заводите разговор о книжке самиздатовской.

Вольно или невольно, но вы меня завели, завели как часы. Я начал тикать - писал, писал и писал... До отупения, до одури, до изнеможения... Перечитывал, рвал и писал снова. Вы не давали мне встать <остановиться> - подгоняли, уговаривали подготовить рукопись на семинар, благодаря которому два стиха опубликованы в «В.К.», в «В.П.» подборка и рассказ - опять же благодаря вам. Выступление на радио. Не знаю, оправдаю ли я когда-нибудь ваши надежды - буду ли и в самом хотя бы неплохим автором, но без вашей помощи или участия не было бы и того, что есть. Иногда хочется порвать все, что написано и никогда больше не писать. Сам себя сравниваю с начинающим канатоходцем, посредине дрожащего каната, ногу занес, а страшно... Вперед страшно, назад неудобно....

Ваша подруга охарактеризовала мою писанину как «стриптиз», за который потом будет стыдно... Неужели в самом деле будет? Хотел написать ей записку в связи с ее отзывом, потом передумал (зачем беспокоить человека?). Жалко только, что на листочках ничего не почеркала - все равно ведь черновой вариант - было бы ярче, емче, цельнее, мне пользы было бы больше. Но даже за то, что отзыв написала, я ей благодарен. Заинтересовало, значит; когда безразлично, то не только писать - говорить не хочется...

Мне вот почему-то стало казаться, что все происходящее (сама жизнь в том или ином роде) предопределено... Будто кто направляет, ей Богу...

Делается грустно, ощущаю какую-то опустошенность и никчемность - вижу себя мальком, ищущим свое место в этой жизни, но напрасно. «Малек» вынес из юности безудержную жажду настоящей любви. «Малек» вырос, но в жизни все гораздо сложнее. Любовь зачастую граничит с подлостью и предательством, безответственностью и беспечностью, с глупостью, ревностью, мстью и желанием принимать мираж за действительность, считать огнем давно остывший пепел, и даже

чувствовать, как он греет и не видеть и не слышать ничего другого. Извините за такое глупое письмо.

М. Жаравин, 12 ноября 1990г.

\* \* \*

Прочитал и вспомнилось цветаевское: «Спасибо вам и сердцем и рукой За то, что вы меня не зная сами...»

Первая любовь! У кого ее не было? Не могу вспоминать свою «первую» без чувства омерзения к себе.. Девочка смотрела мне в затылок на уроках, от ее взгляда у меня краснели уши и мерзла спина. Потом я получил ее письмо. Было у меня такое место за печкой, мы там даже иногда покуривали на переменах, открывая окна, закрывая двери на ножку стула. А еще там сплетничали, говорили о девочках пошленькие слова, травили анекдоты. Письмо мы читали и гоготали как гуси на весь класс. Она ушла с урока. Неделю не посещала школу. Отличницей была, а тут сплошные двойки, к доске выходить отказывалась. Глаза красные, опухшие веки. В конце года они вообще уехали из деревни - вся семья.

Потом через два года встретились - я ее не узнал. Самое смешное - она забыла или простила. Я бы мог, наверное, стать ее поклонником - не захотел. Это ее обидело больше, чем та моя подлость. Господи, как меняются люди... У меня неосознанное до конца чувство вины. Она замужем, муж хром. Трое детей - и наплевать ей теперь на все любви. Семнадцать лет не было, как вышла, даже медучилице бросила. Ничего не было «такого», маленькие мы были, а помню.

Со второй все проще - случайно встретились, на Новомодном балу был. Шел приглашать на танец через весь зал одну приятную одноклассницу, которая мне нравилась, а ее увели из-под самого носа. Она, «вторая», рядом с ней сидела. Сумел перестроиться и сделал вид, что ее и хотел. Потом танцуя, заметил - она просто млеет. А одноклассница за ширмочку исчезла с танцором. Ну и (зачем?) пригласил эту прошвырнуться. Так и гулять начали. Два года с лишним все чисто было, честно. Потом я уже работал, а жила она за 30 километров, так я после работы на попутках к ней, ночью обратно или на велосипеде или пешком, чтоб к работе к семи

утра поспеть. Раза два-три в неделю встречались. Ну как-то не ждала она - во вторник ночью я ушел, а в среду снова к ночи заявился. Молча ушел - не одна была. Сам кутил почти неделю у друга, много тогда друзей у меня было. А она меня, говорят, искала, и домой к Кольке ездили, он в другом поселке в школе учился. И по моим друзьям, которых знала... Весной было, в мае. Письмами забросала. Я молчал, легко ли... Зимой из армии ответил. Когда отслужил, довелось по-видаться... Она уехала, вышла замуж...

А третьей у меня была жена. Тут вы все знаете. Так что невелик набор, и слава Богу. Хватит этого. Удачей считаю, когда мне верят, если я пишу о женщинах в стихах. Раз верят - значит, в жизни это есть.

Рослякова <герой Жаравина> к Упхолову <герой «Графоманки»> не ревнуйте - совершенно разные люди это, даже если бы я Рослякова с себя писал.

Стих очень понравился, как и тот: «Не позволяй мне, бросивши кого-то Лететь к тебе дробиночкой к виску!» Это мне близко, дорого, понятно. Спасибо вам. Простите за глупости.

\* \* \*

<Без начала>

... Вот знакомая ваша Лариса К. Может, я ошибаюсь, но ей ой как худо, хотя внешне полный порядок, дети, друзья. Но внутренне - худо ей очень. Дай Бог, чтобы я ошибался. Мужика ей просто надо, а какого - она и сама не знает... Вот замкнутый круг. У одних все просто, у других сплошная путаница.

Света Савичева во время семинара сказала мне, намекая на личную мою жизнь - мол, клин клином вышибают. А вот представьте чурбан с клином. Второй бьешь клин, чтобы первый достать, а чурбан хряснул, и оба клина пропали - чурбаку-то легче не стало от того, что он надвое разорвался. Лечиться теплом и добротой надо, а где они? Может и есть - не про мою честь. Вот и живу среди моих придуманных героев.

Вот представьте, у вас сильно болит голова, а лекарства просто нет, они вам противопоказаны и организм один на

один <с болью> плюс ваше желание быть здоровой. Голова болит год, два, три - потом можно просто привыкнуть, и когда она пройдет, просто не заметить сразу.

Голова болит, но вдруг на ногу падает кирпич - боль дикая. Про голову вы забыли, а когда вспомнили, то она не болит уже, если и заболит, то вниманья на это не обращаем. Есть более опасная боль - допустим, в нас.

Мне противопоказано употреблять алкоголь, я распускаюсь. Когда трезв внешне, может, по глазам можно судить (вы говорите, «как у раненой собаки»). Провиниться я не успел, но обидно ведь бывает от чего - хочешь так, а не вышло. Больше постараюсь <рукописи> не рвать. Да ведь многое осталось по рукам кое-что. Так что расстраиваться нечего, многое, что понадобится, можно восстановить по памяти - может, только лучше будет.

Интересно, как вы меня хорошим считаете. Даже знаете, какая женщина мне нужна. А ведь я гораздо хуже. Я и нерешительный, и застенчивый, чересчур робкий бываю, и самое главное, порой я до такой степени туп, что глупее не найти. Вот так. А к одиночеству привыкать надо, хотя к одиночеству нельзя привыкнуть.

\* \* \*

Галина Александровна!

Прочитал отзыв Юры Каранина и набрался смелости возразить.

Во-первых, это у вас рассказ, а не повесть <имеется в виду «Аллергия»>. Требовать законченности характера несерьезно, я так думаю - иногда недосказанность много ценнее.

Постельные сцены мне не показались лживыми, мне кажется, каждый об этом судит по своему опыту и... чем он беднее, тем больше нареканий... Я, например, знаю людей, которые сходились еще нелепей, чем твои герои. Наоборот, у твоих Геры и Севы есть в сближении не то чтобы новость, а такое вот сильное желание познать друг друга, друг другу принадлежать, потому что это необязательно крах!

А Тима как раз верно говорит про Севу и отца. Ведь то, что он скажет, от поведения матери зависит на 99 процентов - а Гера по ее характеру, понятно, не станет настраивать

ребенка сама против отца.

Ну, для вас, может быть, мнение Юры Каранина более компетентно. Я плохой критик, этот рассказ мне очень по нраву. А язык вы и сами умеете сглаживать и разнообразить, лучше меня. Всех, кто пишет от чистого сердца, всегда бранили и не принимали. А вы как раз от чистого сердца. Иногда - немного прямолинейно.

Поздравляю вас с новым годом, желаю вам, Сергею Михайловичу, детям - здоровья, всего, всего, всего.

М. Жаравин. 28.12.91г.

\* \* \*

Галина Александровна! Перевернул все вверх дном, черновики нашел, но! В общем, тут, возможно, не совсем то, что нужно, а навести лоск, добить до ума (как мне-то хотелось) - я никак не успеваю, не смогу. Смотрите сами (и нельзя так вроде бы, да что делать, коль обещал), что удобоваримее, кажется второй вариант вчерне, но он тоже не прописан, зато хорош... Если что, позвоните Марюкову <в редакцию «В.П.»> в пятницу я, наверное, буду работать в 1 смену, так Саша сможет мне передать ваше мнение <речь о незаконченной повести «Равновесие»>... Желаю здоровья и успехов. За сим Жаравин Миха.

\* \* \*

Основную мысль вы уловили верно. Слишком много я захотел слишком быстро, а так бывает редко, даже таланту большому нужно время, чтобы проявить себя. А я? Вот я и подумал - КУДА Я ЛЕЗУ!!! Со своим детским никому не нужным лепетом. А писать, писать хочется, даже больше, чем раньше, и вроде есть о чем... Это наверно невозможно. Писать хочется хорошо, ярко, чтобы людям, т.е. читателям нравилось. А просто для себя - я ведь и так знаю то, о чем пытаюсь сказать...

И еще - вы меня убили наповал! - черной рубахой. Примерно то же советует Клара Рослякову - «Выступай, выходи на сцену в черном». Да этого Рослякова я кроме вас вряд ли буду куда выносить, как и те парочки.

Из личного опыта. Женщина, которая говорит в глаза мужу об этом - вы понимаете? - вряд ли способна на такое на

самом деле. Просто слова. Чаще такое происходит с теми, кто клянется «Что, я? Да ни с кем!» - и т.д.

Это мое, конечно, мнение... Все. Спасибо.

P.S. А стоять у могилы мы можем. Нам бы научиться живых любить, беречь, чтобы не выть потом, слез волчьих не ронять. Про жизнь на четвереньках вы тоже зря - по этому поводу убедительные слова А. Швецова на семинаре: «Докажу делом...»

Я, конечно, громко так заявлять не хочу, но писать-то в конце концов никто не запрещает, как и вам, надеюсь. Запрещают если, то не унывайте, запретный плод слаще - опять же народная мудрость, хотя и трактовать ее можно двояко.

Знаете, о чем я думаю?

Если когда-нибудь мои дети скажут: «Каков бы ни был наш батька, а другого не надо...». Счастьем буду считать...

М. Жаравин.

\* \* \*

**ЧАСТЬ III**  
**О Михаиле ЖАРАВИНЕ**  
**Статьи**  
**посвящения**

Нина Веселова

## НЕРАЗДЕЛЕННОЕ

Хотелось начать с банальных слов «судить о Михаиле Жаравине как об авторе...». Однако голос свыше вовремя остановил: «Кто ты такая, чтобы судить? О нем или о ком-то другом?» И я тотчас свернула с опасного, неверного пути.

У нас принято, вопреки одной из главных заповедей, обо всех и вся судить по всякому поводу. И в литературе тоже. Не в смысле осуждать, винить, а взять и расставить все в том порядке, какой представляется идеальным именно нам. И этот процесс расставления-оценивания доставляет неопишемую радость, иначе не брались бы мы за него с таким наслаждением. Но даже если нам кажется, что за той правдой, которую отыскиали и отстаиваем мы, стоит и Его, Высшая Божья Правда, то это не совсем так. Всякий живущий - так же, как и мы, - Божье творение, и его правда, пусть и сиюминутная, сегодняшняя, преходящая, не менее важна ему - и вселенной! - в процессе поисков им тех путей, которые воссоединяют нас со Всевышним. Вот почему мне мечтается, что каждый взявший в руки эту книгу увидит за ней не писателя - хотя и его тоже - а прежде всего безграничный, неповторимый и неизъяснимый мир человеческой души. Все, что собрано под этой обложкой, дает для этого достаточные основания.

Увы, случай сей, когда автор выходит в читателю сразу большим сборником, к которому сам он уже ничего не сможет добавить, не редкость в литературной жизни. И причин тому - подвластных нашей воле и не подвластных - немало. Однако этот пример и уникален по-своему, как уникальна жизнь каждого человека, несмотря на внешнюю схожесть составляющих ее событий-вех. А потому взгляды в нее попристальней, чтобы при возможной встрече с аналогичным явлением не пройти мимо и оказаться в нужный момент рядом, и не дать песне оборваться на полуслове.

Многим излишне взыскательным читателям может показаться неуместным включение в сборник всего, что удалось добыть составителю, без отсеивания вещей явно слабых, ранних или недоработанных. Оставим за ними право на такое мнение. Мне же, в свою очередь, хотелось бы подойти к содержанию книги так, как подходил к литературе сам Михаил Жаравин и о чем он высказался в одном из писем к Галине Щекиной: «Наплевать мне на все литературные уровни - лишь бы я понимал автора». Поймем же и мы. Как и то, что перед нами редкая возможность проследить талант в развитии, угадать, какие строки были первыми, и как преобразовались впоследствии, когда молодой писатель научился те же

чувства передавать более профессионально. Интересуются же специалисты черновиками классиков! Понятно, на то они и классики. Но не будем забывать, что первые шаги любого человека, и автора тоже, начинаются с ползания на четвереньках. И как знать, до каких классических высот мог подняться талант Михаила Жаравина, будь отпущена ему жизнь подлиннее и посласластней.

На собственном опыте и на опыте многих пишущих собратьев я познала все «прелести» пренебрежения или нечаянного равнодушия более зрелых коллег к тому, чем ты мучаешься. И потому вижу в судьбе Жаравина горький отголосок той странной, нелепой несогласованности, которая существует в среде, где, по идее, должны бы пестоваться творческие души. Тем более горький, что потенциально Михаил, похоже, был одареннее большинства.

У многих признанных, увы, бытует убеждение что начинающих нужно топить, как котят, отбивая у них желание писать. Если суждено, они всплывут и будут создавать настоящие вещи, а нет - и жалеть не о чем. Однако на всякую идею всегда есть прямо противоположная. Вспомним хотя бы высказывание о том, что «талантам надо помогать, бездарности пробьются сами». И если бы не встреча, благодаря «Вологодскому подшипнику» и литобъединению, с Галиной Щекиной, неизвестно, насколько тоньше была бы эта книга Жаравина. «Ценим безоговорочно тех - многотомников и уже более-менее признанных, - сетовал он, - а таких, которые рядом, начинающих, пытающихся сказать Слово, - не замечаем, не ставим ни во что... Поэтому у нас многие авторы пробиваются слишком долго и трудно, а некоторые вообще бросают писать».

Да, областные семинары, да, литературный институт, заочное отделение... Но это так мало, так ничтожно для усмирения, для направления того всепожирающего огня, который горит в душе творческой личности! Вы сами посмотрите на жаравинские стихи - это же документ, печальный, будоражащий, зовущий кричать. «На верхней точке мне никто не рад, Да и внизу совсем не понимают!» Внизу - это в тех буднях, в той обыденности, в которой вынужден, как всякий человек, существовать талант. Со всеми помрачениями, закидонами, апатиями и вдохновениями, влюбленностями и отключками он никак не вписывается в ровное течение жизни и отторгается им как неприспособленный к ней, как шарахнутый. Но если вдруг оказывается, что в тот момент, когда он в очередной раз устремляется наверх с надеждой быть принятым и понятым, если оказывается вдруг, что и там ему «никто не рад», это - крах. Быть может, не скоропалительный, а затяжной, запойный, но неизбежный. («Не восхождение путь мой, не прямая, А ломаная. Каждый угол - спад».)

Меня могли бы упрекнуть в предвзятости суждений или подспудном отстаивании собственных или чьих-то интересов, если бы опять же не стихи и письма Михаила, в отличие от прозы, приоткрывающие завесу над тем, что творилось в его душе. «КУДА Я ЛЕЗУ»!!! Со своим детским, никому не нужным лепетом. А писать, писать хочется, даже больше, чем раньше...» Только почему - с «детским лепетом»? Ведь ему уже за тридцать! И почему - «никому не нужным», если внимания было достаточно? «Я много раз пытался не писать, но что-то гонит, что-то заставляет. И по ночам с кровати поднимает...» Пусть это не шедевр стихосложения, но это исповедь, важная нам сейчас.

Значит, сомневался, значит, не верил в свои силы, что обыкновенно для творческой личности в определенные периоды. «Стихи мои калеки». «Я деспот и палач, но горько мне Казнить стихи за собственное «не»... Как же так, что никто не подсказал, что это - болезнь роста? А если подсказывали, то мало, неубедительно, иначе не пытался бы человек бросить писать, не рвал бы свои бумаги, не жег бы, не ел бы... Вот и получается, что чаще подсказывали те, кто окружал его в обыденной жизни, внизу, те люди с ограниченными запросами и вопросами к жизни, о которых он потом расскажет в своих рассказах. А они предлагали простое земное решение: «Завести бабу, и будет все чики - чики!» Вот и метался он, путался в любовях, пытаюсь облегчить сердечную рану. Добрым-то людям казалось, что из нее хлещет обычная дурная кровь, а это была - литература, пропитанная кровью.

Мир так устроен, что каждый призывается в него для чего-то. Когда же человек определяется с Божьим даром, то в любом деле к нему приставляется мастер, который обучает ремеслу, и не от разу до разу, а долго и кропотливо, как нянька. Так и в творчестве. Молодому автору необходима опытная и терпеливая повитуха, которая будет лелеять его до тех пор, пока он не родится окончательно и не будет способен отстраниться от прожитого самостоятельно, дабы обречь его в слово. Михаил же даже в обыденности находился еще в той стадии, когда не чувствовал прочной опоры под ногами. У него не было настоящего тыла, каким для большинства творящих является семья. «Багаж побед - истасканная сумка. Я с нею вместе сердце потерял... Я слишком слепо чувствам доверял». «Как это надоело! Правый боже, лиши меня моих нечистых чувств!» Он - может быть, только сам себе - сознавался в стихах: «Не знаю, куда я плыву... Когда долгожданная твердь?». Он так жаждал кого - то, кто помог бы ему перенести с достоинством и надеждой «взросления жар и остуду!» Но не было постоянно такого человека. «Я в темном дупле» - сознавался он.

Я нарочно не обращаюсь за цитатами к прозе Жаравина - и потому, что отдельный и слишком большой разговор, чтобы затевать его здесь, и еще более потому, что это - особый пласт его творчества, насколько приоткрывающий, настолько и затуманивающий его человеческую сущность.

Все, что им было создано, насквозь пронизано его обиженными, открытыми чувствами, как пронизан корнями бесчисленных растений каждый ком живой земли; и в то же время - каждое растение в нем своеобразно, отлично от другого и по форме, и по цвету... Поспешного и случайного цитирования его проза не потерпит еще и потому, что едва ли не каждый зрелый рассказ достоин специального исследования - и по тем пластам бытия, какие в нем предстают, и по характеру, и по языку. Но основную и приятную сложность для изучающего составляет попытка разобраться в хитросплетениях судеб жаравинских земляков.

Даже в сказках и больших фантазмагорических вещах автор большей частью описывает мир не выдуманный, а истинно существующий, с реальными героями, только носящими, может быть, иные имена. За исключением разве армейских произведений мир этот ограничен рамками областного города, но чаще всего - родной деревни. И вот он-то - мир, собранный под одну обложку, населенный бесчисленным множеством людей с невероятными судьбами, - ощущается мною как мир романнный, который в дальнейшем мог бы послужить Жаравину основой для создания ярчайшего эпического

полотна, - об истории, быте и нраве крестьянского потомства, поставленного перед сложнейшим выбором («Казаться или быть, вот в чем вопрос, Который время человеку ставит.»)

Жаравин был достаточно зрел, и общественная ситуация способствовала тому, чтобы понимать, что творится вокруг. Взять хотя бы это - «Стынут жалкие горошины Опустелых деревень... Догнивающую матицу Подпирают горбыли. Кумачовым солнцем катится Благодать с моей земли». Это ли не трагедия для человека, выросшего на земле и доверчиво впитавшего ее целебные соки? Не случайно он пытается шокировать читателя, называя свои стихи «поэмами разрыва и блуда». Именно как блуд, скорее всего, и были расценены в деревне (да и им самим) все его безуспешные попытки обрести в городе свое счастье, и он стыдится своей неустроенности, вместе с тем не видя выхода и еще более погружаясь в пучину пустых страстей. Но мне видится в этом и его первая, еще не осознанная попытка понять: не все, что он оставил за собой на малой родине, одинаково неоспоримо и должно быть привнесено в завтрашний день.

Однако то, что «в полупоклоне родина застыла и протянула руку - просит хлеба» - многих, не только его, заставило задуматься над вещами вечными. И вот уже Михаил Жаравин понимает: «Привыкший слепо двигаться вперед, Как стадо в темноте за гуртоправом... Народ всегда унижен и бесправен...» Еще более прозревает он и осуждает окаменелость деревенской жизни в недоработанной, но дающей возможность разглядеть намечающиеся перспективы повести «Равновесие». Явно будучи на стороне лесника Прони, знахаря и лекаря, а по-деревенски колдуна, он ощущает, сколь далеко могут завести человека темное упрямство и нежелание взглянуть вверх, устремить все свое бытие не только к телесной сущности. Не случайно он бросает «люди-нелюди» - и это о тех, кого он так любит!.. Но это и о других героях - об отце, убившем сына в «Любимой игрушке», о тех, кто в порыве отстоять свою правду и справедливость кидается с кулаками на носителя непохожего мировоззрения и чувствования. Помните, с чего мы начали? Все мы - Божьи творения, со своей правдой, требующей понимания и уважения...

Вот и представьте, когда прочитаете всю прозу Жаравина, какая махина - та жизнь, среди которой он вырос, которая его сформировала, наградила умением видеть - и как видеть! - слышать - и как слышать! - чувствовать - и как чувствовать!

Жизнь буквально давила на него своей неохватностью, неподъемностью, необъяснимостью. Количество фактов перевешивало качество знаний о жизни, тех Знаний, которые помогают любому подняться в любой ситуации. Я говорю о некоем сокровенном философском осмыслении мира, какое может прийти или не прийти к пишущему, но какое неизбежно требуется, чтобы не быть задавленным накопленным материалом, и всем, что сбивает с ног.

Мне не хотелось бы углубляться в эту тему, по-настоящему понятную лишь тем, кто уже стучался и кому открыли. Но я глубоко убеждена, что наш общий гражданский долг - тех, кого судьба сводит с людьми творческими и кто таковым считает себя, ни малейшей деталью не отталкивать, не отдалять обратившегося за помощью, пусть не литературной, просто житейской. Ведь именно испытания бытом подталкивают людей к истинно

глубоким раздумьям о жизни, именно они позволяют познать ее законы. И все творящееся вокруг или в его душе кажется человеку катастрофой лишь до тех пор, пока он не примет их с покорностью и не начнет по ним жить. Банально и старо как мир, но каждому дается с кровью - и впервые.

Я убеждена, что через все препоны, с множеством ран, но Михаил уже подходил к свету, который вселил бы покой в его душу и позволил бы настоящее, не только человеческое, но и писательское счастье. Я слышу это по строчкам стихов. «Поэту нужен путь -К любви, надежде, вере». «Как мы живем, что в эту жизнь несем - зеркальным отраженьем к нам вернется».

«Мы чем-то наполняемся извне... Когда летим по Млечному пути к своей звезде - далекой, но прекрасной». Он давно уже смотрел не под ноги, как большинство вокруг него, а в небо, и верил втайне, что он «мог бы осветить потухшее пространство». Но - надорвался, неподдержанный, в долгом путаном пути. Ведь всякая болезнь - это надрыв в результате бессмысленной борьбы с обстоятельствами, для того лишь встающими на пути, чтобы заставить человека притормозить и обдумать свое бытие.

Можем ли мы помочь друг другу ускорить процесс познания жизни и себя? Спросим, хотя и нет на это ответа. Но Михаил же кричал: «...Гаснет мой костер, К сердцу - будто осени прохлада». Он плакал: «Жизнь моя, жизнь, ну зачем тебя, кто тебя гонит, словно листок отживающий в топкую грязь?» Отчего мы не разделили с ним эту боль? Не оттого ли мы не слышали ее, что не хотели слышать? Все у самих ладно, и слава богу... А Михаил...

Легче было бы признать, что каждому отмерен свой срок, и ничем мы не могли повлиять на события. Он же сам, раздвоившийся Жаравин, заорал в рассказе «Я в квадрате»: «Хватит! Я решил уйти, и никто меня не остановит!» Неправда. Могли бы, хоть на миг, схватить за рукав у дверей и сказать: «Вот, Миш, книжку тебе сделали... Погляди!»

И остался бы, уверяю.

«А стоять у могилы мы можем. Нам бы научиться живых любить, беречь, чтобы не выть потом, слез волчьих не ронять... Жаравин Миха.»

Ирина Головина

## В ПОИСКАХ СВОЕЙ ЗВЕЗДЫ

Михаил Жаравин - молодой писатель Вологодчины, и что удивительно, писать начал тоже недавно - в 1989-м. Прошло всего пять лет, и за это время он успел стать не только студентом литературного института им. Горького, но и членом Вологодской писательской организации. Восхождение довольно стремительное, если учесть, что в литературу Жаравин пришел, будучи рабочим ПЗ-23. Там же, на страницах «Вологодского подшипника», состоялась и его первая публикация, где читатель впервые открыл для себя стихи молодого автора.

Обычно начинающие поэты редко выносят на первый суд что-то действительно интересное, отмеченное индивидуальной интонацией. Но на этот раз на страницах газеты бушевали настоящие, непридуманные страсти «Поэмы разрыва» и «Поэмы блуда». Становилось ясно, что автор уже многое пережил, передумал и сумел донести до читателя глубоко личное, с оттенком трагичности мироощущение:

Разрыв-трава... Ползучая молва.  
Разрыв-травой опоены мы оба  
До бешенства, до злости, до озноба!  
Смертельный яд - слова, твои слова...

Не все ладилось с формой, не всегда удавались рифмы, но каждое стихотворение как результат пережитого и перечувствованного было живым, искренним.

## В ЛИТО СТУПЕНИ

После прихода Жаравина в литературное объединение «Ступени» на страницах заводской газеты стали периодически появляться новые его произведения: «Сказ о белом камушке», «Шутка», «Манило», «Хочется жить», «Морозко». Два рассказа и стихи вошли в сборник «Дверца». Опубликовано не так много, но достаточно для первого разговора о творчестве начинающего автора.

Михаил обращается к самым разнообразным темам, пробует различные художественные формы - очевидно, что автор находится в поиске

своего творческого «я», и в этом отношении почти программно звучит одно из его стихотворений:

Не восхождение путь мой, не прямая,  
А ломаная. Каждый угол - спад.  
На верхней точке мне никто не рад,  
Да и внизу никто не понимает.  
Но суть есть путь. И я иду, иду,  
Врагов, друзей я перепутал лица.  
Не плачу. Нет причин и веселиться.  
Я не нашел еще свою звезду.

Говоря о творчестве молодого автора, необходимо обратить внимание на обе стороны его дарования: поэзию и прозу, так как это проявления единого целого - личности художника, которые взаимно дополняют друг друга.

Если в рассказах и повестях мы следим за внешними событиями жизни героев, то стихотворная лирика - это исповедь души, первопричина, исток и начало.

## ЛИРИКА

Поэзия Жаравина очень личная, даже дневниковая. Герой максимально приближен к автору, вместе с ним страдает, мучительно размышляет о своем месте в жизни и литературе.

Есть поэты, и даже маститые, читая которых сразу находишь аналогии: вот это как у Рубцова, а это под Есенина. Знакомясь со стихами Жаравина, понимаешь: такой боли, таких мук еще не было. Возникает ощущение причастности к какой-то большой человеческой драме, и с этим начинаешь жить. Несомненная сила стихов Жаравина в их искренности: обнажены чувства, открыты душевные раны... Тоска по любимой, трагическое переживание распада семьи, сиротства детей при живом отце - сквозные темы лирики Михаила.

Характерная черта ранних стихов - раздвоение лирического героя, в котором как бы начинают жить два разных человека. Это повышает драматический накал стиха и свидетельствует о попытке автора осознать свои жизненные впечатления.

Размышления молодого поэта о своем творчестве, о писательском ремесле также находят свое поэтическое выражение. Интересные сравнения и образы находит автор, обращаясь к этой хрестоматийной теме («Я бог и царь в кругу моих стихов...», «Беда вся в том - стихи мои калеки...»). Неважно, что до него были Державин, Блок, Рубцов - каждый думающий имеет право сказать свое слово:

Не говори - цена упала слову  
И вязнем мы в болотине брехни,  
Раз мыслишь независимо - рискни  
И выдай на посмешище обнову!

Начинающий поэт как никто понимает всю трудность избранного пути

(«все просто только у глупцов»). Он не сулит особых жизненных благ, но и отказаться от радости творчества и ощущения полета уже невозможно:

Между строк, по бездорожью,-  
Здесь не звали, там не ждуг,-  
Между правдою и ложью,  
Но с надеждой, что поймут...  
Удила в чернильной пене,  
То в намет, то на колени,  
Щеки алы от «лещей».  
Наплевать же на заставы,  
Конь бумажный, выручай!  
Речка Имзюг, что нам слава,  
Были б хлеб, да соль, да чай.  
Да еще бы вдохновенье,  
Чтоб лететь, лететь, лететь -  
На лету, в изнеможеньи -  
Не в постели умереть.

Вообще при сравнительно небольшом количестве стихотворных произведений, в поэзии Жаравина мы найдем и отголоски политических бурь, и боль за униженное положение народа, судьбу брошенных деревень. Есть прекрасные пейзажные строки, окрашенные глубоким лирическим чувством.

Дебютировав как поэт, Михаил Жаравин сегодня заявляет о себе и как прозаик. В этом направлении у автора также состоялись интересные находки.

## ПРОЗА

Проза Жаравина событийна, действие развивается динамично, что позволяет удерживать читателя в эмоциональном напряжении от начала до конца повествования. Автор тяготеет к созданию экстремальных ситуаций, которые «проверяют» героев. Язык целиком разговорный, просторечный, с использованием диалектизмов. Все это делает прозу Жаравина понятной, легко читаемой. Хотя вопросы, которые поднимает автор, достаточно серьезны.

Среди них прежде всего общечеловеческие, «вечные»: отношения отцов и детей, проблемы современности и наследие Руси уходящей, изынаной. Автора занимает то, как складывается в городе жизнь человека, родившегося и выросшего в деревне.

Первой серьезной заявкой Михаила Жаравина в прозе стал небольшой цикл рассказов в сборнике «Перекресток любви и печали». Будем говорить именно о цикле, так как рассказы «Пыль», «Ударь кумира детства» и «Сын приехал!» объединяются схожестью тем, описываемых ситуаций и судеб главных героев - Ивана Филина и Павла Лагунова.

Филин («Пыль») - деревенский парень, не желающий возвращаться в родное село, после службы в армии переезжает в город работать шофером, женится, и первое время счастлив с любимой женой и сыном. Кажется, теперь бы и зажить по-настоящему, но нет. Пустяковой ссоры оказалось достаточно, чтобы семья распалась, и пошел Иван колесить по просторам

страны, меняя работу, женщин, нигде не находя своего места. Неправдоподобная ситуация: милиционер по долгу службы напоминает Ивану, что еще живы родители, которые как в войну, не знают, жив ли сын, так как пять лет не получали от него писем. И поневоле Иван возвращается в деревню, где со стариками, оказывается, живет и его сын...

Казалось бы, счастливый конец. Но вот в другом рассказе («Ударь кумира детства») опять встречается Иван, и становится ясно: годы скитаний не прошли для него даром. Отвык от тяжелой крестьянской работы, пристрастился к вину, никто в деревне уже не принимает всерьез полупьяного Филиненка. И это давний друг и покровитель Сереги Баскова, его бывший кумир! Столько пережил, перевидал, а жизнь измельчала, превратилась в пыль. Отчего произошла такая метаморфоза?

Если следовать логике автора, то получается, что Ивана Филина, как и его собрата по несчастью Павла Лагунова («Сын приехал!») погубила городская злая жена, недовольная крестьянским происхождением и работой простоватого мужа. Писатель подчеркивает, что все случилось не по вине Ивана, причина в жене Маринке. Еще более наглядно такая ситуация предстает перед нами в рассказе «Сын приехал!». Павел как раз не скитался, жену носил на руках и пытался вести дом чередом. Но дело кончается еще более трагически: сын гибнет, герой спивается до белой горячки.

«Кто ж не знает женщину: дай волю - на голову залезет и еще указывать будет - и сидится-то ей плохо, и везет медленно. Напридумывает, лишь бы мужик не ерепенился», - читаем в рассказе «Приснились лесные страсти», где кошмар является герою опять в женском обличье... Что ж, читатель волен сам порассуждать на эту тему, ведь ситуация для нынешнего дня довольно типичная.

Будучи сам выходцем из деревни, Жаравин знает ее не понаслышке и имеет полное право писать об этом от первого лица: как складываются отношения между городом и деревней, почему выходцы из деревни не приживаются в городе, только ли в тлетворном влиянии города причина. Но поднимая эту непростую тему, автор не всегда идет в глубину.

Хочется отметить, что Жаравину в этих рассказах удастся психологически точно передать чувства, которые испытывают его герои (за некоторыми небольшими исключениями), и мы вслед за автором уже не в силах их судить, а только сопереживаем.

Страшные последствия распада семей, описанные Жаравиным, еще раз доказывают, что в разводах нет выигравших сторон, все теряют все. Часто сочувствие отдается женщине, поскольку с ней остаются дети. В рассказах Жаравина мы видим «сильную» половину, мужика. И он не обретает равновесия: лишаясь любимой, ребенка, он внутренне ломается, теряет опору в жизни...

## «ДЕРЕВЕНСКИЕ СКАЗКИ»

До сих пор мы говорили о той части жаравинской прозы, которая посвящена современности, ее реалиям и героям.

Но в его творчестве существует и другой художественный пласт, который условно можно назвать «деревенскими сказками». К ним относятся рассказы «Морозко», «Манило», «Сказ о белом камушке», «Четыре черных петуха», «Волчья морда» и другие. Действие в них происходит в деревне

или в лесу. Автор буквально купается в родной языковой стихии. Но эта не та деревня, которую неоднократно описывали наши «деревенщики». Жаравин создает свой неповторимый полусказочный мир, живущий по законам справедливости и гармонии. Если человек в этом мире переступает какие-то нравственные нормы, нарушает установленный миропорядок, то в его жизнь вмешиваются сверхъестественные силы, карают за содеянное.

Для более наглядной демонстрации любимой мысли автора «не причини никому зла ни делом, ни даже помыслом, ведь в жизни что посеешь, то и пожнешь» - используется фантастика. Не успела мать в сердцах ругнуть дочь («Сказ о белом камушке»), пожелать ей дурного, как дочь Катерина пропала, превратилась в страшное чудовище, после чего лишь брак вернул ей облик человеческий. А все потому, что «Хула да проклятья горе несут, добрые напутствия - в любом деле помощь».

В поисках литературных аналогий этих рассказов, мы несомненно, найдем нечто общее с довольно редко встречающейся в литературе сказовой традицией (пожалуй, единственный широко известный ее пример - уральские сказы П. Бажова).

Что же касается фольклорных истоков рассказов, то интересное мнение по этому поводу высказала филолог Л. Силинская: «В рассказе «Четыре черных петуха» чувствуется влияние русской несказочной прозы и традиционных мифологических мотивов (в частности, быличек). В мифологии петух связан с подземным миром и часто выступает как хтоническая птица. Здесь большое значение имеет цвет. Черный петух соотносится с водой, подземным царством, это символ смерти, зла, божественного суда. В некоторых мифологиях петух связан с оборотничеством, например, в сванских мифах души умерших мужчин превращались в петухов, а женщин - в куриц.

Евангельские сюжеты представляют нам петуха как посланца дьявола, искушавшего Петра. Поэтому «Четыре черных петуха» - это трансформация мифологического мотива русской несказочной прозы. Причем в рассказе прослеживаются как языческие представления, так и христианские...»

В этом же цикле ставится проблема жизни человека в гармонии и согласии с окружающей средой. Так, в рассказе «Волчья морда» хозяйка леса - волкоподобное чудовище - наказывает людей, причинивших зло лесным обитателям и одаривает тех, кто сочувствует всему живому. В другом случае лес излечивает душу человека, восстанавливает утраченное равновесие как с самим собой, так и с окружающим миром.

Когда читаешь эти рассказы, трудно отделаться от ощущения: Природа была, есть и будет полна для нас тайн и чудес. Вера в сверхъестественное заложена в человеке генетически, и, возможно, небезосновательно. Михаил обратился к тем сторонам народных представлений, которые еще совсем недавно имели право на существование лишь в среде поверий, легенд, баек. Сегодня мы уже не так снисходительно относимся к народным приметам, еще вчера считавшимся суевериями, к оберегам, заговорам и т.п. Постепенно мы все больше понимаем, что мир не так прост, как кажется, и в нем далеко не все подвластно рассудку. Существуют и иные, высшие силы, способные карать за зло, и миловать за доброту.

## КОЛДОВСКОЕ

В связи с этим интересно обратиться к образу, кочующему из рассказа в рассказ под именем Прокофея, Прокопия, Пронтея. Это старик, как правило, лесник и знахарь, живущий в лесу, далеко от людей. Роль его как будто незаметна, но важна: если в миру происходит несчастье, (у Меланьи из «Сказа...» пропадает дочь), только этот старик знает о причине случившегося и передает ее людям в виде загадочной формулировки, смысл которой, однако, понятен провинившемуся.

Люди знают о силе старика и обращаются к нему за помощью. Персонаж является своеобразным медиатором между двумя мирами - земным и потусторонним и не зря его часто называют колдуном. В лесу он тоже живет не случайно, так как именно там, по древним представлениям, был путь в «царство мертвых», мудрости умерших, путь к высшему знанию.

В повести «Равновесие» Михаил предпринял смелую попытку связать воедино мифологические представления наших далеких предков и современные искания в области экстрасенсорных способностей человека. На первый взгляд, это вещи, не имеющие между собой ничего общего, и тем не менее, в последнее время все большее число ученых-гуманитариев, фольклористов склоняются к мысли, что система народных миропредставлений, нашедшая свое отражение в фольклоре (в т.ч. и в мифах), есть не что иное, как закодированная информация об устройстве мира, Космоса, о пути и предназначении человека во Вселенной.

## ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ

Говоря о «сказках», нельзя не признать - рядом с несомненными творческими находками существуют и недостатки. Нельзя, например, называть художественно целостными те произведения, где сказочная ситуация стыкуется с нынешним днем, когда исчезает флер легенд и сказаний, элемент отстраненности и условности.

И как ни хороши просторечные, диалектные выражения, злоупотреблять ими тоже не стоит.

## АРМИЯ И РАЗБОРКИ

В арсенале писателя есть две повести («Холостой выстрел», «Глухая защита») и несколько рассказов об армии, в которых задеваются и темы дедовщины, и человеческой взаимовыручки. Достаточно интересен образ Дмитрия Жерохова, главного героя «Холостого выстрела». Он написан горячо, автобиографично. В рассказе «Рыжий» осуществлена довольно смелая попытка разобраться в политических событиях, явлениях современной гражданской разобщенности. Герой рассказа возвращается после тюрьмы в мир, где его проступок (спекуляция) уже неподсуден. Он бросается мстить за родного брата, которого шантажируют и в горячке убивает неповинного. Но в таком затмении находится он не один - вскоре в мафиозных разборках гибнет и брат. Так что же это за мир? что мы такое в этом мире? что с нами происходит? - эти вопросы ставит перед нами собой автор.

## ГУМАННОСТЬ

Конечно, не все гладко в творческой биографии Михаила, но по-другому и не бывает. Главное творчество его изначально гуманно по своей сути - он любит и жалеет людей даже тогда, когда они предстают не с самой лучшей стороны. Так, в рассказе «Штыбзик» перед нами возникает отвратная фигура пьющего подростка, которого автор все же не судит, не ставит на нем крест, а дает возможность подняться, тем самым давая нам понять, что не всегда внешне неприглядные проявления являются сутью человека.

У Михаила есть качество, без которого немислим художник - умение перевоплотиться в другого, начать жить его бедами и радостями.

Сейчас автор находится на ответственном этапе обретения мастерства, и хотя прогнозы - дело неблагодарное, уже сейчас можно сказать, что Михаил Жаравин имеет все шансы занять свое прочное место на нашем литературном небосклоне.

Ноябрь 1994г.

(Опубликовано в журнале  
"Свеча" №6, 1994г.)

### Post scriptum

Могла ли я представить, когда писала эту статью, что герою ее осталось жить так немного, и что первая попытка разговора о его творчестве окажется и последней прижизненной... Сейчас кажется: недохвалили, недоодобрили, недооценили. Нужные слова всегда находятся лишь тогда, когда уже некому их произнести. Нам свойственно думать, что впереди еще вечность, а жизнь распорядилась так, что уже приходится подводить итоги...

В литературоведении есть такое понятие: судьба писателя как литературный факт. Удивительно, но часто художник своей судьбой договаривает то, что не успел или не до конца успел сказать в своем творчестве.

Ни для кого не секрет, что произведения художника неразрывно связаны с его жизнью - автобиографический момент является определяющим в выборе тем, сюжетов, описываемых явлений. Но феномен заключается в том, что со временем и сам автор начинает существовать по логике собственных произведений. Судьба ли «диктует» слово, слово ли притягивает судьбу - кто знает? Но создается впечатление, что писатели, поэты не просто предсказывают, но и «программируют» свои судьбы (вспомним хотя бы Рубцовское «Я умру в крещенские морозы...»).

Схожие мысли мы встречаем и у Михаила Жаравина: «Слово... жизнь строит» - читаем в одном из его рассказов. И, вероятно, ключ к жизненной драме молодого автора тоже в его произведениях, ведь судьбы его героев - это его судьба, судьба человека, выросшего в деревне, у которого мучительные поиски своего места в жизни, трудности адаптации в городской среде усугубились личной катастрофой, последствия которой он так и не смог до конца преодолеть, к чему в довершение добавились еще и муки творчества, трудности первых шагов в нелегком писательском ремесле.

Герои его рассказов - Филин, Басков, не желая того, приносят страдания другим, страдая при этом сами, и не могут понять, почему так происходит? Не может понять этого и автор, ведь его персонажи - это

«двойники», литературные проекции его самого.

Как правило, герои Жаравина - люди трагической судьбы - они сами не в силах выпутаться из того клубка противоречий, в котором пребывают. Его персонажи умирают в буквальном смысле от недостатка или полного отсутствия любви (со стороны ли женщины, детей, людей вообще), и лишь тогда, когда в их жизни есть существо, готовое любить их, не за что-то, а просто так, за то, что они есть (как полюбил внук деда в рассказе «Беда», как любит сын отца «Сочинение<sup>2</sup>»), лишь тогда жизнь обретает смысл.

Возможно, сам того не ведая, Михаил Жаравин дает ответ на мучивший его вопрос. Знакомясь с его произведениями, читатель приобщается к старому библейскому завету: человека надо любить, любить любого, как бы он не оступался и не ошибался, любить не для себя, а для него. Нельзя проходить мимо чужих страданий, нельзя оставаться равнодушным к чужой боли, к чужой судьбе.

Именно так относится Жаравин к своим героям, а вслед за ним и мы постепенно научаемся видеть в них не только пьяного Филиненка, или никчемного Генку Лукова. Любовь исцеляет любые душевные раны - другим будет человек, в которого поверил, другим будешь и ты.

Именно в этом, на мой взгляд, главный нравственный урок и итог творчества Михаила Жаравина, который своей судьбой, как это, может быть, ни кощунственно звучит, еще раз сказал нам: «Торопитесь любить человека, торопитесь делать добро, пока он жив, иначе может быть поздно», и совесть будет вечным укором живущим.

Уход любого человека - трагедия, но еще печальнее, когда уходит человек одаренный, так и не успевший до конца раскрыть свой талант, а то, что Михаил был талантлив, сомнений не вызывает. Чтобы стать большим писателем, ему не хватило одного - времени.

Но... пути Господни неисповедимы, и кто знает, может быть, прав был Даниил Андреев когда писал:

Если назначено встретить конец  
Скоро, - теперь, - здесь -  
Ради чего же этот прибой  
Все возрастающих сил?  
И почему в своевольных снах  
Золото дум кипит,  
Будто в жерло вулкана гляжу,  
Блеском лавы слепим?  
Кто и зачем громоздит во мне  
Глыбами, как циклоп,  
Замыслы, для которых тесна  
Узкая жизнь певца?  
Или тому, кто не довершит  
Дело призванья - здесь,  
Смерть - как распахнутые врата  
К осуществленью т а м?

1997г.

Леонид Копосов

## ОН МНЕ КАК БРАТ

Есть люди, далекие от литературы, но от них подчас зависит жизнь писателя. Поэтому составитель выражает особую благодарность Леониду Копосову, который был рядом и поделился с нами ценными деталями из жизни автора этой книги.

С Михаилом Жаравиным познакомился в 1981 году в заводском общежитии на Ильюшина, 19 (1-е общежитие) - встретились случайно на одном этаже, видел поначалу мельком, заходил в комнату - среди ребят, которых уже знал, я немножко раньше начал жить в общежитии. Не сказал бы, что он был слишком шутливой, но не очень и замкнутый. Любил поиграть в шахматы, все время ходил с шахматной доской, предлагал поиграть. В домино козла забить был не прочь. Не буйный, не шумный, скорей из незаметных. Иногда разговаривали с ним и все. Начал работать он у нас в АТЦ. После ремонта общежития стали соседями. Он к тому времени перешел в заточку к ребятам, которых я знал - Чащин, Демидов, мы с ним сошлись поближе, пока я ходил проводить своих. Так вот, после ремонта, до которого я в 61 номере жил, а он в 67 - от меня женился и ушел парень, я Мишку к себе пригласил.

Делать особо нечего было. Мы ходили на лыжную базу, на лыжах бежали - по выходным, конечно, больше двух зим так. Водкой не увлекались. Жаравин читал много вечерами после работы. Если что смешно, интересно - вслух читал, ему охота была другим сказать. Хорошие времена были, чтение, да лыжи, да шахматы... Я, правда, не умел в шахматы, компанию ему не составлял, а вот на работе у него был Толя Слухов, он с ним в заточке вместе работал - с тем частенько играл.

С Дедом все они смеялись, который за рыбой ходил, в Воркуте два года отсидел, интересный такой. Не знаю, вошел он куда в рассказы или нет. У Жаравина брат был везучий в домино, в карты, а Мишка невезучий. Зовут, бывало, играть, а он отмахивается: денег нет. Раз сто рублей проиграл.

А женился Миша в 1983. Особых увлечений до этого не знаю, вот про юность доармейскую действительно много рассказывал, про деревню. Ну, а работать вместе мы стали уже после того, как он женился.

У меня в 83 году что-то дало в спину, вроде радикулита, я лежал в больнице. Мишка приехал проводить и не один. С девчонкой. Он вызвал меня, я вышел, пошли на берег реки. Что, думаю, за девочка с ним? Выглядит больно молодо. Она отошла, я спросил - кто, твое увлечение? Он ответил - скорей всего больше, Леха, это серьезно. Когда я выписался из больницы, он постоянно пропадал на целый вечер - на свидания. Остановить уже было невозможно. Мое отношение? Старался не лезть.

По-мужски я сказал, что мне его увлечение не нравится. Брат его Коля Жаравин тоже говорил ему (Колька приходил часто к нам). А в чем дело? Все время сердилась, да и вообще было у ней в характере что-то такое... нехорошее... В их отношениях: она себя вела слишком уверенно, как бы вертела им. Но вскоре он сказал про свадьбу. И когда он женился, встала проблема с комнатой. Мишка в заточке получал мало... Веселость его быстро прошла...

После рождения первого сына Артемки, потом второго - он перешел к нам. Я предложил ему сам, был бригадиром. Переживал за него. Вместе мы были и когда учились в техникуме, но это уж после его второго ребенка, и жили мы уже тогда не вместе. Мы учились с ним в техникуме. Учился хорошо, не последний, не первый, и не рвался, и не выставлялся. «Тебе, Жаравин, красный диплом надо? - Нет.-Тройку поставлю? - Ставь хошь чего». Хотя по математике и по другим предметам соображал. Работать стали вместе, когда к нам он перешел. На работе стычек не бывало. Ему что скажут - то делает. Мужики и подшутят, и поддернут - он не обращал внимания. Конечно, сразу-то не все ладилось. Потом он приобвык, лучше стало. Ну, бывало, что некоторые женщины ему и выскажут - вот, позвала, не подошел, не сделал. То есть наладчик все время должен в контакте со всеми быть. Его спрашиваю: в чем дело? А он - я наладил сносно. Сносно -это как? Чтобы больше не подходила!

А дома все хуже становилось. Я к нему зайду - жена фыркает, вечно недовольна. Да я в таких же условиях жил, чего там. Я разговаривал с ней. Она: «Да мало зарабатывает, да живем в тараканнике!» Я успокаивал, говорил, что не все сразу... Ей все было не так. Пошло дело на развод, он замкнулся, все ребята в цехе замечали. Все это видно сразу - мрачный, свет клином сошелся. Любил ее, наверно... Сидел, бывало, стихи писал, а я ничего, не против, я понимаю. Были тогда талоны на водку... Пошел однажды на Казакова талоны отоварить, вижу - из магазина его жена, не одна, со спутником. Пошел на работу, сказал Мишке. А он рассказал, чтоне новость, и дома, бывало, не ночевала. Скандалы. Развелся, а жил там же. Хотя жилье-то получал он. Работала жена в «Тепличном» и друг ее оттуда... Решили - сын пока у него остается. Все это шло мотание нервов! В цехе подшучивали - кто во что, а Мишка после развода ударился в писание. Кто в водку, кто в тетрадку. Смеялись даже. А я: напиши хоть про работу. Я помню, как он начал писать, я не восхищался, но и не смеялся. А как он поступил в литинститут - стало надо ездить на сессии, на работе это плохо отражалось, не всем это нравилось. Он поэтому и ушел в пожарку потом...

Его стихи многие читали. Сначала тетрадки, потом, когда в лито стал ходить, большие листы, печатные. Если говорили «мура» - не обижался. Некоторые - да, шутили над самими фактом, что он ударился в это отвлечение, но не над тем, что написано. Когда уж поступил - нет, больше не задирали.

Один раз отмечали вместе Новый год . Он пришел со Светой, а ей все было скучно, не сиделось на месте. Есть такие люди, все время что-то делать надо. В этом месте жили трое мальчиков на 4 этаже, она пошла к ним. Потом нас позвала - пойдемте к ним, там веселее... Недомолвки, конечно, были, но так все еще нормально обходилось.

Мишка, правда, говорил раз, что стукнул ее. Я не видел этого. Он

пришел вечером после техникума поздно - ее нет. Тоже пошел этажами выше - знакомый голос услышал. «Хватит базарить, пошли домой». Она не пошла с ним, поссорились... Стукнул. Их ссоры - главная причина его расстройства, его горя. А поначалу веселый был парень, все у него шутки, анекдоты. Про деревню рассказывал - девки, танцы, любил погулять. Нравился ли он женщинам? Да. Было обаяние. Женщина на заводе была, сохранила его фотографию и ВП целую пачку и передала. Вроде сын у нее против оказался. Чего, казалось бы, добрый мужик. А Ленин сын к нему прикипел... С ней плохо, а ребенок за него... И он никогда никого не мог выгнать. Как же она помогала, занавески вешала. У него в стихах много историй с женщинами, но половина придумано. С одной стороны, плохо сходилась, а с другой - с кем сходилась, многим нравился. И в Москве романы были. Не то что только учиться, а и гулял, пока возможность... Рассказывал. Нерусская девочка была. Он только на сессию - она ждет. И на заводе были, но так уж, не сложилось... Я знал, что он худо живет, переживал, он как брат мне был. Но влезать, быть навязчивым не хотел. Он нравился мне. Я сам прямой, не лебезил ни перед кем, и в нем это было. Я спокойный по натуре и он никогда попусту не заводился. Мы не рассуждали, но было между нами что-то, было. Не его, не меня нельзя было просто так куда-то втянуть. Этим мы едины были, молчаливо согласны.

Даже когда пить начал, он никогда не прогуливал, на работе тоже «в дым» никогда не был. Я говорил с ним сколько раз после развода. Нет, он в стихи уходил, этим спасался. Последнее время перед уходом - да, говорят, было, но я его тогда не видел, говорить не буду. Раз помню бумага на цехком пришла - Жаравин в вытрезвитель попал. Он отказался. Тогда попросили фотографию - а тогда еще фотографировали в наказание. На фотографии другой мужик, и Мишка узнал его: «Смотрите, рожа-то не моя!» Взял и чужим именем сказался.

Про армию. Кашлял часто - сказал, что в армии подхватил. Про дедовщину писал, это с армии. Вот еще было какое-то дело, помню, вызывали в суд его. По армии он сержантом был командиром танка. Плохая характеристика из армии - это характер. Он любил стоять на своем. Если стоял на своем - по правде. Честный он. Не будет замазывать. Мог ли он пойти в армию за другого (как в «Глухой защите»)? Да, мог. Я бы и сам пошел.

Последний раз видел его в сентябре 1995. Шел с работы, на остановке его увидел с его женщиной Линой. Вот чем она его купила, не знаю, в деревнях в таких случаях говорят - приворожила. Да наши мужики знали ее, говорили ему - смотри... Разве он кого послушает...

Когда она отошла, я спросил - «Ты откуда? - Из отпуска, сенокосил в деревне. - А чего худой? - Болею, Леха. Такое дело - был в лесу за грибами, упал под елку, встать не мог. И далеко от дома был... - А как жизнь вообще, работаешь? - Работаю, да, и в пожарке времени больше, чем на ГПЗ, так между работой и пишу. Женька Кашинцев сначала очень хорошо относился ко мне, а потом придирки начались, да что пишу, да зачем... На УЗИ был: камни признают в пузыре. - Так надо срочно в больницу, моему отцу как раз операцию такую сделали, и все теперь хорошо... - Нет, не могу, на сессию надо.» Лина подошла, добавила, что он «жрет красное вино трое суток». - С такой болезнью - да красное вино! - А он мне - «Леха, живем один раз». Вечно ему было некогда. Если бы операцию сделали вовремя, так и жил бы... А больше я его не видел.

Галина Щекина

## ПЕЧАЛЬНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК

Появление Миши Жаравина на заводском литобъединении помню четко, это был январь 1989 года. Сама я пришла туда всего за полгода до него и жадно все впитывала. Занятия вел Юрий Макарович Леднев, мы его звали родственно - Макарыч, еще тогда ходил к нам Сопин Михаил Николаевич, они с Макарычем все время дискутировали друг с другом и остальных втягивали. Каждого кто-нибудь привел: меня привела поэтесса Оля Кузнецова, а Жаравина - Лара Новолодская. Обычно мы собирались в заводской профсоюзной библиотеке, а тут как раз место сменилось и мы временно сидели в отделе кадров, у психологов, потому что Авенир Лазарев там работал. Место новое, кабинет тесный, белый, все сковывало.

Жаравин - наладчик из шестого сборочного, хмурый узкоглазик в пятнистой спецухе - молодой, смуглый, небритый. Стихи читал хрипловато, запинаясь от волнения. Некоторые слова стояли коряво, не помещались, и сам он как-то не помещался среди гордых поэтов, но стихи чем-то сразу подкупали! Они обжигали меня горячей жалостью, они беспокоили меня, а чем - я не могла понять. Эти стихи я приносила домой показать мужу Сергею Михальчу, но он морщился и не одобрял. В стихах было много негатива, но главное не во мраке или грубости. Миша описывал только себя, а этого, по словам Михальча, было мало, чтобы получилось искусство.

Однако от этого невозможно было отмахнуться. Я вскоре пришла работать в редакцию и подготовила материал из его стихов для газеты «Вологодский подшипник» (далее - «ВП») с таким предисловием: «Путь к творчеству у каждого свой, а первая искра часто высекается из таланта страданием, здесь не так важна причина, важен результат... Моя реакция на его первую тетрадь: «чернуха»! Невероятные по горечи куски нашей с вами жизни, описание самого дурного, и страшного. Многие стихи Жаравина несовершенны по форме, но из них так и бьет чувство, заставляет писать взхлеб и скомкано.... Недавно Михаил получил рецензию на стихи от Бориса Чулкова, первым представил рукопись для областного литературного семинара. За короткий срок одолел путь огромный - в нем появился саморедатор, стал к себе строже, за малым и частным видит главное, от бытописания переходит к драме и психологии. От души желаю читателю побольше таких открытий, к которым отношу сегодня строки Жаравина».

Первой публикацией Миша Жаравин обязан Елене Волковой. Сотрудница редакции, Лена Волкова до сих пор предпочитала романтическую поэзию Дениса Давыдова, она не признавала «простых» авторов, а вот

стих Жаравина «Дождемся снега, он прикроет раны...» она любила, читала наизусть. Написанное им действительно саднило как рана. Это чувство, возникшее при первом столкновении, оно потом никогда не проходило. И грустно, и горько, и неизбежно.

Я тогда ничего не понимала в литературе, не знала правил и законов ремесла, для меня ведущими были только чувства, эмоции, а они у Миши были через край. Я сказала, что это настоящие поэмы разрыва и блуда, и это название пристало намертво. Он изливал душу после разрыва с женой Светой. Я точно не знаю причину, до меня долетали только отзвуки. Деньги? - они ссорились из-за нехватки денег. Дети? - при вторых родах как будто один из двойняшек не выжил. Знаю только, что они поженились, потому что сильно любили они друг друга, а потом это выродилось во что-то другое. Миша говорил мне: «Слушай, в день развода у нас все цветы в доме подохли». - «Может, их не поливали? Без воды?» - «Не от воды, а от злобы». - «А ты ее до сих пор любишь?» - «Кто ее любит, шалаву». От этих засохших цветов он принес мне два отростка, два кустика алоэ. Они сначала скосбочились, а потом помаленьку выправились и разрослись. Вот так до сих пор на окне и торчат, не влезают уже в горшок.

Когда он приходил ко мне в редакцию, мы много говорили о том, что он хочет написать, о нем, обо мне, у нас было много общего. Он только начинал писать, я тоже. В редакции впервые я почувствовала азарт этого занятия, редакции обязана первым практическим литературным опытом. Жалко, что все приходилось делать в спешке и под кнутом.

Миша как бы осиротел, я тоже была в трудном положении - муж, образованный, интеллигентный человек, вечный диссидент в душе, слушал двадцать лет подряд западные радиостанции и считал искусством номер один музыку. Он сам убеждал меня начать писать, но скорее для отвода моей энергии в мирное русло, а мое литературное мычание его мало тогда занимало. Я по развитию просто не могла за ним угнаться.

А с Мишей мы были на равных. Я подбадривала его как могла, он меня тоже. Мы кожей чувствовали, что вяжемся в абсолютно безнадежное дело, мы оба одинаково боялись. И в то же время было заманчиво, сладкая литературная отравка проникала в кровь...

Разговаривать в редакции было неудобно. Редактор - Чеканова Валентина Александровна - была строгая, придиралась ко мне и требовала гнать строчки. Ее окрик вышибал нас с Жаравиным из наших бесед, я в панике просила его помочь, найти пару строк о хорошем человечке или о какой-нибудь проблеме. Я приставала к нему от страха и от безвыходности, и он стал понемногу выручать всю редакцию. Потом редакция даже наградила его как одного из лучших своих рабкоров. Сохранилась в летописи лито его заметка про Анатолия Слухова, заточника ЦЭВИ, от 28 мая 1991. Мишка неспроста о нем писал - сам работал заточником, а заточники тогда мало получали. Характерная черта - напишет необходимую «железку», укажет проблему, а потом утеплит все это человеческой черточкой. «В личной жизни как? -И Анатолий преображается, начиная рассказывать о детях... Мне приятно видеть его, забывшего обо всех производственных трудностях. Вот уж воистину...» Я понимала, что у Мишки этого «воистину» нет, ему спрятаться от трудностей некуда.

Михаил Жаравин интересно написал в областную газету о своей заводской многотиражке - «Вологодском подшпинике», просто праздник

устроил для всей редакции («Красный Север» от 5.05.91).

В редакцию он обычно ходил в рабочей робе, лишь когда не работал, заходил в нарядной рубашке и джинсах - мы ахали, восхищались. В холодное время таскал дешевую куртку и шапку-петушок, которую мы с Волковой терпеть не могли. Еще мы смеялись над ним из-за деревенских слов, из-за того, как он «ошшо» говорит. Начинали «стебаться», делать замечания - он только улыбался и все продолжал говорить по-своему. Говорил: «А я ошшо не городской, уже не деревенской».

На лито Жаравин сдружился с Сашей Алексеевым, хорошим поэтом, но человеком неустойчивым и пьющим. Для Алексеева это общение было полезно и интересно, непонятно только, что держало Жаравина.

Вот жаравинские строчки в летописи лито.

«Наконец-то попал и я в «Красную книгу». До нее пролез в лито - случайно познакомился на балу с Ларисой Новолодской, случайно пригласил ее на танец, захотелось вскружить ей голову, случайно прочел ей на ухо - ныл и гнусавил - свое стихотворение, даже не помню какое, случайно она взяла меня за руку и привела на лито. Я лопнул как мыльный пузырь, чувствовал себя нашкочившим котенком. Таков был эффект! Хотя вроде все благополучно. Я стал одним из завсегдаев...»

Жаравин одобрял разборы Леднева, Бахтиной, ему нравилось писать рецензии, он заступался за тех, кого обсудили, но не опубликовали - например, за Олю Гаряеву. Вклеены листочки с его стихами - грустными, как например это - «Я был готов помчаться за тобой, / Остановить и звать тебя обратно, / Ты уходила, как невероятно, / И опускался сумрак голубой. / Казалось - шутка. Ты сейчас вернешься, / И скажешь «я устала, покорми»... / Насытившись, довольно улыбнешься - / «Работать надоело до семи...» / Ты уходила, не взглянув на дом, / Где мы насквозь друг другом пропитались, / Где души как тела соединялись / И в будни, и за праздничным столом...» Были и веселые куплеты типа вариаций на тему «У попа была собака» или серьезные размышления в виде «Попытки самовыраженья»: «Беда вся в том - стихи мои калеки, / То хромоноги, то чуток горбаты...»

«16 мая 1990. Лито началось бурно, обсуждали стихи Миши Жаравина, - так записала Л. Новолодская, - по мере выпитых стаканов чая и съеденных булочек спор все накалялся. «Жаравин одинок в душе.» - Ю. Богословский. Некоторых поразило, что он наладчик. Может ли наладчик быть поэтом? «Творчество и профессия, какая связь? Никакой!» - М. Сопин. Жаравина обвинили в излишнем бытописательстве. «Самое хорошее, что из этого вытекают обобщения.» - М. Сопин. «Нужны ли такие длинноты?» - А. Лазарев. «Может, и «Онегина» обрубить?» - А. Лукин. Однако решили, что Мишке надо писать короче. А он сидел с отверткой в кармане (для защиты, наверно). «Дело не в длиннотах, надо все подать в монолите. Пока у Жаравина материал управляет автором... Я старая взбесившаяся крыса. В квартире ни шиша, в государстве ни шиша.» - М. Сопин. Заспорили об озверении: о сопинском, о жаравинском... «Через пару-тройку, через пять лет Жаравин будет писать хорошо», - решили все. А Г. Цекина категорически не согласна, считает, что он и так гениальный...»

«26 мая 1990 - «День первый как последний» - моя заметка в «ВП» про областную литературный семинар, смысл ее в том, что на семинаре говорили об избранных авторах, простые начинающие шансов не имели. «Это был семинар для «готовых» писателей. А как же начинающие с

красными пятнами на лице? Которые готовили рукописи к семинару, а их оставили без внимания! Кто им объяснит, что все это для того лишь, чтобы поставить их на место? В заводском лито много хороших авторов, которых, каюсь, уговаривала поучаствовать - Л. Новолодская, М. Жаравин, Р. Рафалович, А. Лукин, О. Гаряева... Никому из них не было места в «обойме». Потому что такова система, она не занимается взращиванием, только просеиванием. Барахтайтесь, тоните... «Или пиши как Белов, или вообще не надо». - сказал тогда В. Оботуров. «А что вы хотите? На первом семинаре надо быть никем!»

То есть семинар - это был шанс для тех, кого знали в союзе, кто мог похвастать публикациями и книжками, кто ходил в союз и мелькал там, а что мы? Нам и рукописи было трудно подготовить, ладно, я в редакции работала, а Мише помогал с перепечаткой брат Коля Жаравин, который тогда работал в комитете комсомола. Нас чуть удар не хватил. Не то чтобы мы похвал ждали. Просто никто и читать не стал.

После шока этого семинара мы с Мишкой долго не могли опомниться. Так друг друга и уговаривали. Об этом есть в его письмах, которые он мне писал независимо от прямого общения.

Через несколько лет я описала эти драмы в своей повести «Графоманка», где Миша Жаравин выведен под фамилией Упхолов. Чтобы придать убедительности рассказу, я спросила у Жаравина, можно ли вставить туда его стихи и письма. Он ответил: «Конечно, бери, куда это мне». Я и поставила. Мне потом многие говорили - «что же ты ссылку не сделала, что это стихи реального автора? Получилось, что твои или присвоила».

Да, получилось так, но он тогда многие стихи вообще не хотел нигде печатать, а мне жалко было, что все пропадает. Он вообще не ценил себя. Помню, я уговорила его выступить в заводском клубе со стихами, он страшно отнекивался, а потом все же вышел, весь зеленый от ужаса, даже заикался. А женская публика его сразу признала, захлопала...

А в «Графоманке» его как признали! Художница Надя Черкасова, она ведь не знала Жаравина, когда делала рисунки по тексту повести. Принесла. Смотрю - до чего на Мишку похож Упхолов, Боже мой! И на обсуждении все сразу закричали, что Упхолов похож на Жаравина, хотя я не специально этого добивалась, само вышло. Ругали, что я не создала свой образ, просто запротоколировала жизнь. Но оказалось, что больше, к сожалению, эта его жизнь нигде не запротоколирована. Разве что в летописи лито.

«17 февраля 1991. Миша Жаравин всерьез увлекся прозой. Лично я думаю, что некоторые его рассказы уже тянут на повесть». - Л. Новолодская.

В это время Жаравина уже публиковали в «ВП», в том числе и как прозаика. Он был на распутье: что важнее - стихи или проза? Мне больше нравилась проза, потому что пространства больше, свободы. Я его все подбивала пробовать. Михалыч тоже говорил, что проза Жаравину дается лучше, а Миша упрямый, он мало с чем соглашался, ему и стихи было интересно писать... Я говорила ему свое мнение не один раз: сначала при устном рассказе, когда он излагал идею, потом после прочтения машинописного текста. Бывало, тут же ругаться начинали. У него сначала женщины были все на одно лицо, сказочные, сладкие, или повествование начиналось с одного, кончалось другим, заголовков не было...

А вот что Жаравин говорил о моей очередной попытке: «Меня как читателя рассказы Г. Шекиной заставляют думать, иногда - ставить себя на место персонажей. Искать ход: а как бы я поступил в описанной ситуации? Так или иначе ошибаться, а если нет - радоваться. Думаю, все ее рассказы - отражение действительности, пропущенные через личное восприятие мира. Герои живут по законам, предписанным жизнью. Галина не проводит резкой черты - это хорошо, а это плохо. Она не делит персонажей на положительных и наоборот, а как бы предлагает читателю самому разобраться.

Галина Александровна пробует в себя в разных жанрах - стихи, проза, рецензии, а теперь еще взялась за биографию Сопина. Читал черновые наброски и был поражен. Она - или это мне показалось - не ставила задачи типа «вышли из пункта А в пункт В...» Ей гораздо важнее нагромождение обрывков памяти и осознание любви к жизни, к человеку. Любви среди грязи, унижения, предательства... Там мятущаяся душа, открытая рана поколения отцов, война, которая продолжается до нынешних дней, война за нас и против нас. Не знаю, как оценит сам Сопин труд Галины, но на мой взгляд вещь сильная, нешаблонная... Читал и жалел, что она не окончена и невозможно прочесть до конца...»

«12 сентября 1991 (запись моя). Миша Жаравин написал рассказы «Пощечина» и «Беда», читал оба. Все слушали напряженно. (Я отправила потом два его рассказа и свой в Уфу.) Миша сказал, в этих рассказах много одиночества - муж без семьи, жена без мужа, сын на распутье... Мы, мол, все в таком состоянии.»

«4 ноября 1991. Жаравина обсуждали у В. Белкова на литообъединении в «Вологодском комсомольце». Наговорили много, но главное - Грязев велел нести рукопись. Кажется, союз писателей намерен заняться Мишей серьезно. Багров еще раньше хвалил рассказ «Пыль» и отправил в Москву. Леднев: «Саша Алексеев шалопай, а Миша Жаравин относится к критике серьезно.»

Примерно в то время я уговорила Мишу поступить в Московский литературный институт им. Горького. Он сперва сопротивлялся - работа, личные драмы, что учил в школе - все забыл. Потом стал готовиться. Все помогали - Лена Кузнецова, библиотекарь, Ангелина Сергеевна Соловьева, библиотекарь, хозяйка наших заводских лито, искала ему учебники. Сергей Михалыч нашел в политехническом институте репетитора по немецкому языку - это была Татьяна Плен, отвел Мишку и познакомил. Творческий конкурс Жаравин прошел с первого раза. Об этом есть строки в письме поэта и переводчика Александра Закуренько, тоже выпускника этого института: «Можешь передать Мише, чтобы готовился к экзаменам, т.к. творческий конкурс он прошел. Его отобрал руководитель семинара прозы Ю.В.Томашевский. Мне его проза понравилась, он, несомненно, человек одаренный. Стихи в общем-то слабые, часто просто неделанные...»

Помогать случалось: писала какую-то контрольную по риторике с использованием трудов Ломоносова, все ночь сидела. Михалыч ходил в институт снимать на ксероксе Мишкины рассказы. До последнего времени Жаравин ходил в центральную городскую библиотеку на Панкратова, подбирая там книги для занятий. Позднее Жаравин уговорил поступать в литинститут нашего поэта Валерия Архипова...

После сессии Жаравин всегда приходил к нам и рассказывал, как все прошло. Простора и времени для общения теперь было гораздо больше,

чем в редакции, но разговоры как-то не шли, застревали... Иногда он приходил с женщинами, все с разными. Я тоже не раз предлагала познакомить его со своими одинокими красивыми подругами. Он только усмехался: «Ты даже знаешь, какую женщину мне надо... Куда мне таких!»

Потом была работа над сборниками «Дверца» и «Перекресток любви и печали». После семинара стало совершенно ясно, что заниматься нами некому и надо публиковаться самим. На «Дверцу» удалось выпросить денег на подшипниковом заводе, а книгу посвятить 20-летию первого подшипника. В дирекцию и бухгалтерию завода, а потом к начальнику типографии А.Мосикяну, ходила вместе с редактором «ВП» В.А. Чекановой, она все свое влияние использовала, чтобы помочь делу. В сборник вошли стихи и проза членов заводского литообъединения, а также тех, кто в разные годы работал на заводе. Общую редакцию и предисловие взял на себя Юрий Макарыч Леднев, а мне пришлось делать черную работу по перепечатке рукописей и общению с авторами. Перепечаткой для типографии занималась Наталья Соломатина. Мне не разрешали заниматься этим на работе, приходилось таскать папки домой, муж качал головой. Я потеряла столько нервов на этом деле, зато получила первый издательский опыт. В «Дверцу» я включила ранние стихи и рассказы Жаравина.

С «Перекрестком любви и печали» совсем особая история! У Сопина сын Глеб погиб в армии, пришел гроб по железной дороге. Это был такой ужас, как мне на заводе мясо выдали для поминок и я его жарила ночью, а дети мои проснулись, унюхали одуряющий вкусный запах и просили, ведь время было голодное. Но я не давала, это нельзя было трогать... Как вела себя дико и дергано бедная мать, Татьяна Петровна, наша коллега по редакции, боялись, она не выдержит, как тихо держался сам Сопин, как кричала на кладбище несбывшаяся невеста...

Потом через полгода Сопины пришли ко мне и сказали, что получили «деньги за мальчика» и предложили их мне для издания моей книжки. «Я не могу тратить это на колбасу,» - сказал Сопин. Он, конечно, сам нуждался в книжке, но хотел сделать что-то для нас. Потом-то мы ему вернули, но вот так, сразу, мы нигде бы не могли найти средства, если бы не он! Тогда тысяча рублей означала целое состояние.

Кроме своих рассказов я включила в сборник рассказы Жаравина и Волковой. Почему не только свои? Потому, что Сопин-то думал не о себе. Название тоже придумал Сопин. Редактировать книжку я попросила А. А. Цыганова, ответственного в союзе за работу с молодыми авторами. Он стал разбираться и многое править, я воспринимала это болезненно, боялась, что он причешет все так, что Щекину от Жаравина будет не отличить. Убедил меня поменять некоторые заголовки, вообще кое-чему меня научил.

А Волкова сказала, что это глупости, а не правка. Она сходила к Цыганову всего один раз и больше не пошла. Потому что он не знал, что такое флердоранж и считал, что Волкова не любит людей. Она очень смеялась и исправлять ничего не захотела, а потом всем говорила, что из-за Цыганова бросила писать...

С Жаравиным было неясно: Цыганову казалось, что рассказы сырые и он советовал их вообще исключить, мол, рано. Я исключать никак никого не хотела!

Это как раз лето было, Волкова выжала из себя требуемые главы

Сомовой и уехала в отпуск. Жаравин тоже оставил рассказы и уехал в Еловино. А мне что было делать? Я не могла так бросить, мне деньги «за сына Глеба» дали, и кроме того, мне хотелось понравиться члену союза писателей Цыганову. Села сама исправлять. Мишка потом увидел свой текст в книжке и обиделся: «Неужто я сам бы не смог?» Да конечно, смог бы, но я тогда такая зависимая была от всех - от Цыганова, от денег, от душевного долга, от издательства, которое могло сделать быстро именно в этот момент... Все на меня давило... Вот я и бегала.

Сопин к Жаравину относился очень тепло, всегда помогал и спрашивал, как дела, читал его рассказы, написал о нем замечательные слова: «В мои задачи не входит разлуцживать то, чего недостает в рассказах Михаила Жаравина. Но несомненно - в нем есть то, без чего немислим человек, тем более пишущий. Есть обреченность на сострадание к ближнему».

Об этом я каждый раз вспоминаю, думая про Жаравина и Цыганова.

Когда Цыганов закончил работу над «Перекрестком» и мы согласовали с ним наши поправки, пришло ощущение радостной общности. Это потом нас жизнь круто развела, а тогда мне казалось - действительно дружба и понимание. Какие отношения были у Жаравина с Цыгановым, не знаю, но после редатуры «Перекрестка» Мишка стал часто бывать в союзе, они подолгу разговаривали, Миша, кажется, получал много ценных советов и делился замыслами, а с ним ведь всегда было интересно разговаривать. Подарил он Цыганову сюжет рассказа «Три свечи». Цыганов знал о моей дружбе с Жаравиным, передавал ему через меня просьбы, указания, рукописи.

Однажды Цыганов попросил меня разыскать Жаравина и найти все его рукописи для отправки в Москву на писательское совещание. Что я и сделала. Это случилось много позже, когда Жаравин жил на новой квартире в Поселковом переулке... Была метель и я с маленьким Илюшкой тащила через весь город, заморозила ребенка, он болел потом. А Миша оказался простой, сонный, в тапках и в домашней одежде, все оглядывался на Лину, и даже поговорить мы как следует не могли. То ли ревновала она его, то ли еще почему. Рукописи нашлись не сразу, оказались дома только частично, пришлось несколько дней тратить, ехать на завод, Сашку Алексева искать и так далее. Нашли, Цыганов все отправил, в результате Жаравина потом приняли в союз писателей, это было в 1994 году.

Жаравин Цыганову очень доверял, любил его, посвятил ему как минимум два больших рассказа. Один, очень добрый, про то, как писатель написал об односельчанах или соседях - и прообразам дал прочесть... Второй - шуточный, почти святочный, про кражу дров. Написанное Цыгановым было для Жаравина откровением.

Однажды в «Ладе» появился цыгановский рассказ «Садовник». Мишка пришел ко мне взволнованный и велел тут же рассказ прочитать. Я прочитала, обмерла, такой он был страшный. Цыганов своей работой, своим обликом и отношением к людям производил на меня впечатление смиренности и веропослушания. А в «Садовнике» герой изверился от непреходящей муки и умер в этой муке, во злобе. Мне почудилось в этом разрушение себя. Я сказала Мишке:

- Ну и зачем ты мне дал такой кошмар?
- Да ты подумай, как же он с этим живет!
- Так ему и надо.

(Поясню. Цыганов ласково со мной разговаривал в союзе, с глазу на глаз на рабочих встречах, а на семинаре не поддержал, потому что все маститые меня ругали, и он к остальным присоединился. И кроме того, планировался выпуск «Соборной Горки» с прозой Толстикова и Жаравина, а вместо этого вышла повесть Цыганова «Всякое дыхание». Меня потряс этот факт.)

Я говорила:

- Что ты волнуешься о нем, он тебя обманул.

А Мишка мне:

- Галя, не злись. Жалко его, ведь страдает. Меня даже дрожь взяла от этого «Садовника». И Сопин говорит - «надо простить Саню».

Я любовно усмехнулась Мишке:

- Ну ты дурак.

А Цыганову я все же позвонила, он мне потом даже книжку эту подписал... Вот такая вот жаравинская «обреченность на сострадание к ближнему».

У них много общего. Оба привязаны к народному слову как к первоисточнику. Я-то считала, что от него надо абстрагироваться, чтобы себя лучше выразить, иначе все будем «корневики» и «деревенщики». А они оба деревенщики и корневики, и без диалектов никуда.

Оба не могли обойтись в рассказах без колдовства и чертовщины. Сопин считал это слабостью человеческой и неумением противостоять злу. Конечно, это продолжение языкового ларца, ведь они записывали народные поверья и легенды. Мишка использовал это в рассказах о старине, персонифицировал зло, и оно уже было не таким опасным. Современность Жаравин показывал честно, резко и без фокусов, хотя и не без фантастики («Волчья морда»). А Цыганов, даже не уходя в старину, повествовал, как утопленники и вставшие из могил действовали в современности... У нас Ю. Каранин тоже этой темы касался и говорил, что это наказуемо, и Цыганов это говорил. Неужели и Жаравин попался? Хотя все эти рассказы о цыганке, которая якобы навела порчу на Мишу - это всего лишь легенды...

Моя врезка о Мише в «Перекрестке любви и печали»: «Он такой основательный и честный, так крепко стоит на ногах, что кажется - любые попытки пошухарить ему чужды. Единственный случай озорства, который я за ним признаю - вариант песни «У попа была собака»: там он поведал нам, как поп прибил пса из-за того, что тот мешал ему гульнуть с соседкой. Он всегда хмурый. Может, оттого, что истоки его творчества - трагические. Когда разводился, стал пить и сходить с ума. Но потом нацарапал несколько стихов и понял, что таким образом выживет... Вот и пошло. Стихи понеслись бешеным потоком. Когда-нибудь издатели начнут шарить по свету в поисках этих листков, но увы, увы... (Вот сама теперь и оказалась на этом месте, накаркала!)»

Жаравин обладает удручающей привычкой рвать черновики. Наверно, той бумаги, которую он изорвал, хватило бы еще на книгу. Он еще не привык быть великим и не понимает, сколько строчек можно вытянуть из одной страницы, написанной в моменты сердечного волнения. Хорошо это или плохо, но Миша со своими героями заодно. Когда они женятся, у него радость в глазах. Когда пьют - у него похмелка. Когда умирают - собирается за ними. Создается впечатление, что ему ничего не надо выдумывать! Знай себе, смотри в окошки, наблюдай кипучую жизнь и

записывай. Он так увлекается процессом, что даже забывает, что хотел сказать, приносит новый рассказ и опять без названия. Они у него всадники без головы - скачут целыми полчищами, смотреть страшно. Трудно ужать эпоху до одного слова? Вот он и не хочет...

Что он умеет лучше: исправлять «запоротый» станок или вытаскивать рогатую заглушку для виолончели младшего сыночка Сопина? Копать у матери с отцом в Еловине огород или сено косить? Писать стихи или прозу? Я об этом судить не могу, думаю, что все это он делает одинаково рьяно.

Среди его рассказов на современную тему выделила бы особо «Удар кумира детства» (заголовок мой - Г. Ц.). Серега Басков, знакомый мне по рассказу «Фиолетовое солнце» (сборник «Дверца»), встречается с кумиром детства Филиным. Который рожден-то может, и кумиром, но истаскался по белу свету и стал - пыль, деревенский алкаш. На что жизнь потратил? Но еще невыносимее корчится душа Сереги Баскова, который, изнемогая от любви, становится фатальным погубителем и любимой девушки, и кумира Филина. Я думала, в Мишкиных глухих болотах и лесах живут одни старики и старухи, а нет, оказывается живут и такие непоследние люди... Урывками, между работой и пьянкой, они так же, как и автор понимают смутно: что-то не так! А как?

Разрываясь между городом и деревней, Жаравин не застревает на легендах, бревенчатых избах и медвяных росах. Упорно распахивая ниву народной судьбы, Жаравин еще вывернет из нее еще не один пласт колючей и живой достоверности.»

Летопись лито: «Лето 1993. Михаил Жаравин, пребывая в глубоком творческом и личном кризисе, свалил установочную сессию 2 курса. Работает на старом месте. Много пишет, в лито больше не ходит. Может, объявить его заочником? Заочник литинститута, заочник лито...»

В 1993 году я была уволена из газеты, впала в первую безработицу и стала выпускать свою газету «Свеча», где печатала непризнанных начинающих авторов, Жаравина в первую очередь. Одновременно писала «Графоманку».

Очередное событие - литсеминар осенью 1993 года. Меня там в основном разругали - представлена была детская слабая повесть «Золушка Бася» и рассказ «Аллергия» с постельной сценой. А для корневигов эта сцена что красная тряпка. Вспомнили потоки спермы у Генри Миллера, считая это «плохой, бульварной» литературой... Мне, наоборот, Миллер нравился, жаль, что я на него ничем не походила. А Жаравин сидел на семинаре рядом и защищал меня: «Она пишет сжато, плотно, читатель в процессе чтения не поспевает за ней, хорошо это или плохо, я не знаю. Но у нее есть свой почерк и герои достоверные.» Он так болел, так кашлял той осенью, просто сердце разрывалось слушать. Васильев, побывавший в Чернобыле, сказал - ему сильное лекарство надо и я на другой день принесла бронхолитин.

С температурой и кашлем Мишка, кажется, не очень осознавал свой собственный триумф. Он представил действительно большую рукопись: «Морозко», «Сказ о белом камушке», «Четыре черных петуха», «Лесина правда», «Волчья морда», «Штыбзик», «Две затяжки», «Беда», «Рыжий», «Сердечная рана», «Холостой выстрел». Реакция - что надо. Тут-то его как следует почитали.

Василий Белов: «Войны идут в языковом поле. Тысячами теряются русские слова, иностранных слов засилье. Слов у Даля 220 тысяч, у Ожегова 80, в просторечии 5-10, у Ельцина -21.. Поэтому у Жаравина порадовало владение языком. Словарный запас богатый. Пусть пестрота стили, пусть бесовщина, хотя ее не приемлю. Экспериментирует автор, но сюжетом и композицией владеет. Композиция - это упаковка, чем меньше чемодан и чем больше влезло - тем лучше. Повесть «Холостой выстрел» прорисован в журнал «Север». Есть налет цинизма, но он и у маститых есть. Поздравляю вологодскую общественность с новым писателем.»

Сергей Алексеев: «Это не бесовщина, это глубокая и народная традиция, тяготеющая к сказке. Просто нельзя тут разделить, ведь язык и православная эстетика так срослись. (Разгорелся спор с Беловым) ...Я такого давно ждал, так люблю хвалить и принимаю здесь все! Мнения многих у нас совпали и значит, я не дурак. Это хороший писатель. «Выстрел» - настоящая повесть об армии. Предлагаю Жаравина в союз...» Василий Оботуров: «Лишь бы он не офонарел...» Поднялся шум, в котором утонул смысл.

Было совершенно ясно, что слово Белова решило все. Жаравина опять не разбирали по-настоящему, крикнули «ура» и все. Конечно, я понимала, что они опять берут готового писателя, которого вырастила я, да и то не до конца, что здесь бы самое время профессионально и внимательно разобрать, «что такое хорошо, что такое плохо». Мое мнение никого не интересовало. Мишка был абсолютно больной, в красных пятнах на скулах, хрипящий, не очень бы он и воспринял. После заседания, по словам Саши Алексеева, куда-то пошел выпивать с компанией.

Теперь о том, что я печатала жаравинского в «Свече», в номерах 2, 3/4 и 6. «Равновесие» - или длинный рассказ, или короткая повесть, а по сути это конспект очень большой интересной вещи, изложен один только замысел. Герой «Равновесия» Проня Кубасов - мой самый любимый жаравинский герой. Я его так любила, что выматывала из автора душу, заставляя дописывать страницы о Проне. Третью часть вытребовала буквально со скандалом. Жаравин был спохмела, разбитый, грустный, весь в несданных контрольных, в трико, голый до пояса, стирал что-то в тазике, а я стояла в прихожей и кричала свое «давай, давай сюда главу»... То есть по-настоящему повесть о Проне не дописана до конца, только намечена.

Проня - человек непонятого роду-племени, подкидыш, ребенок то ли венгра, то ли цыгана, воспитанный деревенской ворожейкой. Рос Проня в лесу, то есть в природной среде, постиг бабкино знахарство и открылись в нем экстрасенсорные способности, только это радости ему в жизни не принесло. Наоборот, как бы он ни помогал людям, те от него отшатывались. И женщина любила, и остаться с ним не могла... Проня - это для меня сам Миша, потому что он тоже мучился, ища равновесие между судьбой и человеческой волей. Ему хотелось переиначить свою судьбу и свои неудачи, он, наверно, прикидывал, что даст ему писательство, чего лишит. Проня как бы убеждал читателя в том, что судьбу не переиначить. Если, конечно, брать судьбу как проявление не столько человеческой, сколько божественной воли.

«Равновесие» меньше по объему, чем «Холостой выстрел», но по отношению к главному герою это наиболее философское, гуманистическое, светлое произведение. Герой «Выстрела» Дима Жерохов - это армейский

вариант Жаравина, так же, как и герой «Глухой защиты», а подруга Жерохова Лариса - это литературный вариант Лары Новолодской, близкой знакомой Жаравина еще по заводу.

В «Равновесии» живет сама душа Жаравина, не скованная рамками и реалиями нашего времени. Он с Проней переживал то, что мог пережить сам, это было как бы заложено в нем...

Однажды после сессии Жаравин пришел и сказал, что у него «язык сломался». Я поняла так: раньше он писал взахлеб, от переполнения, как бы мчал, не разбирая дороги, а в институте, когда подробней узнал про эти дороги, да как по ним ехать - все, запал пропал. Писал без понятия - летело, стал понимать - расхотелось писать. У меня такого практически не было. Я продвигалась не так стремительно, как он, институты были мне недоступны, и мне все время хотелось писать. Поэтому я его утешила, сказала, что это в порядке вещей, пройдет. Он говорил - а как же ты? - Да я, наверно, не писатель. Но он мотал головой, не верил мне, считал свое состояние трагедией.

В 1994 году Юра Малоземов, краевед и издатель по духу, пожарный по профессии, устроил Жаравина работать в пожарную часть в Лосте. Я его попросила посодействовать: мне казалось, так у Миши будет больше возможности работать, писать. Сутки отработал - двое суток дома. Я в это время работала в центральной городской библиотеке на Панкратова - ради того, чтоб там могло собираться лито. Это недалеко от Мишкиного дома в Поселковом переулке.

В гостинной библиотеки Жаравин обсуждался 28 апреля 1994 года, пришли на заседание Юра Малоземов, супруги Потехины, Надя Крайс (Красильникова), Миша Жаравин с Линой, которая ничего не понимала, сидя с грудой его рукописей на коленях и глядя на всех исподлобья (я сразу вспомнила, как он уронил про нее «не дает писать»), Оля Кузнецова с ребенком, Юрий Макарыч Леднев, Юра Каранин, Саша Рычков, Сережа Козлов, Ира Головина, я... Всего 16 человек. До этого собирались в библиотеке им. Бабушкина, в ЦГБ было первое после долгого перерыва заседание в районе ГПЗ, причем Мишка говорил, что будет ходить только в ЦГБ, в центр он никогда не ездил. Собрались ради него в четверг - из-за его дежурства в Лосте. Цитирую летопись лито.

«Когда Жаравин пришел? В ноябре 1989. За пять лет прошел от наладчика до члена союза и студента литинститута. Пора подвести некоторые итоги. Сам Жаравин это не умеет, как писал, так и пишет на одних эмоциях, на бессознательном уровне, все, что в голову взбредет. Видите, я дала ему возможность поговорить, сказать, как он сам оценивает то, что сделал, а он ничего не вымолвил. И не ходил к нам минимум год».

Потом Жаравин читал отрывок из своей повести «Змеиный мед». Он до этого приходил ко мне с этим отрывком 13 апреля 1994, я тогда торопилась в типографию - сдавать в тираж пятый, Шаламовский номер «Свечи», но успела эти 30 листов прочесть. Узнавание любимого автора - было. Действие - затягивало. Что главное? Вспомнилось - Ира Головина как раз писала статью о творчестве Жаравина и заметила: «За что его приняли в союз? Ни новой темы, ни языка, ничего такого он не изобрел. Увлекательно пишет? Но я в его рассказах как в снежной каше буксую. Никак не могу добраться, что же главное. В стихах он сильнее...» И я подумала - вот, Чулков Жаравина ругал за тему разврата в стихах, за то,

что описан грех, кошмар, грязь. Мол, надо искать лучшее. А наверно, у Жаравина это и есть самое главное - грех этот самый, шалман всемирный и в жизни, и в душе.

У Жаравина в «Змеином меде» герой Юрик расходится с прежней женой, но никак не может внутренне отлипнуть, сходится с хорошей женщиной, но и к ней не может прилипнуть, и мучения, и муки адовы - и та гонит, и эта косоротится. И всех жалко дураку, и нигде покоя нет. И там своих двое детей, и тут девчонка не чужая. Он конечно, оглушен слишком, этот Юрик, водку пьет по-черному, на поэта-приятеля смотрит с издевкой, в лито и редакции ему скучно, хотя, кажется, художник, рисует что-то... Он хотел зафиксировать не нашу литературную возню, нет, вот этот вселенский хаос, неприкаянность ужасную в нем. Второй раз Жаравин у меня фамилию украл: первый раз Четвергова, второй раз Уколова (после моего Упколова). Боюсь, Головина была тогда права. Она считала - я люблю Жаравина как человека, а не как писателя, и потому не способна его творчество воспринимать объективно.

В повести и Юрик, и его окружение не понимали, мучали друг друга. А Жаравин признался, что не стал бы этого писать, если б не литинститут, то есть это было домашнее задание.

«Леднев: Да, это не лучшая его вещь. Ну и что, бывает - не пишется, потом опять пойдет.

Я: Да не об этом речь, надо окинуть взглядом все... С Жаравиным случилось несчастье, его приняли в союз. Еще немного повидла и ему конец. Достаточно похвальбы на семинаре, отсутствовал элементарный анализ! Может, хотя бы мы сможем...

Каранин, Леднев: Его давно надо было принять.

Жаравин (со смехом): У нас одну девушку не приняли в Москве, так она сильную истерику устроила.

Я: Хотите сказать, что я об этом мечтаю?

Леднев: Именно.

Я: Что это вы меня шпыняете, Макарыч?

Леднев: А потому что ты неправа. Ведь это же хорошо, что приняли.

От рассказа «Морозко» у меня эстетическое наслаждение. Он сильный автор.

Я: За это и приняли. За узорочье, за собрание обычаев. За то, что он как они. (Шум.) А где авторское лицо?

Леднев: Бажов тоже собирал народное и пересказывал. И велик.

Я: Да ведь экзотика старины еще не все. Вы заметили, что старинное у него интересней современного?

Леднев: Согласен.

Я: Потому что он сам ловится на экзотику.

Дорин: Это неважно, старинное или современное. Близок фольклор - вот и пусть пишет. Не это важно. Не средства, а что хочет сказать.

Каранин: Даже у классика есть нейтральные вещи. А мы Жаравина обсуждали много, у него всякое есть. «Холостой выстрел» - чисто его вещь. Многие писали об этом, а он нашел свое. Жаль, если такой автор испишется.

Я: У нас сегодня в гостях Ира Головина, она пишет статью о Жаравине...

Дальше Ира читала свой доклад. Все напряженно слушали. Это выступление вошло в ее статью «В поисках своей звезды». Единственный

прижизненный материал о Жаравине, притом достаточно серьезный.

Жаравин потом выступал у меня в центральной библиотеке, на встрече с ним Капитолина Островская, фотограф «ВП», сделала несколько снимков. Несколько раз снимал Мишку Василий Шаманин, работавший с ним в одном цехе.

В 1994 году, осенью, мы сделали «Свечу» № 6 - туда вошли жаравинские стихи и окончание «Равновесия». Вместе с этими бумагами попал ко мне ранее неизвестный рассказ Жаравина «Я в квадрате», посвященный мне (!). Я спросила - по какому случаю? Он улыбнулся, напомнил, как мы с ним еще в редакции спорили о потоке сознания как стиле прозы, ну и он ругал Петрушевскую и Нарбикову. А когда я воскликнула, что мне они нравятся, он сказал: «Да я такой-то муры сколь хошь напишу». Вот и написал. «Я в квадрате» не влез в 6 номер, зато в 7 номер лег как миленький и тематически, и семантически. Он как угадал - ЧТО я через год печатать буду!

Декабрь 1994. В летописи лито фотография Жаравина и под ней надпись: «Пожарник, наладчик, студент, писатель. Ярославская газета «Очарованный странник» сообщила о присуждении Михаилу Жаравину литературной премии им. Николая Лескова за рассказ «Четыре черных петуха»... Приходил, помню, опять с вином: Сергею Михалычу водка, мне «Амаретто». «Мишка, куда деньги будешь девать? - А я их уже пропил». И усмешка, как бы над собой - или над тем, что так уж положено.

В пожарной части он написал стих про балкон («Однажды я падал с балкона, / Не веря в бессмертье свое...») Это когда он был на учебке, и их учили прыгать с высоты, возьми и сорвись он с четвертого этажа, ушибся ужасно, пятки раздробил и вообще, долго был на больничном. Принес мне этот стих и я вскоре стала его петь под гитару, только все не было случая ему спеть. А ему очень хотелось, все спрашивал - «неужели правда песня есть?» Потом я пела эту песню, замирая от жутки, на всех встречах: «Не смог, не сгорев, умереть...» Говорить о пророчестве тривиально, но как тут еще скажешь? Сгорев, сгорев... А ему эту песню я так и не спела.

«25 января 1995. Я объявила про Лесковскую премию Михаилу Жаравину. Потом добавила, что писатель Борис Черных, редактор «Очарованного странника», собирается созвать писательское совещание, уговаривала всех участвовать. Перед этим мы не дочитали в библиотеке Бабушкина мой новый рассказ и начали прямо с него, это была «Инверсия» в первой редакции, которую позднее напечатали в «Дружбе народов». Разговор после читки был интересный, хлесткий, живой. Жаравин: «Насчет торопливости не согласен, тут оправдано все - и детали, и перескоки. Я раньше завидовал ее стремительности, а здесь и этого нет. Здесь главное - воздействие людей друг на друга. Мальчик от вражды перешел к сочувствию, это тоже просто. Я один раз прочитал, и не понял, о чем это. А потом вчитался. И детали! Мой мэтр похвалил бы.»

После обсуждения «Инверсии» Жаравин читал свой новый рассказ про украденные дрова - там были черти, приколы и лукавство в сторону тех, кто грешит чертовщиной. Это приятно. Потом чудно посидели и попили чай».

Примерно к тому же времени относится перевод жаравинского стиха на английский. У нас была Надежда Крайс (Красильникова), в прошлом

протиришца ШСЦ-4, а потом сотрудник фирм «Лебедев» и «Крюгер»... Вот она однажды и перевела. У меня сохранились эти строчки.

What's the matter? We are in a hurry...

So is our life.

Don't play a fool, don't worry.

Only speak... It's enough.

Learn me to live, because

you are clever,

Don't improuse you mind on me,

don't ever

And of course, don't lie,

don't bear malice,

Use to answer for word, for afeard,

Don't make of it any seprise.

Оригинал Жаравина:

Почему мы спешим? Это жизнь такова.

Не юродствуй! Говори, говори...

Научи меня жить, голова, не решай за других,

И конечно, не лги и не злобствуй.

Привыкай отвечать

За безделье, дела и слова...

Весной 1995 произошла эта история... Жаравин мне позвонил и позвал прийти туда, на Ленина, 2, в союз писателей: о тебе, мол, тоже речь будет, Цыганов зовет. Я конечно, пошла, ничего не подозревая, кому и доверять, как не Жаравину. А там была приготовлена для меня публичная порка. Они сидели и при мне говорили, что вот, своего издания в Вологде нет. Причем я только что сделала «Свечу» с Шаламовым. Может, это был слабый номер, целиком под диктовку В. Есипова, но что от меня зависело, я сделала. А здесь при мне говорят, что ничего нет. Я пришла в недоумение, зачем же меня звали. Там выступала Солдатова из «Профсоюзной газеты», предлагала свои услуги по публикации вологодских писателей. Алексеев ей на это сказал: так выпускайте, ищите деньги, мы потом еще посмотрим, давать ли свои произведения. То есть указал ей на свое место.

Досидела я до перерыва, вижу, нечего тут делать, хочу уйти, а тут Белов такой сердитый, мне при всех заявляет: «Передай Есипову, что я ему морду набью». Я говорю: «Пойдите и набейте, я-то здесь при чем, шестерка, что ли?» - «Ты с ним якшаешься» - «Я не якшаюсь, я сотрудничаю...» А Леднев издали - погоди, не уходи, я тебе слово дам.

Я из-за Леднева осталась, но слова Белова меня очень завели. После перерыва Романов начал говорить - такой ласковый, грустный: мол, плохо, что не помогаем молодым. Белов опять - зачем помогать, кому, если Щекина только графоманов плодит со своей «Свечой». Конечно, я не выдержала, тоже кричу: «Кто из нас графоман, это время рассудит, и люди рассудят, передо мной эта проблема не стоит, а перед вами очень даже стоит».

Все страшно закричали, и дальше я говорила на повышенных тонах,

едва через это возмущение прорываясь. Я пыталась им доказать, что они тут сидят, не отрывают от стульев зад, а в это время молодые голоса набирают силу, только в союзе про это знать ничего не хотят. Называла районы, в которых лито появились, перечисляла новые книжки. «И что это у вас за подход, - возмущалась я, - как в шариковом цехе, где смотрят по калибру! Вспомнили бы лучше Яшина, который всех проталкивал...»

Кончилось криками «Вон отсюда!», «Что за дура?», «Если она не уйдет, уйду я!». Были слова и похлеще. Я ушла. Кое-как доплелась до своей библиотеки и полдня редела. Мне тоже указали на мое место. Да я и не рвалась в союз, ну, сами же велели прийти...

Причем Жаравин, пока все это происходило, сидел с низко опущенной головой и молчал. На меня накинлось кричать тридцать мужиков, а ему хоть бы что, близкий друг, а предал меня, вот что значит - вступил в союз! Так в гневе думала я.

Я продолжала реветь вечером дома. Михалыч выслушал, как меня вызывали на ковер, налил водки и поздравил с моральной победой. Всегда он имеет на все свой парадоксальный взгляд.

Все лето я ждала, чтобы Мишка пришел ко мне, сказал что-нибудь. Не верила, что он может на меня наступить и забыть, но он не шел, не шел. Как я его ругала, сил нет. Я подумала - провались, и он как провалился. Доходили слухи, что болеет: Малоземов говорил - серьезно болен, что-то с почками, грозят операцией. Волкова тоже видела его, худого, желтого, под руку с Линой. В журнале «Север» вышел его «Холостой выстрел». Но его это уже вряд ли радовало.

Осенью пришел ко мне в библиотеку - сумрачный, на себя не похожий. Разговор не шел, а он молчал и не уходил, тогда я спросила - сколько тебе платят, чтобы был заодно? Он ответил, что пенсия двести. - Хорошо проданся...

Я говорила с ним, стиснув зубы, чтобы не плакать, мы сильно поругались. Потом снова он пришел и растопил-таки мою злобу. Признался, что боится себя, боится стать зверем: бьет женщину. Для него это немислимо, он добряк... Рассказал, как внутри все болит, как попадал в больницу с приступами, потом сбегал... Это было не в первый раз, он не хозяин был у себя дома. Однажды я даже квартиру ему снять хотела, чтобы он спрятался от всех, отдохнул от пьянок, от скандалов. Отправила к нему Юру Волкова, они поговорил по-мужски, попили пива, и ничего не сдвинулось с места...

Меня прорвало: иди на операцию, скорей иди, еще не поздно... Он: я оттуда не выйду. Я: выйдешь, ты молодой, я тебя подожду и мы с тобой все потихоньку разберем, отчего не пишется. Отчего, что и куда... Ради бога, только иди лечись! Он: я тут никому не нужен. - Ты мне, мне нужен...

10 октября 1995 у меня в гостиной был вечер Гальского, Мишка пришел нарядный, как я требовала, и надо же, Верочка Попова засняла его... Последний снимок! Я успела познакомить его с Сергеем Донцом, надеясь, что двум таким ярким авторам будет чему поучиться друг у друга. Но учиться не пришлось. На этом вечере он так ужасно кашлял, просто ухал, и лицо такое усталое, отрешенное, в испарине. Это он ко мне пришел в последний раз, из последних сил. В те дни он оставил мне свою рецензию на книжку Оли Кузнецовой. Это уже не просто отклик, это мнение настоящего литератора.

## МНЕ К СВИСТУ КРЫЛ НЕ ПРИВЫКНУТЬ...

(Рецензия М. Жаравина на стихи О. Кузнецовой)

Не хочу, не собираюсь делать скоропалительных выводов, рассуждать категорично, хочу просто поразмышлять. Почему? В истории литературы множество фактов, когда об одном и том же стихотворении критики-профессионалы имели разные, часто полярные мнения: например, отца русского стихосложения Михайлу Ломоносова за словосочетание «града ограда» ругал и хаял Сумароков, а Державин хвалил и охотно цитировал...

Книжка Ольги Кузнецовой «Больше света» получилась, на мой взгляд, цельной и в тему. Разве что выпадает из общего ряда «От добра добра не ищут». Стихотворение в целом и неплохое, хотя первая строчка кажется прилепленной случайно, избитая такая, и в данном тексте необыгранная, туманная. И строчка «там полвечности сосну» неудобоперевариваемая. Вроде и понятно, что просплю полвечности, но на деле - неточность, двусмысленность. И все стихотворение из-за двух мелких огрехов проигрывает. Хотя, попадись оно мне одно-одинешенько и без подписи, я не узнал бы в нем Кузнецову, а еще точнее - Смирнову Ольгу. Я ведь неплохо помню ее по публикациям и не только, скажу по памяти, лет шесть назад читал Ольгины стихи, принимая и воспринимая, и как-то всегда хотел и возразить в шутливой манере: - «Очередной быть у тебя? Какая роскошь...» (О.С.) - «Быть первой у тебя, как это мило, тем более когда сама любила...» (Я).

По остальным стихам судя, Ольга хоть и спряталась за фамилию мужа, но осталась сама собой. Правда, грустная нота выражена острее. И за это ее не упрекнешь, такова жизнь. И потому книжка «Больше света» как бы следующий этап или шаг в творчестве Ольги. От прежней взросло-детской наивности (цикл о ящерке) почти никакого следа, если только употребления уменьшительных существительных (поплавочек, кусочек, царапушек, пальчиком, скорлупки - ласкательных, нежных). Но автору лучше знать, что писать и как писать.

Восьмистишия, честно говоря, мне понравились, есть в них некое неосязаемое застрочное течение и музыкальность: отчего-то, читая их, слышал музыку из фильма «Служебный роман». Возможно, это из-за стихотворного размера...

Кстати, о размере. Большинство стихов Ольги написано двухсложным размером - это или черехстопный ямб, или хорей. «Солнце довольно, что ветер...» - дактиль. А одно из самых интересных стихотворений в книжке - это «Кто украл солнце» - написано пеоним! Сейчас размер встречается крайне редко. Кажется, Бальмонт применял его - «Спите, полумертвые, увидите цветы...» И это здорово!

«Поэзия есть искусство превращать прямое и простое в нечто изгибистое и пригожее». - Цитата взята из речи адмирала и поэта Шишкова, современника Державина. Принцип верный и до наших дней, и Ольга от него не отступила!

В стихах ее просматривается и своеобразная звукопись: «...Доели на страстной неделе». «То дернув пару раз за полу Полупромокшего плаща...»

Личных стихов в книжке немного, две строки из них я вынес в заголовок, но самым личным можно назвать «Я живу не влюбляясь», в

остальном у Ольги выход в себя, во внутреннее через внешнее - через природу, сравнения, образы.

Надо, наверно, упомянуть, что в более ранних стихах ВЕРА В ЖИЗНЬ, в справедливость подхода и ожидание если не счастья, то перемен к лучшему - у Ольги вырисовывалась яснее. Мне так кажется. Здесь - не то, чтоб голый пессимизм, но почти отсутствует ожидание чуда, той сказки, которую она сама неволью создала! Правда, «целую тебя и kota» и «пробужденье у незнакомца на плече» - таки наполнены той верой и тем ожиданием, за которые хотелось упрекнуть. Собственно, это и не упрек, а нечто необъяснимое - на празднике если кто-то зайдет молча с кручиной, все веселье идет на слом.

Слишком много говорю, подумалось мне. В общем, книжка получилась, и желаю Ольге творческих успехов, веры в себя. Без нее трудно жить, а писать почти невозможно.

Михаил ЖАРАВИН, студент литинститута, член СПР.

Дальше все понеслось быстро - холода, зима, жуткие новости из больницы. Мы с Олей Кузнецовой каждый день околачивались в областной больнице, в отделении реанимации, пытаюсь что-то узнать. Он ушел в скорую сам, оттуда срочно повезли на Советский проспект. Оперировали в городской и резко стало хуже. Провалилось нутро от хворей, поздно было уже... Я притворялась сестрой из Кич-Городка, я черненькая. Бегала за какими-то дорогими лекарствами, все деньги из семьи унесла, не на что хлеба купить. Волкова узнала, так стала срочно просить деньги на заводе, и потом мне чеки оплатили. Я совершенно обезумела. Целыми часами сидела набирала фантастические телефоны, разговаривала с экстрасенсом из Москвы, но оплатить его услуги, конечно, не могла. Коля Жаравин и так уж возил к Мишке экстрасенса, да толку мало... Врач сказал, что Мишкин организм разрушает сам себя. Он не хочет жить, не сопротивляется, не помогает лечить. Я ничего не могла делать, а мои родные все терпели, не попрекали.

Бегали мы с Ларой Новолодской насчет соборования. Помню, стужа такая, мороз, а священник из церкви Покрова-на-Козлене не ехал, мы задубели. Потом приехал другой, такой бодрый, быстрый: все сделаем, все, кого соборовали, благополучно представились... «Он еще живой!» - чуть не закричала я на всю реанимацию. Меня не пустили, а Лару пустили, и она потом говорила - светлый лежал, смотрел осмысленно, понял, что происходит... Меня мучила совесть, что вдруг он некрещеный, я спрашивала Колю, он сказал - да. Мишу уже соборовали, а люди все приходили, предлагали лечебные травы, Донец по всем аптекам искал со мной лекарства, библиотека давала служебную машину...

Самого конца - смерть - никто не ожидал. Мы с Волковой позвонили в реанимацию, и нам сказали, что у больного моча пошла. Это считался хороший признак. Как мы обрадовались, как стали обниматься, пошли даже рюмочку пить - это было в субботу, а в понедельник... Он в понедельник ушел, 18 декабря...

Прощание с телом было на Пошехонском шоссе. У меня нет сил это снова вспоминать и я процитирую свою же статью для ярославской газеты «Очарованный странник». Одно скажу. Когда я приехала на писательское совещание в Ярославль в январе 1996, я на открытии

столкнулась с редактором ярославской газеты Борисом Черных. Сказала о том, что вот, нет больше Миши. И он так сразу дрогнул, вскрикнул и уткнулся лицом в стену. С мокрым от слез лицом бросил, уходя: «Напиши о нем». Любил Черных Жаравина. Вот что я ему написала.

## ПРОЩАНИЕ...

Шагнул к нам Михаил Жаравин со стихами, а потом так же стремительно начал писать рассказы. Он не успевал давать имена и заголовки, толпа героев быстро росла, каждый со своим характером. Проступала старина и новина. Старина говорила забытым кич-городецким говором, шумела древним лесом, бормотала колдовскими приговорами - он их узнал от своей бабки, которая его нянчила, и рядом с которой он остался лежать теперь...

Отец при этом уронил: «В надежные руки отдаю...»

Старина в его рассказах - «Морозко», «Манило», «Четыре черных петуха», «Волчья морда», «Сказ о серебрянном камушке» (этот рассказ был очень популярный, его все издания публиковали с разными заголовками, а первая публикация в «ВП» шла под названием «Сказ о белом камушке»), «И хочется жить», «Равновесие» - была доброй. Подлецы были наказаны, герои очастливлены. Специалисты качали головами: фольклор.

Новина, которая его ковала, в которой жил он сам, не поддавалась правке поверьями - хуже всех в ней жилось лучшим. И сам он не был исключением. Первым молотом стала для Жаравина армия. Половина его прозы написана на армейскую тему, в том числе большая повесть «Холостой выстрел», напечатанная в 1995 региональным журналом «Север», а еще неопубликованная повесть «Глухая защита». А второй молот - как у всех - личный. И пережив свою трагедию, Миша как никто слышал чужую боль. Поэт Михаил Сопин о нем сказал: «Обреченность на сострадание к ближнему.»

Новина - это «Фиолетовое солнце», «Беда», «Сердечная рана», «Пестерь», «Шутка», «Тема для сочинения»... Миша как поэт и писатель прокручивал свою жизнь сотни раз - в творчестве и в любви, с водкой и без, с разными работами, в деревне и в городе. Нигде не было счастья... Иным казалось - слишком мрачно. Зато честно! А язык Жаравина - мощный, узорчатый, живой! Говорили - ларец, кладезь... Талант.

Его знали и читали в лито «Ступени», было несколько разборов. На семинарах областных его не много обсуждали. Сначала в упор не видели, потом сразу - на ура. Его приход в литературу был скорым и бесспорным. Василий Белов сам повез его рассказ «Две затяжки» в «Литературную Россию». И при прощании с телом Жаравина сказал: «Потеряли писателя, которого я поставил бы рядом с Шукшиным»... Мне хотелось крикнуть - врете! Но вслух я не могла ничего говорить, просто кричала, я еще не привыкла прощаться... При чем тут рядом!.. Кусок жизни оторван. Жизнь неповторимая, невозвратная, Миша, почему ты только в гробу стал таким солидным, хорошо одетым? В редакцию ты ходил в драных куртках, спецухах. При жизни у тебя никогда не было такого модного костюма, галстука... В галстуке, в синей небесной рубаше, куда же ты... в лентах, Миша, куда... Нельзя кричать - говорят - не зови его, не держи душу, душе и так тяжело у земли...

Да, тяжело ему было на земле. Что ж обвинять других, если и сама виновата! В 1991 вышел коллективный сборник «Дверца» с его ранней прозой. Издала я в 1991 коллективный сборник «Перекресток любви и печали», там и Жаравин был - рассказы «Пыль», «Сын приехал», «Ударь кумира детства» - это тоже из новины. Позже напечатала в «Свече» его «Равновесие» (из старины). Но ему нужна была сольная книга! Я по глупости решила - вступил в союз, там помогут.

Шла к нему на новую квартиру по поэмке, с малым сыном на руках: срочно надо было собрать жаравинские рукописи для всероссийского совещания 1993 в Москве. Рукописи оказались разбросанными по углам новой хаты и всего города, Мишка растерянный, в трико на босу ногу, давай искать.

Принял его в союз, но сам он, с его вечным кашлем, с папироской, такой далекий от этого шума, такой виноватый - как сейчас передо мной. И я гневно восклицаю: «Перестанешь ты пить наконец?» Он вздыхает, что нутро очень болит. А я свое - иди на операцию! А он - боюсь, пойду и не выйду...» - «Не бойся, иди, я тебя люблю, ты выйдешь и заживешь...» Вот не зажил. А я книжку так и не сделала, ничем не помогла, только ругала его, а он все молчал.

О чем? О том ли, что ни одна женщина больше не близка после развода? Кидался в один омут, и в другой, а жизнь все пустей... И «сыновья зовут батьком чужого». О том ли, что хорошо бывает только в родной деревне Еловино, на сенокосе? Деревенский парнишка, который так и не прирос к городу. Младший брат Николай, сильный мужик, деловой - все учил его, а Михаил упрямый, не слушал. О том ли, что после поступления в литинститут (в 1995/96 году он был на четвертом курсе) вроде прибавилось ума, да «сломался язык»? О том ли, что тоньшает светлая полоска внутри, и ворочается черный зверь?.. Один из последних рассказов, «Любимая игрушка», был о том, как любимый сын потерялся, а отец, найдя его, избил до того, что убил. Вот, наверно, о чем его душа... Когда он...

Жаравин - мужик золотые руки, он одинаково хорошо исправлял станки, выгачивал заглушки для виолончели и ключи, прибывал полки одиноким девушкам, копал и косил. Одно только не умел - себя ценить. Он обладал отвратительной привычкой рвать черновики, не понимая, что значит сохранить первый толчок сердца и сколько можно вытянуть из одной такой страницы. Один раз он устал рвать бумагу и... съел рукопись, «чтоб неповадно было»...

Когда я писала свою повесть «Графоманка», а зашифровала там всех своих знакомых, ну, конечно и Жаравина тоже, поскольку с ним дружила. Он сам читал и смеялся, что похоже. Меня критиковали - зачем такая газетность! А теперь вот оказалось, что все дорого, каждая мелочь, от его первых стишков до привычек, манеры письма писать и слушать. И все вобрал в себя электрик Упхолов. В повести Упхолов становится известным писателем и не умирает. Поэтому мне легче, когда я вспоминаю. Не кричу больше - куда ты в лентах, Миша, куда...

На сороковины - Миша ушел 18 декабря 1995, тридцати шести лет отроду, острый панкреатит - на сороковины 26 января 1996 я не смогла поехать, ребенок заболел, работа. Ехать машиной десять-двенадцать часов, мороз... А ведь я так мечтала увидеть его Еловино, ту баню, в которой

сидела заколдованная «девка в вочине» из рассказа «Камушек с серебрянными пятнами». Когда на выступлениях начинаю читать строчки его, немножко становится легче. Жаравин меня приучил выступать: приду к нему перед концертом, а он в дымину. Я обижалась, хлопала дверью, приходила в зал и дрожащим голосом начинала: «Один из самых ярких писателей современности, вологодский русский писатель Михаил Геннадьевич Жаравин...» И пока Мишка спал хмельной, зал ему аплодировал.

После «прощания с телом» я долго находилась в оупении. Ничего не понимала, никого не хотела видеть, не могла работать. Сидела и даже не плакала. Наверно, тоже по-своему душа с телом прощалась. А потом пришли люди из общины Шри Чинмоя, чтобы сделать выставку. Обаятельная эзотерическая женщина, ученица Шри Чинмоя - Ирина Осинникова - и стала вокруг меня в гостиной «чистить ауру». Как будто кто-то догадался, что я в таком беспомощном состоянии! Через год, 13 ноября 1996, в Ленкоме был вечер памяти Михаила Жаравина. Собралось много наших: Елена Волкова, Валерий Архипов, Евгений Соловьев, я, Сергей Фаустов, Николай Жаравин, Евгений Кашинцев с женой, Сергей Донец, музыкант Вади Смит и новая хозяйка гостиной Вика Соловьева... Мы вспоминали кто что мог. Например, Соловьев вспомнил, как учил Жаравина в техникуме, Архипов - как Жаравин настраивал его поступать в литинститут. Кашинцев сказал, что у него в блокноте сохранилось несколько неизвестных стихов Жаравина. Читали Мишины стихи, я спела две песни под гитару на его стихи. Сочинила еще такое своеобразное посвящение, но прочитав постеснялась - шумно было, чужие парни гремели игровыми автоматами. Посвящение вошло потом в мою книгу «Ария» под названием «Издалека». То есть голос его доносился ко мне уже издалека, но я как бы продолжала с ним говорить - обо всем, о чем не успела договорить.

На том вечере и возникла мысль собрать рассказы Жаравина в одну книгу. Там же брат Жаравина Николай Геннадьевич Жаравин предложил мне съездить в Еловино на годовщину смерти, сходить на могилу к Мише, поклониться.

Еловино... Сколько раз Миша звал меня поехать глянуть на его деревню! Он хотел, чтобы я с детьми поехала... Собрались, поехали на двух машинах. Ехали вроде хорошо, даже ели в придорожных, занесенных снегом кафешках. И все-таки одолеть пятьсот с лишним километров в лютый мороз тяжело. К тому же состояние у меня перед операцией было критическое, к концу дороги стал болеть бок. Выехали утром 17 декабря, приехали на место поздно ночью. Около 23 часов на въезде в Кич-Городок козырнул постовой: «Инспектор патрульно-постовой службы Жаравин». Коля из окна: «Владелец машины - тоже Жаравин». У них в Кич-Городке все Жаравины... А оттуда до деревни еще шестьдесят километров по лесной петляющей дороге.

Холод, темень, брех собачий. Я, качаясь на ватных ногах, вошла в дом. И вдруг Коля уехал! Едва увидя мать и отца, поехал ночевать к сестре Тоне, Тоше, как они ее зовут. Он всегда так делает, и родители ничуть не удивились этому. Мишина мать тетя Настя привела меня в переднюю горницу с иконами, высокой кроватью: «Здесь Мишенька спал».

Родители привычно, вполголоса, бранились. Тетя Настя на дядю

Гену возмущалась за что-то. Сначала тетя Настя выговаривала беззлобно, потом все горячее, забыв о первопричине, и всерьез - «как ненавижу-то ты...» На что он отвечал, по-своему щадя ее: «А я до чего твоих котов ненавижу!» Котов и кошек ползало по дому штук пять, все толстые, старые, прожорливые.

Родители Жаравины встретили меня хорошо, смотрели сочувственно, заботились, как доехала, как оставила семью. Они были простые, точно такие, как должны быть по описаниям Мишки, только постаревшие очень. Я коротко сказала, что я литератор, хочу книгу Мишину издать. Меня отвели на кухню и стали энергично уговаривать есть. Я глянула - у них вся еда в ведрах - и молоко, и яйца, и пойло для коровы, и сметана, и котлеты... Котлеты, кстати, маленькие, черные, из чистого мяса, страшно вкусные и твердые, как орехи - дядя Гена жарил их сам. А горячий жирный суп и водку я среди ночи не смогла.

Тетя Настя плохо ходила, ее больная нога не гнулась, а дядя Гена бежал проворно. В доме много ступенек, порожков, все такое скользкое, а он в валенках и все резво, резво. Пол как лед, без валенок невозможно никак.

Выскочив ночью в туалет, едва не свалилась с обледенело-дощатого постамента - снизу на меня рычали две огромные черные собачищи! Они ночуют тут же, в доме, через стенку с коровой... В этом ничего необычного для деревни нет, но ночью это мне кошмаром показалось.

В иконостасе среди икон были Мишкины фотографии. В углу молчали сломанный телевизор и сломанные часы, за окном молчал черный зубчатый лес. Здесь я спала две ночи на кровати мертвого друга. Ужас? Не то слово. Я точно в склепе оказалась, всем миром забытая.

Долго не могла заснуть на его кровати... Вспоминала, как однажды шла по пролету ШСЦ-4 перед 8 марта и вроде бы искала Мишу, у нас столик был в редакции накрыт, я и пошла его позвать. Лечу в зеленом платье с вологодским воротником, такая нарядная, в настроении. Нашла его, давай звать - он не идет. Я с кокетливой улыбкой (что нашло? никогда так себя не вела!) попросила меня поцеловать в честь 8 марта, а он сразу уперся - «не стану». Я очень удивилась, думала - ничего ему не стоит, Волкову целовал в сугробе, а он вдруг так погрузстнел почему-то, глаза карие глядели тепло, виновато. Молчал, все молчал, пока шли до редакции.

Но вот он умер. Мне спустя год пришлось лечь в его постель, а он «в лежачую лег постель» (строчка Сопина)... И так стало страшно от этих воспоминаний, от мыслей горьких, что почти не спала, и усталость не помогала. Утром еле встала, от бессонной головы качаясь.

Утром пришла Мишина сестра Тоня, мы с ней долго чистили, резали, готовили поминальные столы, собирали корзину на кладбище. Тоня все больше нравилась мне, она рассказывала, как работает на пекарне, как нигде не платят денег по полгода, в том числе и в совхозе («декаб - а дали за нояб... того года...»). Еще говорила, как дружилась с Мишкой, как любила и нянчила его первенца Артемку, и еще - что сохранила некоторые его стихи, присланные в письмах. Но она не даст с собой, если только списать. «Конечно!» - откликнулась я.

Я не люблю еду в больших количествах, и меня выворачивало от этих гор колбасы и помидор. Задали чистить селедку. Ненавижу чистить селедку, но тут я очень скрепилась. Мне было тошней и тошней, по рукам до локтей тек жир, но я стиснула себя, сдержала, раз я могу помочь хоть чем-то. Пять штук ослила. От всей этой технологии едива я не смогла потом ничего есть.

Кладбище, боже мой. На крутой заснеженной горе, в соснах, в таком нереально красивом месте лежит теперь Миша Жаравин. Вся его родня - родители, брат, сестра с мужем, другие родичи, друзья - не запомнила, кто стоял перед его могилой. Тетя Настя причитала громко и гулко в морозном воздухе, крестилась широко, шире плеч, от затылка до пояса. Все что-то говорили, но я ничего не помню, как оглохла. Встала коленями в снег, прислонилась лбом к железу памятника.

Прости, прости, не помогла тебе, не пожалела. Ты «в ледяную лег постель». Водка растворила кляп, забитый в горло. Не понимаю, почему никто не стал больше пить, только я, отец и еще кто-то, трое. Остальную водку Коля угрюмо разлил по могильным сугробам окрест. Коля вообще не сторонник выпивки, он и на поминках, как девять дней было, тоже не пил, не мог, он считает - одинока эта скорбь, трезва. Посидеть, помолчать... А здесь действовала вековая привычка. Ох, как много слез, как много водки вослед, Миша...

Пока шли приготовления в доме, мы с Тоней сбежали в Еловинскую библиотеку к той самой А.М.Ш., посвящение которой стояло на его стихах. Подружка, с которой гулял до околицы. Она такая красавица, эта Аня. Сказала, что Мишка запойно читал книги, просто в огромных количествах. Что она делала выставку ко дню его рождения: полочка с газетными публикациями и портретом... Что лучше всех знает Мишку как писателя учительница по русскому Тамара Пустохина, жена Николая Пустохина, дружка Мишиного (в бабнастином письме: «дружок твой Пустохин Олег»). Она провела в школе несколько уроков по его творчеству, крутила пленку с его голосом. У нее единственной есть пленка, где Жаравин сам читает свои стихи! Потом я встретилась с этой учительницей на поминках, но там не было обстановки как следует поговорить.

Все стали вокруг поминального стола, как в церкви. Старуха, главная среди прочих, долго и торжественно читала молитвы, и у нее это получалось лучше, чем у священников в храме - никакой скороговорки, все раздельно, выразительно, скорбно. Я даже вникала в смысл, меня обуревали высокие чувства, как ни странно.

И вдруг, положив очередной крест, я поняла, как крестили Мишу Жаравина. Ближайшая церковь за шестьдесят километров в Кич-Городке или того дальше. Вокруг лес и лютая стужа, ну куда бы она поехала с малым ребенком! Конечно, его крестила здесь вот такая же главная старуха, читала нужные молитвы, вела обряд. А это значит - ненастоящее с точки зрения церкви крещение, и мы его соборовали некрещеного, и желая облегчить путь грешной душе, отяготили ее еще больше... Но крестьящий - только посредник, главное - «все мы рабы Божьи, дитятко», как говорила Мишкина бабка Серафима в «Равновесии». Главное, они ведь думали об этом, крестя ребенка, а могли бы и забыть в такой-то тяжелой жизни. В этом смысле причастность к Богу даже честнее, искреннее, чем просто церковный обряд. Так мучилась, сомневалась и сама себя утешала я.

Отчитав молитвы, сели за стол. Старушки поджимали рты, не ели-

не пили, тетя Настя убивалась, уговаривая всех.. Велели мне сказать что-нибудь.

Самочувствие отвратное! Точно такое же, как при прощании с телом на Пошехонке, как на поминках сразу после смерти, на его квартире. Каждому выступающему хотелось дать в лоб, выместить на нем свою горечь и гнев, трудно это было терпеть, невозможно.

Вот так и здесь. Я показала журнал «Свеча», вспомнила первые шаги Жаравина в литературе, как мы общались в нем в редакции. Мол, я ему не учительница, а как бы его литературная нянька, сама училась с ним одновременно.

«Удивительно, как он напитан всем этим деревенским, он давно жил в городе, но по сути оставался здесь, в Еловине. От деревни отстал, к городу не пристал... И как любовно писал он об этой деревне, как рос тут и любит все тут, так и лежать пришлось тут же. Здесь его знают не как писателя, а просто как родича, парня соседского, поэтому все правильно, пока живы эти поколения, так и он жив будет. У меня перед ним долг человеческий. Я хочу собрать и книгу выпустить, книгу как память. Не знаю, кто ее тут прочтет, кроме учительницы Пустохиной, может, она просто так, как память от нем живом - она будет стоять вот здесь, около божницы с его фотографиями. Но все равно я сделаю это...»

Старухи устали держать рюмки, пальцы их дрожали, я глянула и оборвала себя. Они переглядывались: «Што ль, жена?» Я кинулась объяснять: «Жена у него первая - Света, а последняя - Лина, та, что приезжала хоронить... У меня своя семья есть - муж, детей трое... Это моя работа...» Но они не понимали, а может, не верили. Я чувствовала себя дурой.

Дядя Гена рассказывал, что Миша мальчонкой был черезчур вострый, и когда его брали с собой в работу, схватывал все на лету. Говорил, что много в рассказы от него, от отца пошло, а еще от бабки покойной, рядом с которой его положили. И действительно, большинство ранних рассказов Жаравина украшает образ отца, сильного, доброго, умелого человека... Про мать и говорить нечего - от нее вся доброта в Мишке и его воспоминаниях. Чего только стоит любовное описание родителей в «Излучателе», ведь узнается даже говор родного дома... Но застолье было тягостным, насильным, я чувствовала, что никто ничего не расскажет толкового, и сама я тут совершенно лишняя. Коля Жаравин, кажется, был прав, что не хотел, не мог сидеть за столом. Он помогал, но держался в тени. Лицо у него было серое.

Вечером ходили к Тоше на квартиру и я торопясь, списывала у нее сохранившиеся стихи. Она же дала мне из родительской коллекции несколько фотографий для книги. Тоня очень душевная, она раскрыла мне Мишу как любимого, в чем-то очень незащитного человека, запутавшегося в жизни. Тоня знала его слабости, которые шли от мягкости, от страха ранить близких людей. Пока я разговаривала с кем-то, еще ничего. Дома у Тони, как в нормальной городской квартире, мне было легко и уютно. Я читала, писала, улыбаясь, смотрела, как маленькая дочка Тони меряет привезенное дядей Колей платье с пышной юбкой... Как пришла опять в родительскую избу, силы меня покинули. Лежала, съевшись, на Мишкиной кровати, отчаяние обступало.

Зачем я тут? Кому нужна? Зачем ринулась в такую даль от своих близких? Ведь я нужна им больше, чем здесь. Конечно, я должна была поклониться могиле и дому. Но какая тяжелая, суровая тут жизнь. Люди стерпелись, как жалко их всех. Наверно, только в таком месте, где лютые морозы и лютая жара, где работать приходится круглые сутки, до изнеможения, где красота природы - единственное утешение души - мог появиться такой удивительный человек как Михаил Жаравин.

Поэтому он и рвался сюда! Уж я-то знаю, помню его бесконечные сокрушения - «домой, домой надо», «опять у матери нога болит, как она там управляется», «неужели Тоня замуж идет», «сенокос прозеваю, сена в хозяйстве не будет» и все прочее. И не так, чтобы долг отбыть, а именно рвался сюда в удовольствие, с жаждой... Поэтому и мне предлагал поехать, ведь он хотел, чтобы кто-то еще порадовался за его родное Еловино, увидел, как здесь может быть хорошо. Помню и спокойные, светлые письма, которые он отсюда писал, и стихотворение «Пощелкивал кузнечик» навеяно Еловиным, и в рассказах его герои снова и снова возвращаются в родную деревню, чтобы отойти от пережитого, вздохнуть, начать новую жизнь... Может, если бы успел, так описал бы он и красавицу Аню в библиотеке, и учительницу, которая на уроках односельчанина проходит...

Утром я была совсем больная, есть не могла, бок очень болел, болело все как побитое, мне через две недели предстояла операция. Тетя Настя и Тоня хлопотали, складывали мне в сумку какие-то припасы, я отказывалась, но они не слушали, они отнеслись ко мне как к родне. Обратную дорогу перенесла очень плохо, отлеживалась потом. Конечно, я очень благодарна Коле Жаравину за то, что дал возможность поклониться их Дому, хотя этот рывок и оказался для меня слишком тяжелым.

Сила Жаравина, еще более явственная после этой поездки, всегда была и остается для меня загадочной. Она, эта сила, загублена нехстати и временем нашим, и отчасти, наверное, мной. Я-то хорошо понимала уникальность этого человека. Мне его жизнью и день не прожить, а он так жил 36 лет, и жил бы еще долго. Кто я такая, чтобы судить о законах этой жизни - могучих, неведомых и грозных? Я только свидетель случайный. Столкнулась с Мишей Жаравиным на перекрестке любви и печали и сделаю все, чтоб запечатлеть это для других людей.

## Сергей Фаустов

### БРОСИЛОСЬ В ГЛАЗА...

«Поэтов путь жжя, а не согревая», цветаевское выражение вспомнилось, когда я прочитал эту книгу в рукописи. Но не потому, что так уж сильно жег своим словом сердца читателей Михаил Жаравин (это еще впереди), а потому, что жизнь его самого обожгла. Как он сам писал в одном стихотворении: «...жжет в груди, комизм опять трагизмом станет». А вот в другом: «Я умею смеяться, скорбя...» И действительно, вся жизнь Жаравина в его стихах, как на ладони. Судьба привела его к стихам и они же отразили ее в горьких строчках. Слова Добролюбова о Пушкине: «Его последние элегии полны жгучей, безотрадной горести», точно так же подходят и к Жаравину.

Он вынужден был написать строки:

«Выгибался угрем на углях,  
Не кляню былое, хоть причина  
Веская. И горькая кручина,  
И довесок, неуместный страх...»

Метафора насчет углей была зримой в профессии Жаравина в его последних днях, когда он работал пожарным. Он тушил пожары. И в своей душе и в яви. Жаравин... И фамилия такая, горящая.

Я вот сейчас пишу о жаравинских стихах, потому что они потрясающим, поразительным образом высветляют (именно!) образ человека, которого уже нет. А ведь я помню то ощущение от впервые прочитанных стихов Жаравина, написанных синей пастой в мятой тетрадке в клетку. Уж слишком бесхитростно, слишком просто, слишком про себя, по личному поводу, и слишком грубо, откровенно, даже как-то напоказ. Не понравилось мне. В то время я бы вполне согласился с Б.Чулковым, который в рецензии на рукопись стихов Жаравина писал: «...от них остается физическое впечатление чего-то расхристанного, нечистого, жуткого, дикого, разнузданного, когда человеческое уже кончается и начинается что-то другое». И тем не менее это отражение реальности. Здесь верно подмечено, «физическое впечатление», это то, чем и ценна поэзия, впрочем, таковой она и должна быть.

С Жаравиным я встречался, только когда он приходил к нам. В то время я еще не ходил на Лито... Мы сидели на кухне, говорили. Миша очень интересовался впечатлениями, отзывами о своем творчестве. У него всегда были сомнения, правда, со стороны не было видно, насчет чего именно эти сомнения. Вообще писать ли, писать как, стихи или прозу? Он смотрел прямо в глаза, говорил без лукавства, экивоков, прямо. Думаю, любой собеседник старался отвечать ему тем же. Я ему говорил, что в прозе он - мастер, а в стихах как бы еще начинающий.

Он со мной спорил, не соглашался сразу. И стихи, как оказалось, никогда не бросал писать.

И вот теперь стихи печальной памятью, памятником нерукотворным собственной судьбе остались в этой книге.

Последняя наша встреча была на вечере поэзии Владимира Гальского. Мы сидели рядом, сохранилась фотография Веры Поповой. Потом вышли на крыльцо библиотеки подышать воздухом. Он говорил об учебе, о литературном институте. Показал рецензию на стихи Ольги Смирновой, отпечатанную на машинке, профессионально оформленную. Он уже и был профессионал. Я всегда поражаюсь, насколько действительно образование на него влияло. Сомнений о своем творчестве, как мне показалось, у него уже не стало. Даже жалуясь на сломанный тем же самым образованием язык, он не сожалел, а с некоторым затаившимся интересом смотрел на новую, неизведанную, неисчерпанную пропасть, в которой ему предстояло существовать, работать, творить.

Но пропасть оказалась иной... Он жаловался на болезнь. «Зачем сбежал из больницы?» - пытался я его направить на путь истинный. Но он лишь махал рукой. Знать, бы тогда, схватил бы его за руку и привел бы назад в больницу, оставалось еще два с лишним месяца, было еще время, можно было успеть...

Внешне он бывал разным. А иногда бывал похож на Емельяна Пугачева. Черные прямые волосы, стрижка горшком. Волосы... Вот что мне бросилось в глаза. Читая рассказы Жаравина, то и дело натыкаешься на описание волос персонажей.

«...голова крупная, русая, волос волнистый - ну, прямо Илья Муромец». «При тусклом свете прядки волос, слегка кудрявящихся, казались серебряными...». «...губы алые, подбородок аккуратный, шея длинная, волосы кудреватые, пушистые, соломенно-золотистого цвета», («Сказ о белом камушке»). Эдесь, как и положено в сказке, русые кудри.

«Желто-зеленые, словно натертые фосфором лица, черные волосы, черные, до пят, платья...». «Волосы черные, как смолина обгорелая, кожа матовая...». «Волос курчавый, пепельный, брови черные, глаза карие, ни одной морщинки, сам высокий, стройный». «...волосы Сержкины - кудрявые, пепельные, как легкое облачко». («Волчья морда», «Фиолетовое солнце»).

«... девичье лицо - грязнущее, волосы, что сосульки - кап-кап...», («Сергуня»). «Волосы Веры хоть и осветлены химикатами, но рядом с Томкиной - под мальчишку - ее грива - блеск!», («Глухая защита»).

«...на голове у него не волос был, пламя горело!», («Равновесие»). «А ты все та же - волосы как солнце...» - это уже из стихотворения.

Описание волос у Жаравина задает степень психологической установки, в первую очередь своей, по отношению к своему герою.

Давно замечено, что волосы в искусстве играют роль эстетической категории, со-образной красоте и свободе. Описание в литературе волос персонажей - признак свободы и независимости. У положительных (читай: несвободных) персонажей соцреализма волосы причесаны, зачесаны назад, но об этом не приходилось авторам даже упоминать, это понималось по умолчанию. И наоборот, вспомним героя-анархиста: «У Махно до плеч свисает волосня мохнатая» (Н. Заболоцкий).

Описание волос часто идет не в прикладном, а выходящем на первый

план, смысле. Здесь можно упомянуть скандальный бродвейский мюзикл «Hair» - волосы, как атрибут или содержание идеи, волосы - как выигрышный элемент рекламы. Волосы - как зрелищный действенный фактор - неременен в кино. Волосы вдохновляют: «Трава, в которой умирал Рембо, как волосы твои неосторожны...» (В. Архипов).

Вернемся к Жаравину. Приведенные цитаты - это описание волос в статике, таковы они в начале. Затем с ними происходит следующее.

«Затрещала чаща, загредел рев - волосы Авденча встали дыбом, и жался к нему, визжал, скулил Бобик», («Волчья морда»).

«В печной трубе завыл, не тише сотни голодных волков, ветер. Вздрыбились волосы Ипатовы», («Четыре черных петуха»).

«Но страшнее всего был ее взгляд. От него у Валентина заделено тело и дыбом встали волосы», («Фиолетовое солнце»).

«Кормил Вася Алешеньку, а ненависть за сына отнятого волосы дыбом ставила», («Сердечная рана»).

«Лагунов вскочил, все поплыло. Оглянулся, волосы на затылке зашевелились», («Сын приехал»).

«...глаза - без зрачков - покраснели, полезли из орбит, волосы посерели, вздыбились, рот растянулся до ушей, а из него, извиваясь, высовывался длинный раздвоенный язык и клыки!», («Излучатель»).

Здесь описана динамика ужаса, которая возникала по ходу развития сюжета и по жизни, которая не перестает давать такие сюжеты.. И описание идет не иначе, как через волосы. Потому что психологическая связь волос и состояния ужаса пришла из жизни автора. Это отражение реальности, в которой он жил. С другой стороны, как художественный прием, это дает простор для размышлений о его образном строе, манере письма.

Говорят, что «потерявши голову о волосах не плачут». А мы плачем... Плачем по Жаравину и его волосам, разбросанным по его творчеству. Волосы в его рассказах символичны и составляют особенность письма - свободного и независимого.

## **ПОСВЯЩЕНИЯ**

## Марина Гах (Москва)

Я искупила прежние грехи,  
зачем мне снова это искушенье?  
Твои глаза и губы, и стихи,  
и темное слепое притяженье.  
Я в храм иду, там со святых икон  
взираешь ты и пристально, и строго.  
И не священный, а земной огонь  
меня сжигает пред распятым Богом.  
Освободи, душа моя больна,  
мне скоро жизнь заменит наважденье.  
Молюсь, молюсь - и только тишина.  
И нет мне ни проклятья, ни спасенья.  
Я искупила прежние грехи,  
зачем мне снова это искушенье?  
Твои глаза и губы, и стихи,  
и темное слепое притяженье.

\* \* \*

На краю обрыва свежий ветер.  
Горизонт и блики на реке  
На краю падений и столетий  
Истину скрывают в мотыльке.  
Как легко спорхнул с моей ладони  
В синеву густеющего дня.  
Вот смотрю, когда в лучах утонет  
Светлое подобие меня.  
Вслед ему легко и беззаботно  
Я шагну - пусть ветер и огонь.  
Так звезде к земле лететь свободно,  
Если ждет раскрытая ладонь.  
И молния меня не поразила,  
и там, где был невыразимый свет,  
не распахнулась темная могила,  
Когда ему я не сказала «нет».  
Лишь пополам меня перечеркнула  
Подбитой птицы каменная тень.

Казалось мне - я как свечу задула!  
Свет над землей, но пробуждался день!  
И было все как прежде, только солнца  
Глаз воспалялся тусклым и больной,  
И стало слышно, как тревожно бьется  
Живое сердце в глубине земной.  
Зеленый луч покрылся сединою,  
Кровавой пеной тучи расцвели.  
О боже правый! Я всему виною,  
Не мир вокруг - меня испепели!  
\* \* \*

Аллея между двух кладбищ -  
Живая между неживыми,  
Как странно здесь, средь пепелищ  
Увидеть листья молодыми.  
Почувствовать нежнейший дым -  
ни горечи людской, ни тленья,  
а ставший светло-золотым  
животворящий дым цветенья.  
Там плакать - здесь вдыхать восторг  
и ощущать единство нитей,  
которыми скрепляет Бог  
течение земных событий.  
\* \* \*

# Лариса Новолодская (Вологда)

*Памяти Жаравина*

Попробуйте не спать три ночи:  
Как я, зарывшись в одеяла,  
Наплакалась и настрадала.  
Ты мне их щедро напророчил.  
Мне было страшно в темноте.  
Но и при свете подоконник -  
Бессонницы моей виновник -  
Он занимал; в глаза глядел.  
Я днем боялась не увидеть  
На восковом лице улыбки  
И взгляд испуганный и быстрый.  
Сравнять его и слово «смерть»?  
Он обещаньем был. Прости,  
Что я так долго собиралась,  
Что я так много сомневалась,  
Что заплутала я в пути.  
И он ушел. А мне осталась  
тетрадка с почерком его...  
Он отпустил меня давно.  
Да я сама не отпускала.

*20.12.95. 19 час. 33 мин.*

Мне не успеть уже,  
Не крикнуть вслед,  
Что ты любим,  
Необходим и нужен...  
Вино в бокале,  
Стынувший обед  
И ожидание... на ужин...  
И я боюсь прощенья твоего  
Не мучить совесть,  
Позабыть внезапно.  
...И вот живу в смятенье от того,  
Что НИКОГДА  
не повернуть обратно.

Мне все кругом вдруг сразу надоело,  
Когда за ней щелчком закрылась дверь.  
Ушла она, а может, улетела?  
Ответь мне, друг. А лучше мне поверь...  
Зачем они порою так капризны?  
А ну их к черту, не понять всего.  
А знаешь ты, что нам дороже жизни?..  
Дороже нет на свет ничего...  
Эй, друг, не спи, не то мы все подохнем,  
Но раньше, может быть, сойдем с ума.  
Ага, уже я слышу чьи-то вздохи -  
Наверно, это смерть идет сама...  
На кухне свет горит досадно тусклый,  
И кажется, всему пришел конец.  
А на столе бутылка водки русской,  
Раскромсанный соленый огурец.  
Но все равно чего-то не хватает!  
Последней стопки, выпитой до дна?  
Над абажуром комары летают,  
А где-то вдалеке идет она...  
Закрылась дверь. Как стало тихо, тихо.  
Я за столом сижу и что-то ем.  
Потом скажу: «Давай не будем, Миха,  
Сегодня водку допивать совсем.»

1994г.

Мы падали вместе, мы больно  
ушиблись при этом.  
Но так же, как прежде,  
кружилась и пела планета,  
Горела кострами и плакала божьей слезою.  
За что нам такое? Я вышел,  
а ты под плитою.  
Я знал тебя мало. Но были мы русские оба,  
И нас не душили ни зависть, ни черная злоба.  
В Саду у Поэта мы мерзлые ягоды ели,  
Срывалась струна одиноко поющей метели.  
В метели у роз, что под ноги нам  
бросила осень,  
В последний парад из осинок, березок и сосен.  
Ты все-таки выжил в стихах и рассказах,  
на снимках -  
Для тех, кто любил, ты был друг,  
для других - невидимка.  
Усталый твой взгляд. На губах  
недописана повесть.  
А рядом твой брат. А еще -  
беспокойная совесть."

\* \* \*

А я все о том же.  
Прочь ссоры,  
возьми мою тонкую руку,  
Рифмой беззаботное тело  
с любовью и каторгой как зарифмуешь,  
залает отходчивый пес,  
что зализывал раны тугие

Плачь старость стерильно  
с картины маэстро «Приплыли»  
Жаравина Мишки не стало  
ушел по повестке  
на плац омертвельх свиданий.  
О люди! Уже вы не сможете больше  
в глаза ему глянуть, рыдайте.  
А впрочем, зачем эти нюнины сопли на пояс  
проснитесь вы, встаньте.  
В худом армячишке поэту не зябко ль?  
Что он нам расскажет,  
он яблоч потерьки вкушает.  
А ты, поэтесса, беги,  
пока бомбой терррной  
тебя не ославило в глазик,  
а то окривеешь,  
как та Бабариха из сказки на сцене,  
куда еще сказочник гонит гусей недоумков.  
То гуси-солдаты,  
они все равно отлетают  
свои деревеньки  
свои несожженные хаты,  
где жены хрипя по махорке скучают,  
мохеровый шарфик  
цепляй-ка, на кофточке белой  
написано словно нагайкой.  
Нагая поэзия  
падает в руки законным.  
Они по закону.  
Кто выдумал эти законы?  
Кого-то печатать, кого-то, напротив, буровить,  
Но только не надо  
ничьей недоверчивой крови  
Пусть тысячи НЕ написать  
мне сегодня пристало  
Я буду НЕ плакать НЕ ждать  
никого и НЕвечно  
и будет НЕвечер, НЕправда

НЕпойманной НЕльмы  
НЕвзгляды, НЕоханье разом,  
НЕглинкой НЕгуляной нынче  
хотелось бы с Гулей  
НЕлепо так видеть  
поэта с поэткою вместе  
НЕ морщите лобик, моя критикесса в тумане  
Мы все-таки с вами сейчас не поедем в ночное,  
и больше не братья сегодня чечены и россы  
И больше не будет кривить свое тело Матросов,  
оно его тело замерзло

Оставьте, оставьте...

Какое, жена, у тебя удивленное платье...

## Библиография Михаила Жаравина

1. «Фиолетовое солнце», «Приснились лесные страсти»: Рассказы. "Не восхожденье путь мой...": Стихи // Дверца. Сборник стихов и прозы. - Редакция газеты «ВП» - 1991. - с.115-136.
2. «Сын приехал», «Пыль», «Ударь кумира детства»: Рассказы. // Перекресток любви и печали. - Грифон. - Вологда.- 1991. - с.38-64.
3. «Манило»: Рассказ. //Соборная Горка. - Наше поколение. - Вологда.-1993. - с.16-19.
4. «Четыре черных петуха», рассказ.//ЛАД. Вологда, 1992, № 7-8, с.40-43.
5. Три стихотворения.//«ВП», ноябрь 1989.
6. «Не восхожденье путь мой...»Стихи.//«ВП», 23 июня 1990.
7. «Пощелкивал кузнечик»: Стихи // Вологодский комсомолец. - 1990. - 17 июня.
8. «И хочется жить», рассказ.//«ВП» 25 октября 1990.
9. «Сказ о серебрянном камушке», рассказ.// «ВП», 22 ноября 1990.
10. Стихотворения. //ВОЛОГОДСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ, 17 июня 1990.
11. «Беда», рассказ.// ВОЛОГОДСКАЯ МОЛОДЕЖЬ», 2 октября 1991.
12. «Пестерь», рассказ.//«ВП», 21 февраля 1991.
13. «О моей газете», статья.//КРАСНЫЙ СЕВЕР, 5 мая 1991.
14. «Две затяжки», рассказ.//ВОЛОГОДСКИЕ НОВОСТИ, 1991, 8 мая.
15. «Шутка», рассказ.//«ВП», 1991, 25 июня.
16. «Неродившийся»: Стихи в прозе //«ВП». - 1991. - 22 октября
17. «Скрипичный ключ».//«ВП», 1991, 27 декабря.
18. «Я без цветов...»Стихи.//«ВП», 1992, 5 марта.
19. «Манило», рассказ.//«ВП», 1992, 7 мая.
20. «Штыбзик»: рассказ // Вологодская молодежь. - 1992. - 16 апреля.
21. «Выбор»: Рассказ // Вологодская молодежь. - 1992.- 10 июля
22. «Любимая, я умер прошлой ночью»: Стихи // Любимое и безответное. - Сыктывкар. -Исполн. дирекция фонда Европейский Север.- 1992. - с. 36
23. «Сердечная рана»: Рассказ.//«ВП». - 1993, 29 сентября, 6 октября. // Русский Огонек. - 1995. - № 31 (4-10 августа). // Заря Севера. -Кич-Городок. - 1995. - 9 сентября

24. «Морозко», рассказ. // «ВП», 1993, 13 января.
25. «Манило», рассказ. // КРАСНЫЙ СЕВЕР, 1993, 5 марта.
26. «Морозко», «Четыре черных петуха»: (Из недавнего прошлого).  
«Сердечная рана»: Рассказы // Север. - 1994. - № 11 - с.97-104.
27. «Лесина правда»: Рассказ. // Русский Огонек. - 1995. - № 3  
(20-26 января).
28. «День рождения»: Рассказ. // Вологодская молодежь. - 1992.- 11  
ноября.
29. «Равновесие»: Повесть. // Свеча.- Вологда. -1993, № 2, № 3/4, 6.
30. «Две затяжки»: рассказ. // ЛИТЕРАТУРНАЯ РОССИЯ, М., 1994,  
№ 1/2, с.12.
31. «Две затяжки»: Рассказ. / Предисловие В. Белова // Русский  
Огонек. - 1994. - № 13 (1 апреля).
32. «Четыре черных петуха»рассказ.: Рассказ //Очарованный странник  
Ярославль. - 1994. - № 3.- с.1-4.
33. «Тема для сочинения», рассказ. // «ВП», 1994, 9 сентября.
34. «Камушек с серебряными пятнами»: Рассказ. //Русский Север. 1995,  
24 марта.
35. «Я упал, но лошадь не ушла»: Стихи// Заря Севера. - Кич-Городок.  
- 1995. - 30 марта.
36. «Я слов обидных не скажу тебе»: Стихи // Заря Севера. - Кич-  
Городок. - 1995.- 22 апреля.
37. «В полупоклоне Родина застыла...»: Стихи // Заря Севера. - Кич-  
Городок. - 1995. - 20 мая.
38. «Холостой выстрел»: Повесть // Север. - 1995 - № 7. - с.33-52.
39. «Две затяжки», «Морозко»: Рассказы // Вологодский сбор:  
литературно-художественный альманах писателей-вологжан. - 1995.-  
с.127-135.
40. «Две затяжки»: рассказ //Губернские новости. -1996. - 9 февраля.  
- с.6.
41. «Излучатель»: Рассказ /Предисловие С. Алексева "Из рецензии на  
сборник прозы Михаила Жаравина "Холостой выстрел"//Красный  
Север. -1996.-18 декабря.
42. «Волчья морда»: Рассказ // Русский Север. -1996. - 9 января.- с.8-  
9. // Наш современник. - 1997. -№7 - с.108-113.
43. «Зуб»: Рассказ / Предисловие А.Цыганова //Красный Север. - 1997.  
- 26 августа.
44. «Это дождь! Это все-таки дождь...»: Стихи // Красный Север.-  
1997.- 29 октября

# ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Справа налево: отец писателя Геннадий Федорович Жаравин и мать писателя Анастасия Николаевна (в молодости), сестра матери Таисия Николаевна Баданина, брат отца Василий Федорович. Еловино.
2. Михаил Жаравин (около 5 месяцев).
3. Семья Жаравиных, слева направо: Анастасия Николаевна, Геннадий Федорович, подруга Анастасии Николаевны, дети - Николай и Михаил (4 и 6 лет).
4. Слева направо: Михаил Жаравин (18 лет) и Анатолий Дресвянкин. Еловино, 1977.
5. Справа налево: Михаил Жаравин в Югской средней школе с одноклассником Коряковским.
6. Последний день перед уходом Михаила в армию: Валерий Шевелев (стоит), братья Николай и Михаил Жаравины (сидят).
7. Первый снимок из армии, служба в танковых войсках.
8. Михаил Жаравин в армии.
9. Михаил Жаравин после переезда в Вологду.
10. I микрорайон ГПЗ. Двое справа - Михаил Жаравин с девушкой Светланой.
11. Свадьба: справа Светлана и Михаил Жаравины.
12. Молодые и их мамы.
13. Мама Михаила Анастасия Николаевна с его первенцем Артемкой.
14. У проходной ГПЗ-23 перед заседанием литобъединения, слева направо: Александр Рычков, Михаил Жаравин, Михаил Сопин, Ольга Гаряева (сидят), Галина Щекина (стоит). Фото Ю. Малоземова.
15. Михаил на заседании литобъединения. Фото А. Васинцева.
16. В редакции газеты "Вологодский подшивник", слева направо: Ольга Соллертинская, Михаил Жаравин (наладчик ШСЦ-6), Елена Волкова, Галина Щекина. Фото А. Васинцева.
17. Михаил Жаравин по время учебы в литературном институте. Фото В. Шаманина.
18. Встреча поэтов в литературной гостиной городской библиотеки на Панкратова, 75: Михаил Жаравин и Ираида Метляева. Фото К. Островской. Сентябрь 1995.

19, 20. Михаил Жаравин на вечере В. Гальского в гостиной, рядом Сергей Фаустов и Галина Щекина (справа). Октябрь 1995. Фото В. Поповой.

21. Михаил Жаравин в больнице, декабрь 1995. Фото И. Свицкого.

22. Автограф первого опубликованного в «Вологодском подшипнике» стихотворения М. Жаравина «Дождемся снега».

23. Фрагмент публикации рассказа М. Жаравина «Сказ о белом камушке», рисунок В. Бараева.

24. Рисунок Н. Тимофеевой к рассказам М. Жаравина.

25. Рисунок Т. Шмелевой к «Равновесию» М. Жаравина.

26. Рисунок Н. Черкасовой к «Графоманке» Г. Щекиной: Упхолов и Ларичева.

27, 28. Рисунки М. Жаравина к его первым рассказам.





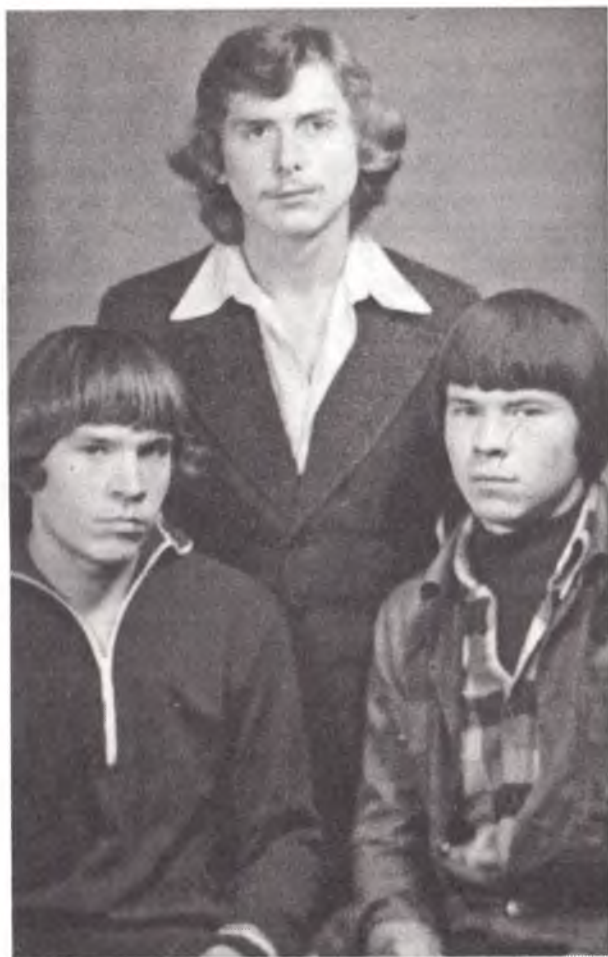
3



4









9



10





















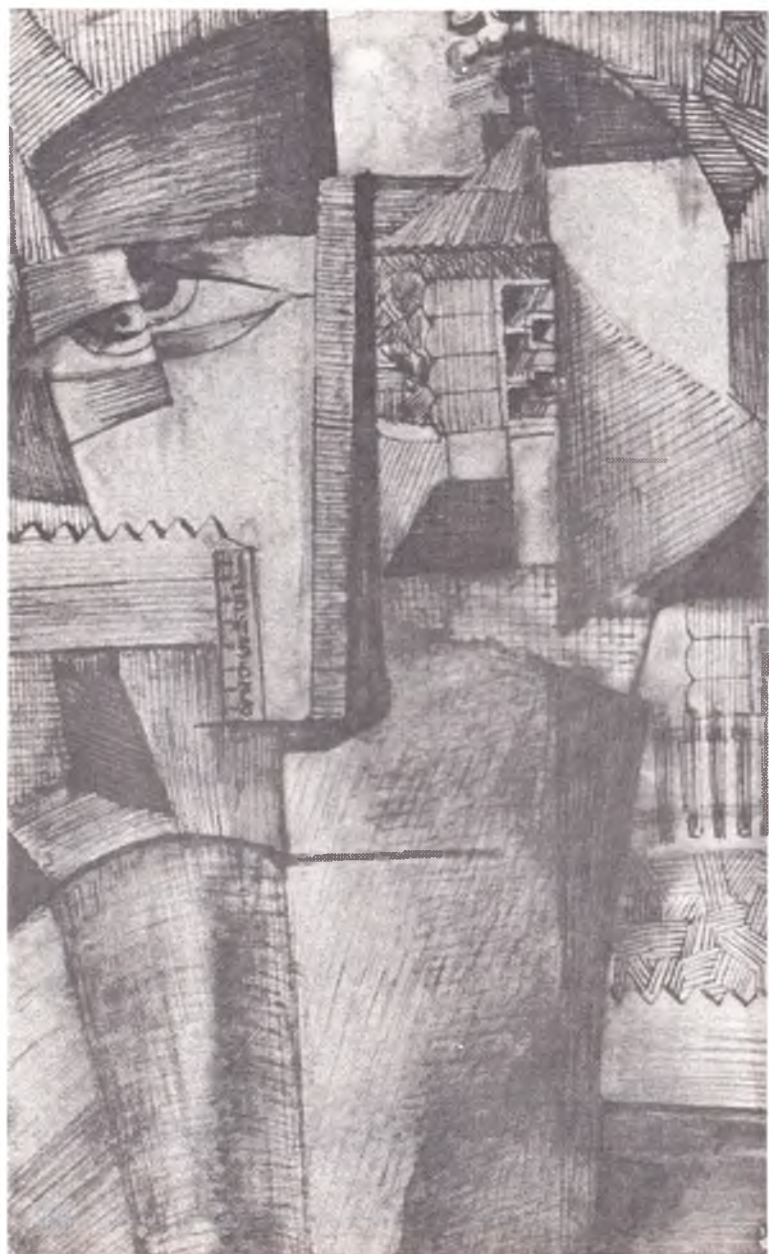




Дождь снег  
 Он закроет рано  
 Земле и души  
 Родственна вполне  
 Молчим — то наполняем извне  
 Когда перед собою цели ставим  
 Когда лепим по млечному пути  
 К своей звезде далекой, но прекрасной  
 Когда среди тропической опасной  
 Ещё не зная где там вперёд ...















# Содержание

К читателю.....	3
<b>ЧАСТЬ I</b> Рассказы и повести.....	<b>5</b>
Сказ о белом камушке.....	6
И хочется жить.....	11
Волчья морда.....	16
Четыре черных петуха.....	27
Морозко.....	35
Фиолетовое солнце.....	38
Приснились лесные страсти.....	44
Беда.....	49
Тема для сочинения.....	55
Две затяжки.....	60
Манило.....	66
Штыбзик.....	70
Зуб.....	74
Сергуня.....	78
Сердечная рана.....	86
Сын приехал.....	92
Пыль.....	97
Ударь кумира детства.....	107
Скрипичный ключ.....	123
Пестерь.....	126
Шутка.....	132
Излучатель.....	136
Любимая игрушка.....	151
Рыжий.....	162
Я в квадрате.....	180
Холостой выстрел.....	187
Глухая защита.....	233
Равновесие.....	279
<b>ЧАСТЬ II</b> .....	<b>297</b>
Стихи	
«Дождемся снега, он закроет раны...».....	298
«Осень. Конец ноября...».....	298
«Я без цветов...».....	299
«Дрогнет вагон...».....	299
«Я носил бы тебя на руках...».....	299
«Под утро вновь она явилась...».....	300
«Когда мне было очень тяжело...».....	300
«Разрыв-трава...».....	301
«Постель моя...».....	301
«Гости, танцы и веселье...».....	302
«Плясала ночь...».....	302
«И снова в ладони...».....	303

«Однажды я падал с балкона...».....	303
«Уходящему мир...».....	304
«Привыкший слепо двигаться вперед...».....	304
«В полупоклоне Родина застыла...».....	305
«Я слов обидных не скажу тебе...».....	305
«И ничего. И никаких просветов...».....	306
«И улыбнется женщина в ответ...».....	306
«Сынишка глядя медвежонку лапу...».....	306
«Вот он взболтал...».....	307
«В Вологду бабушка Настя...».....	308
«Сквозь испарения земли...».....	309
«Тьма налетела черным петухом...».....	309
«И мы пошли по середине лета...».....	309
«Мы видимся нечасто...».....	310
«А встретились опять у магазина...».....	310
«Пошелкивал кузнечик...».....	311
«О, Господи, не дай дитя обидеть...».....	312
«Плетет надежду кружево мечты...».....	312
«Совсем одна. Молчащий коридор...».....	313
«Эх, пропадай, несчастный мой червонец...».....	313
«Сказать все прямо...».....	314
«И снова ложь плевром...».....	314
«Портрет семейный убрала в комод...».....	315
«Пристяжные рвутся в стороны...».....	316
«Я бог и царь в круту моих стихов...».....	316
«Не говори мне, брат, о ней...».....	317
«Любимая, я умер прошлой ночью...».....	317
«Зачем мне вспоминать ее ладони...».....	318
«Животы сутробов похудели...».....	318
«Еще с утра стояли враскоряку...».....	319
«Это дождь! Это все-таки дождь».....	319
«Холодно. Суетно...».....	320
«Уезжая, со мной помолчи...».....	320
«Не было страсти...».....	321
«Я готов помчаться за тобой...».....	321
«Сумбур и тамбур. Смерть и возрождение...».....	322
«Я значение слова свожу до нуля...».....	323
«Я вышел весь. И весь вошел обратно...».....	323
«Счастливые уходят в сильный дождь...».....	324
«Белым-бело...».....	324
«Войти и выйти - как ни тяжело...».....	325
«Я болею тобой...».....	325
«И ничего. И снова ничего...».....	326
«Построил замок призрачный и вот...».....	326
«Почему мы спешим?...».....	327
«Не знаю, куда я плыву...».....	327
Литобъединению.....	328
«Был у попа тенистый сад...» (У попа была собака).....	330
«Между строк, по бездорожью...».....	332
«Я хотел быть простым...».....	332

«Бегущая Москва!...».....	333
«И побегут слезинки по стеклу...».....	333
«Я со своей тропинки не сверну!...».....	333
«Комическая сущность бытия!...».....	334
«Мамай рассматривал врага...».....	334
«Вот и все...».....	335
«И между дел покоя не дают...».....	335
«Избитые слова я повторял...».....	336
«Я истину пока еще ищу».....	336
«А снег еще лежит».....	336
«Ушла... Слегка коснувшись платьем...».....	337
«Из разных взглядов - свет прикосновений...».....	337
«Выгибался угрем на углях...».....	337
«Город спит, лишь фонари качают...».....	338
«Так уж вышло - слов немного...».....	338
Антоше («А ты частичку увезла с собой»).....	338
Сестре («Я помню детский сад»).....	339
«Случилось так: не состоялась встреча...».....	340
Сестре («Разве можно забыть»).....	340
О. Смирновой.....	340
«Как часто Ложь и Правда вместе спят...».....	341
«Кто много пишет, говорит: «велик».....	341
«Полночных снов опасные полеты...».....	341
«Отгорели розовы закаты...».....	342
«Все кричат - почет и уважение...».....	342
«Мне что смерть пережить...».....	343
«Для высших я бесплотен».....	344
«Противен быт».....	344
«Ты связалась с поэтом».....	344
«Совместная постель ...и стол».....	345
«Ты говорила «я тебя люблю».....	345
«Не заметил когда 30 лет».....	345
«Ценой безмерной довелось».....	346
«Казалось нам, учитель шутит».....	346
«Плевать, что провожают по уму».....	347
Родился стих.....	347
«Нет, не любовь, и не расчет, конечно».....	348
«Вчера цветы. Сегодня пустота».....	348
«Расхожих истин громкие слова».....	349
«На посошок плесни, судьба, удачи».....	349
«О чем-то вечном».....	350
«Мелодия дразнила душу мне».....	350
Каменный пляж.....	351
«Какой оставят след мои слова».....	351
«Довольно мне скользить по мелочам».....	352
«Я бы, может, снова начал жить».....	352
«О чем еще не говорили мы».....	353
Письма.....	354

ЧАСТЬ III О Михаиле Жаравине.....	364
Статьи	
Нина Веселова «Неразделенное».....	365
Ирина Головина «В поисках своей звезды».....	370
Леонид Копосов «Он мне как брат».....	378
Галина Щекина «Печальный перекресток».....	381
Сергей Фаустов «Бросилось в глаза».....	405
Посвящения.....	408
Марина Гах .....	409
Лариса Новолодская .....	411
Александр Алексеев .....	412
Валерий Архипов.....	413
Библиография Михаила Жаравина.....	416
Приложение.....	418

Подписано в печать 2.04.98. Формат 84x108/32.

Печать офсетная. Усл. п. л. 23,52. Тир. 1000. Зак. 522.

ПФ «Полиграфист», 160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3.